

БЕРЕМЕНА

Леонард
Золотарев

ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЕВ

БЕРЕГИНЯ

**МП “Простор”
Орел
1993**

Книга издана на средства спонсоров

Художник В. Я. Погорелов
Рецензенты: И. Д. Лободин,
А. Н. Яновский.

Золотарев Л. М.

3 81 Берегиня, роман. — Орел, МП “Простор”, 1993, — 320 с.

Роман известного писателя Леонарда Золотарева “Берегиня” является продолжением “Кормильцев”, вторым в задуманной им серии доперестроечных романов “Русские мытари”. Диковатый норв, тяжкая, бескомпромиссная наследственность бросают молодого агронома Егора Тиганова из огня да в полымя, из тюрьмы в специнтернат воспитателем, где он сталкивается с явными признаками физического возрождения нации, с “черными пятнами” российского фашизма в лице директрисы Евы Ивановны. Однако Берегиня — тетка Прасковья, олицетворяющая русский национальный характер, любимая Стешка — “жарких цыганских кровей” не дают пропасть Егору Тиганову. Несмотря ни на что, он остается человеком, с чувством собственного достоинства, верящим в неисчерпаемость людского добра на земле.

*Во рюмочке во серебряной
Крутой бережок.*

Из народной песни.

Страна варварская, иноземцы немирные; отстать от лошадей не смеем, а за лошадьми итти не поспеем, голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится, — кольско гораздо!.. Я пришел, — на меня, бедная, пеняет, говоря: “долго ли муки сея, протопоп, будет?” И я говорю: “Марковна, до самыя смерти!” Она же вздохня, отвечала: “добро, Петрович, ино еще побредем”.

Из “Жития протопопа Аввакума”.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Иль чума меня подцепит,
Иль мороз ожоченит,
Или мне шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.

А.С.Пушкин.

I

“Это Добро требует сил, его надо выращивать, а Зло растет само собой”.

Так думал Егор Тиганов, еще издали углядев обочь чертополох, а то, может, белоголовник, — выбухал в самом неподходящем месте, у самой дороги. Что поглядист, что окладист, отвар от него дурнее, чем от конопли. Завари покруче, хлебни на ночь, можешь и не проснуться...

Егор подошел поближе — шиповник, оказывается. Ну ярка, крупна ягода, ну царственный куст. Оттого, наверно, и вырос, что колюч, руку не слишком протянешь, в полпальца шипы, может и окровавить...

И тут на Егора упала стайка синичек. Тварь мелкая, а крику-то, даже на плечи кидаются, другие тем временем пикируют прямо в середину куста. Куст как куст, а в середине пусто; “круг ведьмы” — то ли вымерзло, то ли когда-нибудь там лежал мешок с удобрениями. И в “кругу ведьмы” — уже подходяще крупный птенец, синички валяются сверху и из клюва в клюв суют ему кто гусеницу, кто червячка. Птенец дятла — пестрый дятел, а отойти на пару шагов — кажется серым, сливается с пыльной листвой. Вот птенец тянет клюв, раскрывает зев свой, дергает едва оперенными крыльями, а взлететь не может, нет простора, крупен вырос в этом “кругу”, теснотище этакой, ну и дела!

И Егор начал вторгаться в куст, делать проход для взмаха крыла. Да при чем тут инстинкты, зациклился на свободе — просто извечный протест против насилия! Егор бесполезно оставил на шипах клочок пиджака, ну а окровавить ладонь, услышать запах собственной крови, и чтоб не ударило в голову, — это уж извините...

И скорбь объяла Егора. Все распалось в считанные недели. Просто жить не хочется, как нехорошо. И пока он, по милости Бодракова, сидел там, в СИЗО, тут от него ушла жена — Миля его преподобная, уехала в город обратно, захватила детей. Да и

отец Егоров — Тиганов Трофим — горевал недолго по жене своей — его, Егоровой, матери. Живо привел на место Устиньи прощальчку эту — соседскую Тоську. Оскорбясь за дочь, могилка которой еще не успела осесть, бабка Галя ушла к сестре своей в Подполовецкое, на постоянное жительство. А Кузьку — младшего брата Егора (что Кузька — тут от здоровых, недефективных не знают, куда деваться) отправили в специнтернат: хоть чему-нибудь там подучат, не оставят же навеки неучем.

И вот он, Егор Тиганов, тут на расстани — на развилке дорог. Сколько в судьбе таких перекрестков. Кручинный, решительный камень: Ярище-Житень-Тигановка. Возвращаться домой из “мест, не столь отдаленных”, — как нож в горло. Верно, такое не забывается, добром для обоих все это не кончится. И ненавидел же сейчас Егор этого Бодракова! Посадить молодого специалиста — своего главного агронома фактически ни за что — за сгнившую в буртах семенную картошку. Ведь гнила до него годами, десятилетиями, да и сейчас, глядите, как гнила, так и гниет...

Егор аж застонал, закрипел зубами, в порошок бы истер их до основания — научили в камере разряжаться, сбрасывать с себя злую энергию. Раскалить бы докрасна сковородку да на нее этого черта! Сиди, жарься, подлец, в собственном сале... нет, лучше языком лижи ее, огневую...

Это могут у нас. Это раз плюнуть — биографию испортить, искалечить жизнь. И вот он, Егор, теперь, как змей, готов броситься хоть на кого, ненавидит, кажется, всех подряд, весь род человеческий. Добрыми оттуда не возвращаются, приходят только калекками, такими моральными уродами. Всего несколько недель, а, бог мой, в кого он, гори оно, превратился! Мы же все ненормальные, жить не можем по-человечески. В камере нормой была несвобода, стенки всюду, а тут, вне камеры, что? А ведь живем под открытым небом, под звездами, без потолка даже, перед бесконечностью. Но несвобода наша уже в том, что боимся всего, психуем, делаем вовсе не то, однако часто не знаем этого, после узнаем свою несвободу, чью-то руку над головой, может, так оно и было все это задумано, эти вот “потолки”? С чем возвращается он, так это с желанием неба, этих просторных полей. И прежде в Орле, в институте, среди городских, чувствовал он себя этаким увальнем. И теперь, взгляни на себя, — лицо, шея по воротник тем более прокалились и забурели, куда ему, потурую такому, в город, только тут в земле и копать...

И тут возник за бугром клекот дизеля. Боковушкой-дорогой, как бы украдкой, тот подвигался в сторону Житеня — дальнего поселка за лесом. В глазах зазвенела посуда, и дятел

застучал в грудь, то в сердце — то в голову. Стук-постук. Пестрый дятел, серый дятел, черный дятел-желна. Стукачи. Этот поселок Житень какой-то час назад помянул в автобусе Орел-Алатырь случайный попутчик. Сидел рядом, прикорнул на плече...

Егор тряхнул головой. Но как повисло перед ним это лицо, проецировалось на перелесок дальний, на гречишное жнивье, так и висело, никуда не девалось, не касаясь земли. Словно на перекладине. Лицо-то сушняк сушняком, яблоко перепеченное. И глаза не глаза — шипы, да и сам обличем как шиповник, все норовит загнать человека своими “шипами” в “круг ведьмы”...

С росстани, вслед за дизелем, Егор взял дорогу на Житень. Ненавижу этого Бодракова! И что у него с этим лишаиным попутчиком общего, так это то, что в шляпах оба, глаза у обоих под шляпой еще и паучи — впились, цедают, сосут всего изнутри. Егор сбивал их решительным шагом — на Житень, на Житень, к тетке Прасковье. Если и есть сейчас радость, свет в окне ему, так это она, Берегиня по-уличному, Берегинюшка...

“И откуда, сынок?” — сипел в орловском автобусе этот попутчик, в пятнах щеки. — “Оттуда, — отвечал ему мрачновато Егор. — Откуда и все”. — “А я, — оживился старик, — сидел дважды при культе-то. За политику. До и после войны. Дважды смерть за мной приходила, а теперь... Помирать вот еду на родную сторонку, да-а”, — придвинулся он все ближе к Егору. Егор поморщился: не чесноком — смертью шибало изо рта. — “Ничего, еще поживете”, — так, для приличия сказал он старику-мухомору. — “Где там! Все, отстрелялся, разменял девяносто”, — откровенничал “мухомор”. — “Отстрелялся! Что — охотник, что ли?” — “Да так, — усмехнулся старик. — Вроде этого. В общем стрелять приходилось”. — “А вы никак местный?” — поинтересовался Егор. — “Коршунов я... тут, за речкой, из Волчьего Шляха, — пошел пятнами ”мухомор”. — А сам-то будешь, сынок, из чьих?” Егор назвал себя, и ему показалось, тревога мелькнула и спряталась где-то в глазах этого человека.

Дорога теснила эти паучи глаза. Радостное нетерпение охватило Егора уже при самом приближении к Житеню. Житеневские места — не было ничего подобного в целой округе, да что за десятки километров — за сотни, пожалуй. Житеневские места — балки, поля, перелески, столько солнца, особый микроклимат, как будто южнее километров на двести. Это редкие птицы и разнотравье, это ягоды и рыба, грибы и орехи. Это вся она, крутосклонная, поросшая дубом долина с заливными лугами, по которой виляет в ракитках полноводная, что в наши дни удивительно, невеликая речка Алешня, а ниже — река покрупнее — Зуша, эта уже с островами, с плотиной и сельской гидростанцией, которую совсем недавно взяли и раскурочили.

Там же где-то дряхлел яблоневый сад, в нем уютилась пустошь “Абрикосовая пасека”, куда в былые времена к старику Абрикосову наведывался сам Лев Толстой. Там же, через суходол, лепился к дубняку и этот самый Житень, бывший столыпинский “отруб”.

Егор подошел к поселку, когда страсти уже отбушевали. Правда, возле дома бригады еще кучковался народ — житеневцы, почти все население поселка.

Перед домом стоял, понурясь, механизатор Замуруев Володька. За спиной у него, приподняв подгнившее крыльцо дома бригады, замер бульдозер. Весь луг был изодран гусеницами, отмечен следами безобразной Володькиной деятельности. Тут же крутился механик колхозный Бронька Летягин, без этого черта нигде ничего не освятится.

— Ну мы же поставили точку, броня крепка и стежки наши склизки! — выходил из себя Бронька, очевидно, главный тут агитатор при Замуруеве-исполнителе. — Я же вам объяснил, вы же бесперспективные. Поселок ваш сходит на нет, землю под поселком распашут — будут опять поля. Да под вас уже новая улица строится. Вот где, старые, отпаритесь в ваннах-то, дьяволы.

— Как это поселок распашут, что — земли, что ли, мало? — раздался голоса. — Нам и тут хорошо, тут бы и доживали.

— А ты помолчи, кулацкое отродье, вражий голос, зануда, ты у меня доиграешься! — прицепился Бронька к тому, кто стоял поближе к нему. — Лежанка тебе хороша, частный сектор. Рай тебе тут, раи летают, срамота! Тебя, дурака, на центральную тянут...

— Да знаем, как вы нас тянете, знаем, — не унимался кто-то из житеневцев. — Ярку за задницу и в Алатырь, а то и в область, в Москву. От твоих шашлыков у скольких в городе морды лоснятся. Запчастями можно бы три таких колхоза снабдить, а у тебя только твой чертогон и мотается.

— Косность, вы все за дом бригады цепляетесь! — кивком головы, наконец, поприветствовал Бронька Егора и тихонько, вполголоса, буркнул Замуруеву Володьке: — Я же предупредил тебя, ночью надо было, ночью... — Так вот, — обернулся Бронька к Егору. Говорил теперь только ему: — Отсебятину мы не порем. Бодраковым уполномочены. Я тут кое-что с собой прихватил. Документация, общие постановления. Вот папочка у меня с решением области, а вот поближе к нам сюда — из района. А еще ближе — из нашего сельсовета...

— Простамповали, — раздался вразлет, кто куда, голоса. — Берегиню бы подождали, дай придет с Оболезево...

— Так какое вам зачитать-то? — не обращал на них внимания Бронька. — Зачитываю, бабоньки, решение нашего сельсо-

вета совсем свежее, мартовское: "... принять меры к сселению из бесперспективных пунктов на центральные усадьбы обоих колхозов на территории нашего сельсовета"...

— А где они на это миллионы возьмут? — прохватил гипноз тишины голосок, все тот же, у всех за спинами. — По стране на "черемушки" круглая сумма.

— А ты, дед, помолчи! — отрезвил его Бронислав. — Дают, дед, — бери, гори оно синим огнем. От города отрывают, а тебе дают — так, значит, нужно. Государство гарантирует тебе (как колхоз у нас называется — "Светлая жизнь") светлую жизнь. Живи светлой жизнью, дед, и наслаждайся... Приступай, Замуруев, к делу, ломай дом бригады.

— Господи, не приведи дожить до ваших "черемушек", — перекрестился, сокрушась, старик-житеневец.

Тиганов Егор подждал Броньку у его мотоцикла.

— Отпустили, значит? Из-за отсутствия состава преступления? — подошел, наконец, Бронька к Егору. — "Преступление" есть, а "состава" нет, интер-ресно...

И укатил на своем "вертолете" с коляской. После этого Егор не знал, что ему дальше-то делать. И продолжил свой путь на другой край поселка, к Берегине. Не доходя до нее, услышал шум падающей воды: справа под берегом чернело бучило. Егор присел на корточки, уставился в сточную воду.

Гремит, рушится со стока вода, под стоком крутится глушечная, дохлая рыба, и раки из облюбованной ими рядом протоки заглядывают сюда, из санитарных соображений тащат прочь ее, рыбу ту, с выпученными глазами, — и в норы к себе ее, под крутой, облюбованный берег. Вот они — клешни, кажется, так и торчат из-под кручи, гляди, а не суйся, разом вцепятся в палец — хамойдолы, пивная закуска... Не знал, естественно, но словно предчувствовал Егор, что всего через несколько лет Время свяжут с такой вот стоялой водой... Отчего же они дозируют правду, не говорят всего хотя бы о том же культе, мучился Егор, прогоняя от себя эти рачьи, паучьи глаза. Земли, что ли, мало им, надо еще и распахивать Житень? Недавно в руки Егору попался журналчик. Егора захватила статья одного демографа: "...время бросает вызов самой биологической способности человека адаптироваться к опасностям, стрессам и темпам нынешней цивилизации". Поражали цифры. Оказывается, вся история человечества понадобилась, чтобы к первой четверти прошлого века достичь одного миллиарда. А в 2000 году родится уже шестимиллионный житель планеты. "На счет земли привыкло спихивать свои проблемы каждое поколение"...

Ветерок переменился, от бучила потянуло таким отвратительным запахом, что Егора едва не стошнило: опять где-то по-

выше траванули речку азотными удобрениями. “Этот Коршунов — не простая штучка, что-то знает, скрывает, зачем?”.

Егор нашел подходящую палку, копнул — земля поддавалась туго, была грубой, серо-безжизненной, skipелась вся. Ни единого дождевого червя. А ведь предупреждал об этом. Диалоги с Бодраковым ему уже осточертели. “Стегаем землю кнотом. Достегались”, — упрекал Егор председателя.

— “Ты-то знаешь, чего все это будет стоить? — заводился Бодраков с полуоборота. — Чего?—Ну биология, фантазия твоя. Биологические методы, гори оно синим огнем”. — “К сведению, пчелка дает прибавку по пять-семь центнеров на гектаре”, — отражал нападение агроном. — “Больно умны, больно прытки стали”, — уходя, ворчал под нос себе Бодраков.

Егор смотрел вслед председателю: “Говорит вслух — на всех, для общего пользования — одно, делает другое, а думает, по всей вероятности, третье”. — Так воспринимал тогда Егор ситуацию; даже Бронькины бараны почти перестали пробивать лбом, где надо, Бодракову ворота. Нужны новые комбинации...

Наконец, Егор прогнал от себя, заставил уйти эти паучьи глаза. Надоели, спасу нет, ну невозможно — сосут и сосут, высали, кажется, всю энергию, тело ломит, ноют кости...

Тетка Прасковья, по-уличному Берегиня, по паспорту Пестимея, тоже из рода Тигановых, хоть и дальняя, а все же родня...

Хата Прасковьи была на самом взлете Житеня. Прямо перед окнами разлеглись луга, уходила в синюю пойму речка Алешня. По лесистому уклону напротив, в основном еще крепко-зеленому дубняку, пробежали светло охристые, червонные пятна — первыми поддались осени липы и клены.

“Живут же люди!” — толкнулось в душу Егору.

Наклонив голову, чтобы не рассадить лоб о притолоку, он шагнул было за порог и отпрянул: перед ним, словно из-под земли, выросла Стешка.

— Ты зачем здесь? — сказал он ей в неожиданные, неравновеликие очи.

— За с-солью в-вот приходила, — шевельнулись сухие Стешкины губы.

— За какой солью? — не слышал Егор сам себя.

— За какой, за соленой! — уже смеялась откровенная Стешка. И шмыгнула мимо.

Тяжело ступил Егор за порог. Изнутри окна в передней казались еще ниже, так низок был потолок, — сэкономили тепло предки. Чистая скатерть, мытые полы, свежевывелена русская печь. С лихим треском полыхали дрова, малиновые блики перебежали по стенкам. За столом сидела тетка Прасковья, читала газеты.

— А я тебя, Егор Трофимыч, ждала, — поднялась Берегиня.

— Чего там? — указал на газету Егор.

— Да так, — замялась тетка, — вишь, “Орловская правда”. Статья одна — “Тяжелая память”. Как наши наших расстреливали... осенью сорок первого... тут у нас, в орловском центре...

И губы запрыгали у Берегини, она прикрылась газетой, вытирая слезы.

Это было так неожиданно для Егора. Берегиня прожила долгую, нелегкую жизнь, умела владеть собой, и тут нате вам. Что-то не то, что-то за этим стоит; ее — Берегинино горе большое, больше его — Егорова. И это подействовало на него странным образом. Ему стало легче. Серый Дятел стучал все реже, превращался в мягкую серую варежку на столе. Непостижимо, но существовала какая-то очевидная связь между теткинм волнением и тем, про что читала она в газете. Егор не спрашивал ее ни о чем. Этот Серый Дятел в нем перестукивался с кем-то, как за тюремной решеткой. Точка-тире-дробь-точка-дробь. Временами Егора охватывала боязнь, что Серый Дятел улетит, Серую Варежку съест поросенок. И кто-то, неприятный такой, все подкрадывался со спины, втискивался в него между ребер, шевелил всего изнутри.

“Коршунов этот, попутчик автобусный, дважды сидел, едва не расстрелян, — это в газете не про него ли?”

— Слышь, тетя Паш, — окликнул Егор в темноте Берегиню. — А ты знала когда-либо человека — Коршунова с Волчьего Шляха?

— Зачем он тебе? — встrepенулась в спальне-боковушке тетка Прасковья.

— Да так... в автобусе рядом сидели, — сказал односложно Егор. — Звал к себе в Волчий Шлях.

— Не ходи! — сказала, как отрезала, тетка Прасковья. — Это страшный, жуткий человек! Торонись, Егор, не ходи...

Как разлегся Егор на лежанке, где ему постелила тетка Прасковья, да так и лежал. По потолку все еще бродили краснобурые, едва уловимые тени, тетка еще не закрыла загнетку. Лежала себе по соседству в горнице и тоже вздыхала. О чем думала эта пожившая на свете, материковая женщина? О чем вообще думают они, матери? Тепло шло к Егору от горячих камней. Давно ли вот так, пацаном, бывало, едва ему занеможется, сварит курицу мать, напоит липовым чаем да вот так на лежанку. Лежишь, бывало, и жар сходит с тебя, переходит в камни, а камни отдают тепло тела твоего земле... Прикрылись проблемами — все проблемы, проблемы. И все важные, эпохальные, все неотложны. И не до человека нам, человек перед проблемами, получается, масенький, его, как песчинку, туда-

сюда, по колониям, по культурам, по проблемам мотает. Не задумывался, нет, в каком государстве жить легче — в большом или маленьком, в сверхгиганте или малюсеньком, совсем махоньком, как этот поселок?... А Стешка, зачем была она здесь?..

— Жутко прямо, — подала голос из горницы тетка Прасковья, — в этой статье-то... В Орле расстреляны нашими перед приходом фашистов “враги народа”: Бруно Ясенский, Христиан Раковский, Мария Спиридонова...

— Какие же это “наши”, коли “наших” расстреливали? — не сдержался Тиганов Егор.

— Ты вот что, Трофимыч, — вздохнул Берегиня. — С Бронькой тоже поаккуратнее. Попомни мое слово, заведет тебя прохиндей этот куда-нибудь в прорву...

Егор приподнялся на локте, долго всматривался в темноту. И Коршунов где-то там в ночи рос, раздувался огромным, невероятных размеров, исполинским пауком, а паук, раздуваясь, становился похожим на Бодракова, а Бодраков — на Коршунова, этот нехорошего, страшного, черного человека. Паук повис в окне, замотался на тонкой своей паутинке, закрыл свет от Егора, преобразившись теперь уже в коршуна, который, как Орел к Прометею, приник к нему, чтобы долбить открытую печень...

Мысли Егоровы путались. Что сказала тетка Прасковья, а что не сказала, оставила про себя. И камни припекали, превращали тело в такое же едкое, как и одеяло. Проступала испарина...

— Брысь! — раздался в темноте голос тетки Прасковьи, и кошка бухнула со стола. — Ишь, дрянь, избаловалась, надо ей по подоконникам шарить.

Сколько людьми потрачено сил на Добро. А Зло и Зависть все съедают нас, если совсем уж не съели. Здесь, у Абрикосова дуба, сживали два мудрых старца — Толстой и Абрикосов, и дуб выслушивал их. И Спасское рядом: “Дубу, родине поклонитесь.” Знали ль люди черную зависть прежде?

— Теть Паш, отчего зовут тебя так — Берегиня?

— Берегиня-то? — сказала и замолчала надолго тетка Прасковья. — Может, оттого, что живу на берегу? А может... век свой хожу по берегу, жизнь такая, по самому краешку, дальше нельзя.

— А бабка Галя рассказывала про тебя, про детей твоих.

— Про детей? — дрогнул голос у тетки Прасковьи. — Сама, правда, ни одного не родила, замуж так и не вышла... А детей у меня фактически... считать всех? В войну у нас мать с отцом рано умерли, мы с братишками, с сестренками сами остались, а я старшая, за мать им была... Так по сей день и мамкают.

— Сберегла всех?

— Все сбереглись, все целехоньки. Кто где сейчас, а все жи-

вы... А выживали, сынок, тяжело. Ох, и лиха же хватила. “Посажу!” — кричит один. — “Расстреляю!” — кричит другой. Была в нарсуде заседателем. Страшно вспомнить: судили нашу житеневскую женщину за колоски. Я тогда за одно заседание побелела...

И все же, все же... Почему не вышла замуж перед войной тетка Прасковья, так и осталась вроде как “вдовой соломенной”? И тот попутчик в орловском автобусе Коршунов — тоже что-то недосказал. А ведь связь между тем и другим налицо, существует. Однако люди не любят про себя все выкладывать.

Сторожкий шорох через стенку: мыши, а то, может, кошка шуровала в кладовке по теткиным банкам. Густой, прогорклый, прогретый от кирпичей дух окончательно сморил Егора, веки Егоровы слиплись, и с ощущением Берегининой тайны, надо бы разгадать ее непременно, потратив на это хотя бы часть своей жизни, поплыл он по Алешне — речке к себе в Тигановку, к матери, и та все тянула, вытягивала к нему свои длинные, прямо-таки резиновые, непривычно-белые, молочные руки.

II

— Где она, эта сволочь, потаскуха?! — пробудился Егор наутро от крика.

— Кого тебе, чего тебе надобно? — стояла, перекрыв дверь, Берегиня, не пуская сюда незнакомого мужичонку.

— Стешка где? Сюда вчера убежала, сам видал.

— Побыла и ушла, — объясняла как можно спокойнее тетка Прасковья, а тем временем отбирала у пришельца топор. — Топорик-то наш, на дворе поднял, сама курам вчера крапиву рубила.

— А ну! — взялся мужик за дверь. Заглянул в горницу, за шифоньер. Столкнулся грудь в грудь с Егором. Забурчал что-то, повернулся и вышел.

— Мужик Стешкин, — обернулась к Егору бледная тетка Прасковья. — На БАМ съездила, лиха себе нашла. Отсидел, говорит, да не весь, видать, еще перекипел.

С утра пораньше Бронька Летягин прогремел сапожищами по коридору. Саданул ногой в дверь, к председателю — нога так в кабинет и въехала вместе с филенкой. Бодраков оказался на месте.

— Воленс-ноленс, — тут же засеменял к столу Бронька.

— Чего это ты, — насторожился Бодраков, — головушка не

болит? — и кивнул на сейф, где у него, Бронька знал это, не иссякало для нужных людей лекарство — неприкосновенный запас. — Словечек каких-то поднахватался.

— Это, Финаген Ксаныч, — сел Бронька на всякий случай поближе к выходу, — в переводе с латыни означает волей-неволей. Подневольный я у тебя человек. Тебе надо новый лозунг за спиной повесить: “Солюс пополюи”...

— Сдурел, что ли?

— Благо народа — высший закон.

— А чего это я не так, по-твоему, сделал? — засмеялся Бодраков.

— С тобой, Ксаныч, как — в шахматилки или так, напрямую?

— Валяй напрямую.

— Не нравится мне эта ваша, Финаген Ксаныч, затея с поселком, — выдавил из себя Бронька. — Дались вам эти гнилушки. Волна идет по колхозу. Тиганов Егор объявился, прибыл из СИЗО, куда вы его, собственно говоря, зататарили. И живет у Берегини.

— Ну этому щенку мы хвост прищемим, — откачнулся председатель на спинку стула. — Так, ты говоришь, Егор Тиганов у Берегини и Стешка там же?

— Была, воленс, Стешка — отчаянная голова.

— Ты вот что, слушай мою команду! Такой планчик. Мы этого Егора Тиганова живо...

Остальное как ни прислушивалась, прилипнув к дверной щели, Коротеева, экономистка, так и не разобрала: Бодраков с Летягиным стали говорить все тише, тише, совсем тихо.

И по Ярищу, по всему колхозу поползли слухи. Тиганов Егор как лишился жены, так и сдурел, кровь отцовская взыграла в нем, баба ему стала нужна. Отбил у живого мужа жену. А муж с топором заявился, на агронома кидался, вот до какой крайности может дойти человек, если не принять должные меры. Бронька лично наблюдал из-за куста потрясение это семейных основ...

Слухи доходят до того, кому моют косточки, чаще всего как до телеграфного столба, если вообще-то доходят. Все обо всем знают, информация вокруг человека, а человек ходит себе, ничегошеньки не понимает. Еще чаще слухи, кому это надо, путают с общественным мнением, подменяют ими по месту жительства духовную жизнь. Но еще чаще слухи эти имеют вполне объяснимый практический смысл: отвлечь от кого-то и отчего-то внимание, зациклить свободно конвертируемую неудобную личность на том, о чем и душенька-то человека не подозревает, в то время как те, кому это надо, лишены

пристального внимания ревнителей и блюстителей, посмеиваясь, таскают в сторонке из чужого мешка орешки.

Вот и Егор ничего пока не знал о тайных замыслах Бодракова и Броньки. Он объявился, наконец, на центральной усадьбе — в Ярище. Стоял у магазина — душа нараспашку, спокойно выслушивал Броньку. И накопело же в груди у Егора, все оглядываясь он на контору, где в своем кабинетике обретался сейчас Бодраков, в креслице в собственному соку жарился, у радиатора.

— Слушай сюда, — отвел Бронька Егора с глаз долой и, стгорая от предстоящего, аж приплясывал перед ним. — Знаешь, что про тебя говорят по Ярищу? Насчет бабы из соседнего села... ну, насчет женщины, женщины... А мы им — контрпропаганду, так все запутаем, за три года не разберутся. В общем, едем в Алатырь. Отдохнуть тебе надо после всего, к людям лицом повернуться. Я тебе там такой бардачок покажу!

— А что у нас есть бардаки? — удивился Егор.

— И бардаки, и живые проститутки, — ухмыльнулся Бронька. Только мы из лицемерия по-другому их называем... А ты думаешь, где я, броня крепка, дела для колхоза устраиваю? На хате. Без меня бы колхоз уж давно улетел на Луну, — несло на откровение Броньку. — Я начальничков алатырских, бюрократов этих, исподнизу знаю. Это они в кабинетиках важные, через губу плюют, а так хотят того, что и все. Сколько запчастей у них выбил, планов всяческих скорректировал. Без меня Бодраков, как без рук...

— И рисковый же ты человек, Летягин!

— А что делать? Прогресс надо двигать, воленс-ноленс, людей надо кормить. А я расшиваю узкие места, где законы двигать не дают. Еще памятник поста...

— В тюрьму тебя, — смотрел Егор прямо на Броньку.

— В тюрьму-у? — удивился Летягин, и краска медленно стала спадать с лица. — В тюрьму надо тебя, это мы можем гарантировать! — сверкнул он глазами. И спохватился, завертелся опять мелким бесом: — Ну что же это мы так, Трофимыч, в кой раз в бардак собрались и ругаемся? Никуда не годится.

— Ни в какой бардак я с тобой не поеду! — отрезал Егор.

— Вот дурачок, — засмеялся Бронька. — Слов русских не понимает. Это я так выразился: бардак, проститутки. А на самом деле кто — хозяйка компанейская, а при ней подружки ее задушевные, понял, идиот? Ну, “малина”, гостиница моя, что ли, личная, где я ночую. А то ведь в горкомхозовской то мест нет, то всякая бось мешает... Ну, едем в культурную точку? Посмотри, как живут простые люди в районном городе, а то ты привык в областном, тебе областной подавай.

— Да хватит тебе брехать-то, когда успокоишься, — уже

сходило с Егора. — Ладно, едем. — Его иногда тоже тянуло на подвиги. — Простые люди, так бы и говорил.

Бронька Летягин взял в колхозе новенький, прямо с завода зиловский бензовоз. Сказал Коротеевой, экономистке, что пригонит его обратно с бензином. И они с Егором отправились в город.

Долго крутились по алатырским улицам и переулкам, о существовании которых Егор раньше и не подозревал. Наконец, откуда-то с тылу подъехали к собору на самом берегу Зуши. Зуша здесь была внушительна. А собор, уже какой год в строительных лесах, так зарос лебедой и крапивой, а доски, несомненные свидетели бдения областного реставрационного участка, так, подгнив, перекошились, что, казалось, перекошили и само основание храма. “Вот, — махнул Бронька на ничем не примечательный деревянный домишко неподалеку, — здесь грешат, а там замали... вернее, замаливали грехи наши тяжкие”. И они въехали через крашенные ворота во двор.

Здесь их уже ожидали. Стол был накрыт, на столе красовались даже цветы — белые хризантемы. “Отцвели уж давно хризантемы в саду”, — не без любопытства оглядывал Егор белокурую, грудастую хозяйку и ее ближайших соратниц.

— А сказал, — положила хозяйка руку на плечо Броньки, — привезешь бензовоз шампанского. — Последнее слово она произнесла слегка в нос, улыбнулась Егору: — Меня зовут Рита, Рио-Рита, Рио-де-Жанейро, кажется, в Аргентине, горячая, бурная река даже и в январе. А вы, я знаю, Егор. Проходите, Егор, не стесняйтесь.

Егор так и застрял в дверях, уставясь в пышные груди хозяйки, сроду таких не видал, удивительное дело, как это они выпирают почти к подбородку и держат платье собой, платье не падает?

— Кыш-кыш, проходи, — смеясь, подталкивал его в спину Бронька. — Это булка уже надкусана. Тебе вон другое — сухое печенье, галеты. Это Галя и это Галя, знакомься.

От греха подальше Егор прошел в уголок, присел к магнитофону. Перебирал от нечего делать кассеты — японские и отечественные. Мелькали красочные этикетки, названия фирм и ансамблей, имена исполнителей, авторов. Боже, сколько их, разве упомнишь. Искося Егор наблюдал за женщинами — без хозяйки их было трое, обе Гали — крашенные блондинки того же возраста, что и отцветшие хризантемы, и только одна — рыженькая — совсем молодая.

— А вот и гвоздь программы, — заносил сюда в комнату Бронька Летягин ящик с бутылками. — Итак, что мы имеем? — оглядел он собрание. — Два на четыре в пользу женщин.

— Еще подойдет один, — грудным, низким голосом произнесла Рита.

— И кто же? — насторожился Бронька.

— Ты, Летягин, что ль, один у меня? После увидишь, сюрприз.

Бронька сделал недовольную мину, но Рита щелкнула его по носу, присела к столу под бочок Броньке, и пошло-поехало, все как у людей.

Егор держал себя в шорах. “Бардак это или не бардак?” Чем хоть это отличается от простого застолья? Может, в самом деле собрались подружки все вместе в субботу, после трудовой недели, по-хорошему этак? Может такое быть, а? Однако пьют наравне с мужиками — лошади. И никто ничего не говорит о работе, нельзя понять, где работают, чем занимаются. Правда, когда начали хвалить салаты, приготовленные хозяйкой, Егор понял, что она работала скорее всего в системе общепита, “за что и выгнали”, — подмигнула ему пышногрудая Рита.

Захмелев маленько, Егор уставился и все никак не мог оторваться от этой роскошной груди. Куда ни глянет — на Галей, скажем, и верно, галеты, суховатые палки, с офицерскими талиями, — а все на Ритину грудь сворачивает. “Бардак это или не бардак все-таки?” — решил Егор мучительный для себя вопрос. По Фрейду, что ли, это самая неодолимая из всех человеческих страстей — половая энергия, она движет миром, эпохами, через женщин, бывало, круто менялись судьбы целых народов. Слушай, Бронька, после мировой войны в Бенилюксе упала рождаемость, отцы нации тут же нашлись: вместо развития экономики и поднятия жизненного уровня двинули порнографию в типографию. Но Бронька, паразит, ноль внимания. “Бардак, наверно”, — успокоился Егор окончательно, когда на глаза ему попала (углядел-таки) малюсенькая мушка — чернявая родинка у хозяйки на груди, под глубоким вырезом платья. Рита перед ним тянулась к выключателю, чтобы убрать верхний свет для создания интима, и грудь ее колыхалась нахально, вырез сдвигался, и мушка то закрывалась, то опять появлялась. “Раз-два-три, если пять, то сегодня что-то будет”. Проходя близко, Рита как бы нечаянно, но длительно, тесно прилегла к нему — белокурая бестия. “Бардак, конечно”, — тут же решил Егор. И запретное, сдерживаемое внутреннее напряжение в нем прорвалось, снесли черты подточенную ключами плотину...

А Рита снова присела к Броньке, и Бронька в открытую стал к Рите лезть целоваться. Вовсю орал магнитофон. В полутьме, как в тумане, в ленивом фокстроте покачивались перед Егором “галеты” — обе Гали, глаза их посверкивали, но лица, как от укуса, кисловаты, а талии все-таки офицерские. Егор ревниво следил за хозяйкой.

— Чего глаза-то пялишь? — услышал он от нее.

Она сняла с себя Бронькины руки. А сама улыбалась ему, и мушка двигалась, подвигалась к нему. Рита подвела и усадила рядом с Егором молоденькую — рыжую Нину. А сама, взяв пустую бутылку из-под шампанского, затеяла игру в “бутылку”. Простенькая, но безотказная игра, знакомая Егору еще со студенческих времен. Бутылка вертится на полу, и тот, на кого, остановясь, она указывает горлышком, должен целоваться с той, кто крутит ее. Горлышко показало на Броньку.

“Нет, не бардак, — решил Егор, глядя, с каким профессионализмом, но равнодушно Рита целуется с Бронькой. Это просто Бронькина хозяйка, жилье, где он ночует вместо гостиницы”...

А в соборе этом, что за окном, проведено было столько молебнов для моральной устойчивости. И вообще столько потрачено сил человечеством, лучшими из людей, чтобы обуздать свою похоть, удержать себя от падения...

Горлышко теперь показало на него с Ритой, и в Егора впились крепкие, солоноватые Ритины губы, его облегла Ритина грудь, и Егор забыл, о чем думал.

Хозяйка так и осталась сидеть с ним рядом. В один из моментов она положила Егорову ладонь к себе на колено, и, когда внутри его все загорелось и вытянулось в струну, когда Броньке опять подфартило с бутылкой, Рита вскочила и шмыгнула в дверь, таща за собой и Егора.

Комнатка не комнатка, скорее кладовка. Ночничок. На постели откинута одеяло. “Бардак”, — окончательно и бесповоротно решил Егор, когда грубоватое, горячее дыхание Риты, как самум в африканской Сахаре, ударило и втянуло Егора в себя. Он бросил Риту на одеяло, кровать треснула и подломилась, и тут же кто-то — Бронька, кто же еще — отчаянно заколотил в дверь.

— Чего тебе, совсем охренел? — отпирала фанерную дверь хозяйка. — Не видишь, конфеты едим шоколадные. — И сунула в рот Броньке “Мишку на севере” прямо в бумажке.

И все втроем вернулись нехотя в комнату, где продолжалась вечеринка.

— Что-то, Лetyгин, — смотрела на настенные часы Рита, — Коша наш не показывается.

— Какой Коша? — словно на стенку, наткнулся Бронька.

И тут в дверях возник мужчина могучего роста — Коша! Тот самый, матрос торгового флота, которого Рита дождалась с таким большим внутренним нетерпением. Коша шагнул из двери прямо к магнитофону.

— Эту штучку я купил в Буэнос-Айресе для тебя, Рита, а

не для этого фраера, — щелкнул он по носу сидящего рядом с магнитофоном Егора. — Этот, что ли, тебе не нравится, Рита?

— Что ты, Коша? — подлетела рыженькая Нина. — Это же наш Егор, познакомься.

— Тогда, значит, этот, — двинул Коша на Броньку и по пути смахнул со стола и опрокинул в рот себе полный граненый стакан.

— Знаешь, чье пьешь-то хоть, недомерок? — осмелел Бронька, тоже ведь, не с водой имел дело. — Мое бухаешь, Бухенвальд! Видал бензовоз во дворе — под пробку шампанского.

— Бензовоз! Я бы танкер сюда подогнал, да где тут море, сухопутная крыса, покажи.

— Танкер твой на мели, — усмехнулся Бронька, — в кармане сухо, как в Сахаре. А за моей спиной колхоз, понял или нету? Колхоз! Бочка бездонная.

— Колхоз твой — тьфу, голодранец, мильен, небось, должен... А я подарил Рите этот японский маг, барахла навез всякого. По морям мотался, а Рита ждала. Ждала, Рита?

— Ну! — буркнула Рита. — Нагрузились, шакалы.

— Мильен — и что? — упорствовал Бронька. “Будешь упорным, — вникал в обстановку Егор, — человек на работе, теряет необходимую точку”. — И два мильена будем должны — что из этого? Соображаешь, какие резервы у нас и какие у вас, летучий голландец?

— Миллионеры навыворот, броня крепка, яти важу мать, — клонясь к матросу, выругалась хозяйка.

И тут руку Егора обожгла маленькая, огненная ладошка — Нина, рыженькая. “Скорее за мной”, — шепнула она Егору, увлекая за собой в боковую дверь.

Воздух ударил в легкие Егору, громада собора нависала над головой. “Все, значит, видишь, все, греховодник, слышишь? — кивнул Егор собору, как человеку. — И меры не принимаешь?”

Стояли с Ниной поодаль, смотрели на звезды. Из-за поворота вылетела машина — милиция. Остановилась как раз напротив Ритино дома. Милиционер постучал в окно:

— Вызывали по телефону? Агроном тут у вас пьяный бушует...

Егор сжался в комок: ну и дела. Рита, хозяйка, ответила что-то. В это время за спиной у нее раздался звон битого стекла, оба милиционера мигом нырнули в калитку.

Включили фары, видно было, как милиция выводила под руки Броньку, Бронька крыл на чем свет все моря-окияны, все, какие есть, танкера во главе с Кошей и восхвалял свой родимый колхоз, который один, если надо, может посадить все, какие существуют в мире, танкера в калошу, а Кошу с этой паскудой Ритой закрутить паршивым японским магнитофоном и швыр-

нуть обоих вместе... изк... в надлежащую, изк, в набежавшую волну...

Егор провожал Нину домой. Шли молча и на расстоянии. И вдруг она остановилась, прислонилась головой к деревцу и разрыдалась:

— У меня нет никого, я — государственная, из интерната. Я в этом доме угол снимаю, мою в столовой посуду. Рита мне денег взаймы давала, стала водить к себе...

Егор молчал. Ему было стыдно. Вины в нем сейчас было столько, что она выплескивалась, переливалась через край, вина перед самим собой, перед этой девушкой, перед всем белым светом. А собор держался перед глазами темной громадой, заслонял собой половину неба. Прежде как оно было, наверно, сходят сюда на исповедь, и греха как не бывало, ловко же люди устраивались. “Бардак не там, где встречаются и подают, — подумал Егор о Броньке Летягине, — а где венчают и предают”. Так-то был ему главный урок.

А Бронька заявился в Ярище только на третьи сутки. И с фонарем. Разговор его с Бодраковым проходил конфиденциально, как это бывает у высоких лиц, при закрытых дверях. Но даже если бы, изловчась, Коротеева что-то все-таки и подслушала, вряд ли бы она смогла что-либо понять, чтобы затем еще и добавить свое.

— Ну что, волено-ноленс, подучили там тебя в университете? — резанул председатель Броньку узкими глазками. — Выручай тебя, черта, и никакой благодарности. Едва упросил начальника милиции, мол, кран подъемный прислали, простаивает без механика. Не то упоролы бы тебе, Бронислав, на всю катушку.

— В каком учреждении, Финагеныч? — потупил Бронька свои обычно нахальные очи.

— Не в товарищеском, конечно, — в народном. Где латыни вас, таких дураков, обучают.

— Не латынь изучал — хлеб, Финагеныч, пек. Крестикнолики, знак свой, на каждой буханочке ставил — восточку на родину, не попадалась?

— Приду домой — погляжу, — усмехнулся Бодраков. — А что метлы для тебя не нашлось? Хлеба печь заставили.

— Метла, броня крепка, подождет, — смиренно ответил Бронька. — Это брюхо наше — злодей, старого добра не помнит. Эх, да кабы хлеб пекли пекари, а то ведь лекари. На заводе в штате директор один остался и профорг. А рабочими — то

врачи, то учителя, а то сапожники из бытовой сферы. Да вот мы такие... из университета.

— То-то хлеб алатырский и свињи есть не хотят. — Бодраков встал из-за стола, прошелся к окну. Смотрел, как уже начинают валиться желтые листья. — Ну, а главное — дружка твоего что, в университет ваш не взяли?

— Так у него, Финагеныч, высшее образование. Выскользнул.

— Ладно, умелец! — рубанул воздух рукой Бодраков и стал тут же осаживать себя, успокаивать. — Уже то хорошо, что раскачиваем ему психику. А дальше что-нибудь придумаем. Сверх высшего есть еще выше, понял? Посиди-ка дома дня три, даю отпуск. Не светись перед людьми фингалом, морду как себя испохабил. Все, свободен. Иди отдыхай, проходимец.

— Дитя криво, да родителю мило, — отвернулся Бронька в шалой улыбке.

III

Бодраков передал через Броньку: для таких, как Егор Тиганов, места в Ярище нет и не будет, так что пусть на центральной и не появляется, прямиком, если надо, едет в Алатырь, пусть посветится перед начальством.

И Егор направился в город. Секретарь комитета был молжав, застегнут на все пуговицы, в кожаном пиджаке. Егор навидался таких пиджаков еще в Орле. Прощел к столу буквой "т", присел бочком. Перед такими столами в больших, солидно обставленных кабинетах сам ты какой-то маленький, виноватый какой-то, перебираешь факты своей биографии, все ли в порядке...

Зазвонил телефон, одновременно другой. Синякин ловко манипулировал обеими трубками. Левую — прижал плечом к уху, в правую говорил что-то и тут же записывал.

— Не вижу криминала в том, что механизаторы ходят к молодым учителям, — убеждал он кого-то на другом конце провода. — Молодые ведь, пусть устраивают судьбу. А вы кто для них, отец родной? Ах, директор школы. Ну так и будьте директором. Извините, — кивнул он Егору. — Все силы — селу, все селом занимаемся, а городу, промышленности — крохи...

— Может, слава богу? — прочистил голос Егор. — Так оно лучше?

— Для кого?

— Для города.

— Вы по поводу шефов? — приподнялся Синякин. — К вам едут с трикотажной фабрики. В приемной как раз их

представитель. Мария Александровна, пригласите товарища...

В кабинет Синякина вкатился кругленький, шустрый такой человечек — колобок, глобус, живая ртуть.

— Пронин я, — подкатился к столу “колобок” и зачастил сходу: — Извините, товарищи, задержались мы. Директор наш молодой, новый, всего третий месяц работает, в ситуации сразу не разобрался. В самом городе подземный переход на автовокзал строим, улицы метем, на жилье людей выделяем, а кто же план производственный выполнять будет?.. Понимаю, товарищи, помощь селу — дело государственной архиважности, и вот я здесь, а девочки наши приедут завтра, так что встречайте, товарищи.

— Встречай, агроном, — кивнул Егору Синякин.

Егор вышел из кабинета в задумчивости: село у города, как Анна на шее.

Шел Егор по дороге на Житень, а сам все силился войти в смысл того, что имел в виду этот Синякин, когда сказал про шефов именно ему: “Встречай, агроном”. Так, восстановлен он, Егор, в своей должности или не восстановлен, чье слово верхнее — Синякина или Бодракова? Придет, расскажет тетке Прасковье все поподробнее — может, она что-либо посоветует.

Еще издали Егор углядел у Берегининой хаты белую “Волгу”. Подошел поближе — с двумя нулями, ого! Что за персона? Спросил у шофера, а тот: “А я почему знаю. Видать, важная птица, коли сам Первый машину дал”.

Дверь в сенцы оказалась приоткрытой. Возбужденные голоса остановили Егора на пороге. Берегинин голос как бы отбивался, не соглашался, а другой — мужской, скрипучий такой — напирал, вился коршуном. “Где я не так давно слышал этого скрипуна? — нажимал на память Егор. — Ах да, коршун! Попутчик автобусный, “гриб-мухомор” с Волчьего Шляха”.

Он: — Всю жизнь, Паша, ждал я этого часу. Переходи ко мне! Домок мой получше, деньжонки куда водятся. Хоть проживем на старости лет: покой да любовь...

Берегиня: — Не выйдет, Игнат, не получится. Коршуном был, коршуном и остался.

Он: — На фамилию намекаешь, в фамилиях мы не вольны.

Берегиня: — В жизни вольны. Жизнь у тебя сволочная!

Он: — Все, Пашенька, все, любовь моя. Укатали сивку крутые горки. Старый стал, помирать пора. Да и не те времена...

Берегиня: — Помирать собрался, а сам свататься прикатил?
Он: — Я бы и тогда на тебе женился. После выпускного в школе. Кажется, в тридцать седьмом? Да тот человек между нами встал...

Берегиня: — Какого человека загубил!

Он: — Подумаешь, лектор. Речи толкал красивые. Да я и сам после говорил с трибуны не хуже. И про мировую революцию, и про текущий момент... А ты с чего взяла, что это я его? Может, кто-то другой.

Берегиня: — Нет! Это ты, ты, Игнат, ты! Только ты был на это способен. Сердце сказало, и земля слухами полнится.

Он: — А ты слухам не верь.

Берегиня: — Ладно, Игнат, уходи, И дорожку к моей хате забудь. Всю душу мою стоптал... Уходи, Христом богом молю, уходи!!

Встрепанный, Коршунов пролетел сенцы мимо Егора. Белая "Волга" двинулась с места. А Егор как переступил порог, так и стоял молча перед теткой Прасковьей.

— Сатана в образе человеческом, — только и выдавила она из себя. — Сколько же зла сотворил людям, горя столько принес! Торонись его, Егор, торонись... У него же руки по самые локти в крови... Не приведи бог встретиться с ним ни на том, ни на этом свете.

И прислали в "Светлую жизнь" шефов с производства — вчерашних школьников. "Необученные солдатки, — констатировал пожилой, степенный инженер с завода Потапов, их старшой. — Что ж, начнем обучать".

Шефов разместили в Ярищенском клубе. Полдня конторские бегали по селу, собирали кровати; раскладушки, из пришкольного интерната принесли диваны и койки, а вот постельное белье нашлось в колхозе свое.

"Бардак сам сюда прикатил", — так и стебали по глазам красивые, нагловатые мордочки. И верно, к вечеру вокруг клуба затрещали мотоциклы, мопеды, взвыли магнитофоны, транзисторы — закрутились ребята. А еще через день инженер Потапов появился у Бодракова.

— Спасите наши души! Лезут, окаянные, не в дверь, так в окна.

— Да кто хоть?!

— Женихи ваши!

"Проблема невест" — под таким заголовком еще несколько лет назад Бодраков прочитал в молодежной газете письмо моло-

дых механизаторов из села. Тогда это только начиналось, посмеялись над этим, и все. А теперь как откликнулось. Девушки-сельчанки на подъеме оказались полегче, подхватились — и в город. А ребята остались, так вот и не женились, к тридцати годам в бутылку стали заглядывать... Так понимал обстановку Бодраков, так понимали все. Однако вот что случилось в Ярище.

* * *

А случилось то, что в конце концов и должно было случиться. Тетка Прасковья собиралась на центральную. Едва напялила на себя шерстяную свою, лучшую кофту — она была ей уже тесновата. Да причесывалась в горнице перед стареньким, треснувшим наискосок зеркалом, откинув на спину тяжелые, длинные волосы. От усилия тетка Прасковья слегка покраснелась, на чистом ее, еще моложавом лице обозначились щечки. “Красивая старость, — подумал Егор, — а какова она в молодости была? Отчего же так и не вышла замуж? Люди не говорят друг другу всей правды — из лицемерия, для самозащиты или просто мы так привыкли, так ведь? Слова наши — внешняя оболочка не совсем обязательного того, что внутри. Вот и сейчас, знал Егор, еще не перекипела в ней, видать, та статья из газеты — об орловском расстреле, встретились с “другом молодости”, а сказать нечего. Сегодня в Ярище выездная сессия райнарсуда. А все они — городские “невесты”, из-за них пострадал человек”...

Примечал Егор: время, что ли такое, внутренние пружины — побудительные мотивы, часто бывают одни, сцепления из обстоятельств вытекающих фактов — другие, а вот выводы — черт-те что, ни в какие ворота не лезут. Абсолютно независимы. Нелогична ныне, издергана человеческая натура в лицемерном нашем безвременье, так.

Егор был занят сейчас мыслями о Берегине. Что за тайны у нее, что за судьба? Думалось, она — открытая книга, а у нее, оказывается, свои, собственные страницы, свой “лектор”, которым упрекнул ее Коршунов. Почему же она молчит? Не отваживается ворошить прошлое? Еще бы, там — кровь, смерть, кто-то герой, кто-то предатель, подлец, недостойный носить звание человека. И тетка Прасковья что-то знает, и Коршунову известно. Но как войти в этот узел, создать картину из их фактов, своих ощущений? Пестрый дятел, серый дятел, черный дятел — желна. Стук-постук. Стукачи. Лектор — Берегиня — Коршунов и орловский расстрел. Конечно, за этим — ее личная драма, но и общая наша трагедия. Однако мир не должен сохранять такие тайны, если мир этот честен.

Суд проходил тут же, в Ярищенском клубе, где все случилось. Сама пострадавшая, которой мотоциклом переехали ногу, дела не возбуждала, его возбудил коллектив больницы. Запомнилась Егору эта девушка — светленькая, хрупкая такая, но боевая. Они с Бронькой приезжали на свекольное поле за Абрикосовой мельницей. Поле это убрали последним, чуть ли не зубами выгрызали корни из промерзшей земли. Работали на жестком степном ветру, девчата жались в кучку, “синие птички” в своих болоньевых курточках, резиновых сапогах. Подошла эта самая девушка. Бодраков выслушивал ее претензии, а у самого сердце сжималось: да ведь это же будущие матери...

И суд заседал прямо на сцене. Всем остальным — свидетелям, публике — предназначался зал, где места были пониже. На скамье подсудимых находился всего один человек — Тиганов Борис, механизатор. Бориса взяли под стражу сразу же, и с того дня его здесь не видели. Увидели только сейчас, с милиционером. Все Ярище знало, что Борис берет вину на себя. Он действительно был тогда возле клуба, крутился на мотоцикле вместе со всеми, но ногу этой девушке — Плешаковой Вере — переехал другой человек. Парнишка-девятник. А Борис захотел побыть в центре внимания, надеялся, что его как одного из лучших механизаторов не привлекут.

Дело Бориса всколыхнуло Ярище. Все ярищенцы, кажется, род весь Тигановский со всеми его разветвлениями, собрались сегодня в Ярищенском клубе. Егор искал глазами в передних рядах Бодракова, эту сволочь. Где же он, где?! В такие часы вожди должны быть с народом. Однако вместо Бодракова у двери мелькнула Стешка. Неужто она — белый платок на плечах, в легком черном платьишке. Егор слушал нарастающий гул зала, отдельные выкрики /“Боря, не дрейфь, мы с тобой!”/, а сам теперь думал только о ней — Стешке.

— Надо бы дополнительный наряд вызвать, — сказал районный прокурор Аристархов старичку уже — народному судье Пранцузову.

— А, ничего, — отмахнулся народный судья.

И суд вел этот Пранцузов. Добродушен он был только с виду, это сразу все поняли: “Итак, въезжали в клуб на мотоциклах? Через фойе прямо в зал? По доскам влетали на эту вот сцену? А отсюда как? В окно и по доскам с окна? Ну, компанчи! И по пути переехали одной из девушек ногу, так? Она протестовала, как староста исполняла свои обязанности?” После первых слов прокурора все совсем стало ясно. Зал сковала прямо-таки гробовая тишина. “Председатель пусть скажет, Бодраков, —

раздалось из зала. — Пусть заступится, депутат”. — “Нет его, укатил в город — с глаз долой”.

Ярищенцы, кое-кто из Тигановского рода принялись подталкивать житеневскую Берегиню:

— Ты скажи, скажи им, тетя Паш.

Егор впился в лицо Берегине. Что могла сказать судьям Прасковья? Как сама после войны была заседательницей, как загоняли за Можай тогда за колосок? Что Борис, как пришел из армии, так бессменно на тракторе?..

— Знаем, — перебил ее старичок Пранцузов. — Вы женщина уважаемая, работали председателем. Но то, извините, были совсем другие времена, другими были и меры пресечения... Да ведь вы сами видите: вот Вера Плешакова присутствует в зале, смотрите, на костылях. А если Вера останется инвалидом? Извините меня, старика, за такую откровенность: и кто возьмет ее замуж?

— Я! — вскочил со скамьи подсудимых Борис. — Я возьму. Вера, пойдешь за меня, Верочка?!

— Вера, прости ему! — закричали из зала. — Прости!!

— Я прощаю, — едва прошептала девушка, вставая неловко действительно на костылях. И угнулась, кусая губы, лицо ее облилось краской. — И судить его не за что, потому что... потому... — И зал загудел, как, извините, встревоженный рой пчелиный. Застучал карандашом по графину с водой народный судья. — Товарищи, товарищи! — Зал затихал постепенно. — Товарищи, факт преступления неоспорим. Человек прощает, но мы — общество — не прощаем, государство не прощает... Я лично не могу простить... Что же это у нас получится, а? Сегодня мы простим тех, кто в этот зал, на эту вот сцену на мотоцикле въехал. Это вместо того, чтобы петь, в самодеятельности здесь участвовать, а завтра они на крышу на мотоцикле взберутся, по кускам весь клуб разнесут. Нет, товарищи, закон есть закон. И он один и для министра, и для тракториста. Но только министр, извините меня, старого, за такую откровенность, на мотоцикле на клубную сцену не въедет, у него, хе-хе, голова на плечах...

— Зачем ему на сцену въезжать? Он женатый, министр-то, — высказалась теперь уже прямо из зала тетка Прасковья. Все насторожились, понимали — из зала ей легче, знали — востра на язык. — Да его на черной “Волге” возят, а на “Волге” сюда, конечно, не въедешь. А женихи наши перед невестами хотели себя показать.

— Министр, товарищи, у нас каждый в одном экземпляре, — старался объяснить залу свою точку зрения Пранцузов, народный судья. — Не будем министров охаивать. Человек заслужил, значит, если ездит, черную-то “Волгу” государство, кому зря,

не даст... А нас таких тут, глядите сколько, — много. И каждому если с мотоциклом на сцену вздумается, то какая у нас с вами получится самодеятельность, куда мы с вами приедем? Но мы с вами не позволим позволить недозволенное, так? Не позволим!

После этого нарсудья усадил на место тетку Прасковью, а слово передал районному прокурору Аристархову, и тот квалифицировал неправомерные действия подсудимого Бориса Антоновича Тиганова как дерзкий хулиганский выпад, запросил у судей от трех до пяти лет лишения свободы. Зал ахнул и помертвел. Первым очутился небезызвестный дед Колчак, колченогая нога, по фамилии Бобырев.

— Тихо, вы! — поднял он над головой палку и с силой ударил по полу. — Тихо... Я хоть и не совсем Тигановского рода, у меня жена из Тигановых, но тоже разделяю общее умонастроение... Видите? — показал он на скамью подсудимых, на Бориса Тиганова. — Кто сидит на этой нехорошей скамейке? Один человек. А почему?.. Вот вы, товарищ Пранцузов, сказали, что не позволите дозволить, а куда мы с вами пришли? Куда идет наш колхоз во главе с Бодраковым? Почему у нас нет своих невест, оперилась и в город? Я бы к Борису Бодракова и еще кое-кого посадил, это два. Почему, спрашивается, в школе невест не воспитывают? И директора школы туда, это три... Почему уезжают, девочкам работать тут негде, пошивочную мастерскую никак не откроют? И директора бытового обслуживания из района сюда же, это четыре. Ну, и сам бы подсел, это пять.

— Ну, а сам-то за что? — спросили из зала. — За какие грехи?

— Вот на всех, — не обращал внимания Бобырев, — и разделить эти Борисовы пять лет. Сколько на каждого получается? По одному году...

— Прекратите! — наконец поднялся народный судья. — Прекратите этот спектакль, адвокат выявился! Вы кто тут такой?

— Я? Сторож при клубе.

— Вот и сторожите. А не позволяйте на мотоциклах по сцене раскатывать.

— Так я что говорю-то, я уже старый, а Борис молодой, — заканчивал все же свою мысль дед Бобырев. — Нас крайних из пятерых-то отбросить, а середка пусть остается, пускай оттерпужат.

— Если бы всех оправдывали, — поднялась в зале опять Берегиня и, нервно поправляя платок на голове, повернулась к людям, — что бы им тогда делать было? Себя берегут, конторы свои надо было бы свертывать, остались бы без работы... У них так — то нельзя, это нельзя, одни запреты. Я узнавала у нашего

участкового, у Степаныча, сколько за год в районе у нас привлекается? И по уголовным делам, и просто штрафуются? Тысячи полторы. А населения, если без города, сколько? Тысяч восемь. Так за сколько годочков они туда всех нас оформят?

— Не волнуйтесь, — помрачнел, отвечая на реплику, прокурор Аристархов, — кого следует, и оформляем. А без работы, к сожалению, мы действительно не окажемся. Надо, мать, сына воспитывать вовремя. Не сейчас, когда вдоль лавки не уложишь, а когда еще поперек было можно. И не нарушать общественный порядок. А нарушил — отвечай со всей строгостью, на то и законы! Вот так.

И тут Егор столкнулся взглядом со Стешкой. Она была возле самых дверей. Кровь бросилась Егору в голову, он встал, огляделся вокруг и попросил слова. И стал говорить вроде всем, а на самом деле одной только Стешке о женихах и невестах, которые живут врозь — эти тут, а те в городе, а нужно, чтобы сердце было с сердцем, душа с душой, особенно у молодых, потому что какие они сейчас, так потом такими и будут, может, даже и хуже. Никого пока что тюрьма не сделала лучше... В сердце — стук, в стенку — стук, стук-постук, стук-постук...

Тиганову Борису дали год исправительно-трудовых работ в колонии простого режима. А в отношении граждан Бобырева и Тиганова Егора Трофимыча было вынесено частное определение: за недисциплинированное поведение в зале суда вышеупомянутых граждан подвергнуть штрафу, в пользу государства, в размере двадцать пять рублей с каждого.

“Себя берегут, конторы надо бы свертывать”. Язык за зубами надо держать, вот что!

Стешка уводила из Ярища Егора по дороге на свое Оболешево. Они шли, не зная куда, по рассаженной тракторами и машинами, кочковатой такой от первого, еще робкого зазимка, корявой дороге. Стешка не спрашивала его про жену, Егор не говорил ничего про Петра — тот работал телятником в другой бригаде за речкой, где-то на “колыме”.

Было за полночь. Они шли так долго, забыли, когда из Ярища и вышли. А оболешевские огни все никак не показывались, дорога не та, не оболешевская, неизвестно какая.

Первым обеспокоился Егор, но ничего не сказал Стешке. А когда оба остановились и стали теперь уже вместе вглядываться в очертания местности, вовсе поняли: заблудились. Еще школьником, помнится, собрался он на лыжах к маме на ферму, да проскочил мимо. Так, звезды тут же вызверились по-волчьи, и

холодно стало. И все вроде знакомо, а как чужое: балки, перелески, речка, где и что — не разобраться, кто бы это все на место поставил...

Ночь хоть и звездная, да звезды едва присвечивают, только мешают. И страхом сжало Егорово сердце. А страху лишь дай потачку, сгложет ведь, согнет в дугу, пригорбатит. Где-то в этих местах должен быть куст шиповника, тот самый.

— Блуд напал, — удивился Егор и поежился.

— А ничего, — улыбалась Стешка и в темноте.

Ухватив Егорову руку, она прижалась к Егору. Мягкая, теплая. Егор задрал голову: высоко — высоко, где-то там в стратосфере, летел самолет. Летит самолет над ними, где-то в срединной России, а через час, через два может быть где-нибудь за Кавказом, в Африке, под Парижем, Лондоном или Нью-Йорком. Какие же они со Стешкой для него, наверное, маленькие. Когда не так давно, по воздушному мосту, на Ближний Восток день и ночь шли тяжелогруженные “Антей”, Егору сделалось страшно: хрупка, товарищи, жизнь, вечно в чьих-то руках, страшно не за себя — за детей...

— Стешка, — сказал он, заглушая перестук в себе Старого Дятла. И хотел сказать ей обо всем сразу: о стукачах, о колонии, о себе и теперь вот о Борисе, а сказал совсем ведь не то:

— А вода в Байкале холодная?

— Зато люди горячие, — быстро ответила Стешка.

Они решили идти, все равно куда, лишь бы идти. Он тормозил ее, притягивал к себе, дышал в озябшие руки. Просторы вокруг, поля. Поля, они ведь тоже, как люди, у каждого свои тайны, и каждую надо узнать. Но сейчас они шли, не знали, куда идут...

И вдруг Егор чуть ли не вцепился носом — что это? Трактор. Трактор в борозде. Бросили с вечера и ушли домой. “Вот черти! — выругался Егор и аж засмеялся. — У нас человеку пропасть не дадут”.

Завел дизель — в кабине стало тепло. Стешка прижималась к нему, прямо-таки вжалась в него, вся вошла внутрь его...

Слабо светились приборы. Егору стало думать о доме в Тигановке — хате деда Петраки. Интересно, сколько бы у них со Стешкой было детей? Он сделал бы для нее в жизни все, что только в его человеческих силах...

Светало. Возник, бугром перехвачен надвое, стальной карандаш водокачки — башня Рожновского. Господи, да это ведь Житень! На плечах долины качался туман. Прокричал петух, и туман сдернулся с места, потек по Алешне-речке, к многоводию Зуши. А у Берегининой хаты выдирались ввысь острые, черные пики елей. Вынесла же нелегкая их под окна тетки Прасковьи.

Здесь и прожили Егор со Стешкой три самых счастливых дня своей жизни.

IV

Три самых счастливых дня выпали на долю Егора и Стешки у Берегини. Хоть на время забыто, что где-то кого-то съедает черная зависть, что жизнь в постоянной борьбе. По Оболезево метался Петр — муж не муж Стешкин (кем его и считать-то, прицепился к ней, как банный лист, еще на Байкале), но ничего не знала про эти метания Стешка, да и знать не хотела. Не знал и Егор, что Бодраков, разыскивая своего бывшего агронома, сулил ему новые, неисчислимые кары и испытания в смысле трудоустройства.

И вот в первое же утро после народного суда председатель вызвал Бобырева к себе “на ковер”.

— Ты что ж это, сукин кот, забыл, кто зарплату платит тебе за безделие, а? — сорвался Бодраков хоть на старикашке. — Значит, меня, по-твоему, надо в тюрьму на годишко вместе с Борисом, а тебе печать председательскую?

— Бес попутал, Финаген Ксаныч, — нырял глазками туда-сюда старый Бобырь. — Язык сам выскочил. Только я на печать твою не претендент.

— Как распустились! — гремел на весь кабинет Бодраков. — Председателя куда спровадить хотели, гори оно синим огнем. На себя бы глянули: воры, лодыри, пьяницы!.. Ты, Колчал, упер прошлой ночью сено с Алешненской поймы? Вздумал на старости лет правду искать, правдоискатель, я тебе поищу... А кому же мою печать, кто по-твоему претендент — дружок твой, агроном этот, что ли, Тиганов Егор?

— Да какой же дружок он мне? — наконец, вставил словечко старик Бобырев. — Так, маненько с родства, по жене.

— Все вы тут одним миром мазаны, один клан, посплелись. За кого ни ухватись, все Тигановы да Безлепкины... И агроном твой дождется, я ему с губ молочко оботру. Бодраков я вам или не Бодраков?

— Оботрешь, конечно, — замылся Бобырь, наблюдая мелкими своими, щуркиными глазками, куда, интересно, шлея, попавшая с утра под хвост Бодракову, к обеду-то вывезет.

— Бодракова вы скоро узнаете, Бодраков слово свое еще не сказал, Бодраков кой-кому тут, гори оно, клизму поставит... Иди сюда, подпиши-ка бумажку.

— Молодец! — восхитился дед Бобырь, отодвигаясь, однако, подальше от Бодракова, к двери. — Таким, Ксаныч, ты не был, когда предом тебя к нам сюда привезли. Это тут тебя нау-

чили. А то, говорят, ты с одним портфелем сюда пришел, а отсюда не увезешь и на тракторе, дурраки! У тебя все богатство в уме, вон как чешешь языком и не передыхнешь. Такой председатель нам нужен, всегда сумеешь там, в Алатыри, перебрехать, кого надо, в обиду не дашь нас, таких дураков, наш колхоз.

— Ладно тебе, — поморщился Бодраков. — Не подхалимничай. Не хочешь подписывать — не надо, сами справимся... Говори, Колчак, впредь, да не заговаривайся. Иди.

— А как же насчет возика, а, Финаген Ксаньч? — обратно всунулась в дверную щель хитроватая рожица Бобыря. — Ить заработанное, клетки ондатрам твоим кто смастерил?

— Хорошо, оставляй воз... Да не мелькай ты тут, старый, без тебя тошно! — осерчал всерьез Бодраков.

Куда денешься, надо. Егор шел к председателю. Перед кабинетом его отвел в стороночку Лихопеков — заместитель Бодраковский. “Как же так? — покачал он головой. — К Бодракову еще не являлся, а на суде тебя вынесло”.

Разговор с Бодраковым был краток. Все снизу наверх перевернул ему Бодраков, припомнил все до мелких подробностей. Под конец сказал угрожающе: “Пока иди и работай. Но с тем, что тебя отпустили оттуда, не согласен”. Уже, выйдя из кабинета, Егор начал сравнивать Бодракова с Лихопековым. Земля и небо. Лихопеков раскрывает твои возможности, выделяет лучшее, что есть в тебе, в общем строит свои отношения на Добре. Бодраков же не строит, а только ломает, что уже создано человеком. Непременно внушает тебе вину, ты должен мучиться, переживать, каков расчет: дескать, станешь покладистее, будешь жить и работать, как все, — это по Бодракову. “Хлюст какой! Засадил в тюрьму — и он же на меня еще и зуб держит!” Егор встревожен был, увы, не на шутку.

И за порог своей комнаты не пускала к себе Стешка Петра. “Да как вы живете хоть, не пойму, муж он тебе или не муж? — упрекала ее мать. — Человек вон откуда за тобой прикатил”. — “Я его не просила, — угибалась Стешка. — Ехал сюда по-товарищески”. Мать уж и в летнюю кухоньку переходила жить, и совсем из дому на пару недель исчезала, может, скорее молодые найдут друг дружку. Но по-прежнему, приходя с фермы, Стешка сбрасывала с себя рабочую одежду на конике, подсаживалась в своей комнате к зеркалу и красила губы, выщипывала брови. “Для кого хоть наводишься, — укоряла мать. — Для этого, для женатого, что ль... агронома ярищенского? Какой пример младшей сестре Танюше? Совестно перед людьми”. — “Не твое де-

ло”. — “Как это не мое?! — возвышала мать голос. — Уж мои подружки все бабки, и я хочу внучека на руках подержать... Иди-иди!” — подтолкнула она однажды Петра в ее комнату.

Стешка тут же метнулась в дверь, схватила со стола кухонный нож.

— О господи! — отвалились руки у Стешкиной матери. — И в кого чумовая такая-то, бешеная?

— Сама говорила, подарили цыгане, — разжимала, не могла разжать белые губы Стешка. — Под Ельцом нашла в таборе, позабыла?

— Да доченька ты моя, — заплакала мать. — Да живи ты, как хочешь.

После этого и вернулась она с летней кухни назад в горницу, спала ближе к младшей дочери Танюше, еще школьнице. А Петр как ушел к телятам в лагерь под “колымой”, так и не показывался, ночевал в своем шалаше. Необстриженный, ненакормленный, перебивался кое-как, часом с квасом, лишь иногда Стешкина мать приносила ему из жалости варева, чистую рубаху да папиросы “Беломорканал”, за которыми сама и ходила в магазин аж в соседнее село, в своем не было. А бутылочек-то было в его шалаше, а бутылочек! И все вермут — “изготовлен из высших сортов винограда в Молдавии”, а “бутилирован” в Орле.

Когда Стешка пропала и не появлялась целых трое суток, мать всех обегала и в сельсовет заявляла, и в милицию собиралась. К Петру приходила под “колыму”, уж не ты ли, супостат, Стешеньку мою на дно речки куда-нибудь определил? Вернулась Стешка — и глаза стали вроде огромнее, прямо телега въедет, и волосы кольцами по плечам, и вид гордый такой, недоступный, не тронь.

Петр заявился на ферму под вечер, после дойки, когда Стешка уже мыла шланги.

— Сука! Казни или милуй, — упал он перед ней на колени. — Возжи на, возьми и повесь хоть на этом суку.

— Дурак, — смотрела она спокойно. Впервые видела, чтобы мужик так унижался. — Размазня!

— А тот... он, что, не размазня? — поднимался Петр угрожающе медленно.

— Он? Нет! — гордо вскинула голову Стешка, глаза ее начинали косить.

— За то и липнешь к нему?

— Я люблю! А ты пьяный, иди и проспись.

Ни словом не помянул он Стешкиной матери о своем посещении Житеня. Вернулся с “колымы”, опять поселился один в летней кухоньке. И большой, лихорадочный блеск заметался в его жестких, волчьих глазах.

Забурились Егор с Бронькой в алатырскую пивную, что за автовокзалом. И кого увидел Тиганов Егор — Коршунова! Ну да, того самого — "коллегу", гори оно, дружка по несчастью, что при культе аж два срока отмотал и оба по политике.

Стол был завален пустыми бокалами, щекой Коршунов прилип к грязной столешнице, носом уткнулся в горчицу. Время от времени он отрывал от стола чугунную свою голову и рычал. То были отборнейшие ругательства, однако несвежие, довольно устаревшие и потому душу не забирали.

На них реагировала только старуха с мокрой половой тряпкой — командир производства. Она зарабатывала себе на хлеб тем, что подтирала за всякими.

— У, хамлет! Опять напруденил, — намахнулась тряпкой она на человека явно старше себя.

Коршунов приподнялся, вонзился зраком в нее — диким и воспаленным.

— Я таких к стенке, к стенке! — прохрипел он как бывший дважды узник советского архипелага, и на сей раз его слова были куда более вняты. — И пачками, пачками вас таких, да!

— У меня все равны, езуит! — съездила для остротки старуха ему по лицу жирной тряпкой. — Привилегиев не понимаю. Кыш отсюда. Ишь, еще драться, курва такая, меланхолик, я тебе подерусь!

В глазах Егора что-то треснуло, перевернулось. Выстроилась своя собственная версия того, что произошло когда-то, в далеком тридцать седьмом. Однако в цепи явно не хватало нескольких звеньев. Из Алатыря Егор направился теперь уже не на Житень, а проследовал автобусом напрямик дальше в Тигановку. Надо было поделиться с отцом, такими вещами делятся только с родителями. С тех дней, когда умерла мама, не было у Егора человека ближе отца.

На счастье, Тиганов Трофим оказался дома. Вдвоем они углубились в сад и очутились в омшаннике. Стены деревянные, пол деревянный, потолок деревянный — все деревянное, без единой щелочки, как в сундуке. И медом пахло, зверобоем, душицей, пуками развешанными по желтым, проскобленным доскам. Несколько раз то с вопросом, то с самогоночкой прибежала Тоська, но Трофим достойно отражал набеги ее, ограждал мужской разговор от бабьего любопытства.

Все смешалось у Егора после первых же слов, когда отец, оглядываясь, сказал:

— А мы, сынок, с тобой вовсе и не Тигановы, знаешь?

— А кто же мы? — задохнулся Егор.

— Дед Петрака, умирая, ничего тебе не передал?

— Ничего.

— Нельзя было. “Шкелет” в шкафу, семейная тайна... Настоящая фамилия наша с тобой Ре-ше-товские, понял? И дед Петрака мне не отец, мой отец был его двоюродный брат Константин Решеговский. Его расстреляли в тридцать седьмом по доносу какой-то сволочи... Но мы, сынок, можем гордиться им. Это был большой человек! Ученый, хороший семьянин, в общем — пламенный человек! И мы жили не здесь, а в Воронеже. Отец приезжал сюда по делам ЦЧО — Центрально-черноземной области, была такая. Выступал перед людьми, читал лекции, и его звали “лектором”... И у нас с тобой, сынок, была бы совсем-совсем не такая бы жизнь... Так и сгинул наш с тобой Решетовский, неизвестно где похоронен.

— Искать надо, батя, — колотило всего Егора, — надо искать! Свою фамилию брать.

— Не торопись, сынок, — в глазах Трофима стояли слезы. — Сколько их кругом — этих “мамонтов”. Сколько тех, что ставили к стенке и “пачкали”... Ведь живы еще, не вымерли! Мало ли горя, которое пережито... такими, как мы.

— Будем искать! — угнулся упрямо Егор. — Знать надо наши святые могилы.

На заседании правления Бодраков снял вопрос главного агронома об обращении с землей и поставил свой — о семенном материале. Зима на исходе, вот-вот посевная, а посадочного картофеля опять не хватает. Каждый год не хватает, каждый год губят свои семена, ездят потом побираться. И даже то, что по этому поводу всерьез привлекался агроном, тут никому не стало уроком. И вот опять же, не заглядывая по привычке в бурты, на правлении предлагают съездить одни — к соседям, брянцам, другие — в Поволжье, где были в прошлом году. Правда, кто-то намекнул, не мешало бы пошуровать и в своих буртах, и у себя на сей раз что-нибудь наскребем. Посмотрели — чуда, естественно, не произошло.

Семенным картофелем осенью занимался теперь уже сам Бодраков. Это под его руководством шефы — девчата с трикотажки — закладывали в бурты картошку с лучшего поля. А вот жгуты соломенные — отдушины — поставили, как сумели. Засыпали семена потолще, чтобы морозом не прохватило, но семенной материал опять задохнулся, это факт. И хотя Тиганов Егор был закреплен за сахарной свеклой да еще отбывал какое-то время в СИЗО — следственном изоляторе, он — по поведению Бодракова — понял, что

тот опять собирается шить ему “дуру”. И теперь куда серьезнее. Не для того, гори оно синим огнем, председатель раздувает кадило, чтобы опять же можно было отделаться легким испугом. “Тюрягой” пахнет. Никуда не денешься: хроническая халатность главного специалиста, потери урожая, а это ни много, ни мало — сорок пять тысяч рублей.

И опять Бодраков возбудил дело в прокуратуре, и Тиганова Егора Трофимовича, главного агронома колхоза “Светлая жизнь”, по свежим фактам снова стали таскать в Алатырь. Сочувствуя, следователь разъяснял Егору по-человечески, как тому, откровенно говоря, крупно не повезло: недавно вышел новый указ об укреплении сохранности социалистической собственности, а с этим, говоря откровенно, не шутят.

На Алешне-речке вода уже пошла поверх льда, и у Тиганова Егора проявились все признаки весеннего авитаминоза — брюки стали спадать, хоть в руках носи, по щеке прорубило грубую складку.

— Ничего-ничего, Трофимыч, — заметил Бодраков, как Егор сдувает с расчески выпадающие волосы, — мужчиной становишься. Я в твои годы уже почти лысым был. Ишь, какие содал ты, гори оно, колхозу родному трудности.

— Как будто вы не при чем, Финаген Алексаныч, — возразил Егор.

— Ты ведешь отрасль, — холодно улыбался Бодраков. — Ты обязан был подсказать, нацелить председателя. Разве на все председателя хватит?

Егор привез из Алатыря Стешке набор духов и одеколона “Кармен”. С крышки коробки смотрела она, Стешка, с алой розой в черных, воронова крыла волосах. И Стешка ушла окончательно из дому, из Оболешево и переселилась сюда, в Житень, к тетке своей Берегии, к Егору.

Они жили сейчас, как перед пропастью, на последнем дыхании. Стешка этого не замечала и замечать не хотела. Слабо скрывая счастье, она ходила с влажными глазами, кося одним глазом, что придавало ей ту особенность, от которой кружилась голова у Егора, его просто сводило с ума. От внутреннего возбуждения у Стешки взялись кольцами волосы, переметаясь, они падали ей по плечам. Она улыбалась, как могла улыбаться только ему одному.

А в Ярище появились цыгане. Весна на носу, сев на носу, что должен делать хозяин? Ремонтить инвентарь, верно? А кому — некому, тоже верно? Как конфетку, тебе сделаем твои плуги-бороны, сеялки-веялки. Видишь, руки мои — я кузнец. Цыган тебя не подведет, цыган дает слово цыганское: бороны будут как бороны, сеялки будут как сеялки, куем коней —

куем деньги, а как же, материальная заинтересованность, давай заключай договор, председатель.

И Бодраков договор заключил. Три дня цыгане перевинчивали зубья с одной бороны на другую, по ржавому красили аспидно-деготной краской. На четвертый день предъявили правлению счет на три тысячи рублей. Бодраков схватился за голову: ах, разбойники! И тут, как с неба, свалился на его голову табор цыганский.

— Деньги давай! — кричали женщины. — Квартиры давай! Где жить, у нас дети. Поживи в кибитке, сам вон в каком доме живешь, председатель, буржуй!

— Что делать, товарищи? — звонил Бодраков в Алатырскую милицию. — У меня стихийное бедствие, цыгане нагрянули, помогите!

— Назвался груздем — полезай в камеру, — смеялся в трубку начальник райотдела. — Эти цыгане уж два соседних района нагрели.

Приехала милиция из Алатыря, окружила цыган. “Не подходи! — кричала худенькая молодая цыганка, схватила ребенка за ножку, закрутила им над головой. — Не подходи!” Поставила наземь ребенка, шлепнула пониже спины, тот побежал, как ни в чем не бывало.

Даже милиция растерялась: циркачи, что ли, дети у них, как резиновые. Вызвали пожарную. Водяной струей оттесняли, отжимали табор к машинам. На машины всех и — в соседнюю область: гуляйте, ребята, заключайте там свои договоры.

За делами совсем бы вышибло из Егоровой памяти его цыганское нашествие на Ярище, если бы не такой случай. Идут они со Стешкой вдвоем через Абрикосову пасеку, а навстречу — кибитка. А в кибитке — цыгане. Трое. Те самые, что кузнецы.

— А, Егор! — закричали они, замахали руками. — Агронном. — И увидели Стешку, изумились, прыгнули даже с кибитки: — Наша, таборная!.. Где взял, у кого украл? Идем в табор, дорогая, красавица! Зачем живешь, с ними мучаешься? К нам иди, у нас — воля, свобода у нас, будешь с нами, как птица... Скоро приедем за тобой, возьмем с собой, будем гулять.

И приехали. И взыграла в Стешке дикая, может быть, и цыганская кровь. Вместе с Егором они оказались вечером, никогда не подумалось бы с кем — вместе с цыганами, никогда не подумалось где — на “колыме”. На берегу речки Алешни, куда уже выгнали пасти телят оболешевцы и где был, как всегда, под солому шалаш.

Тут у шалаша и гуляли. Пели песни цыганские, плясать бросились. Не выдержала, вышла к костру и Стешка, повела, задрожала плечом. “Откуда это у нее, кто учил?” — смотрел и глазам своим не верил Егор.

— Кто твой муж? — кричали цыгане. — Этот, да? — и показывали на Петра.

А Стешка уже вызывала Егора к костру.

— Иэх-ха, была не была! — очертя голову, бросился Егор через пламя.

— Этот! Этот твой, — закричали, забили в ладони цыгане. — Агроном Егор, знаем, знаем, наш, живой человек!

А еще через неделю Егора вызвали в Алатырь в нарсуд. Да там и оставили: два года на стройках народного хозяйства.

— За что же так? — едва успел он сказать в конце всего Бодракову, глаза Егора полны были слез.

— Трофимыч, — развел Бодраков руками, — не хотел я тебя сажать, на крючке хотел подержать. Думал, штрафом отделаешься, штраф заплатим...

— Проходите, проходите, не положено, — уже подталкивал Егора в спину милиционер.

Это было потрясением для Ярища: Бодраков добился своего, посадил-таки Егора Тиганова. Всегда картошку гноили в колхозе, и ничего, а тут Егору одному за всех отдуваться. Весь род Тигановский засадил бы, паразит такой, за решетку, ополчился как на Тигановых!

Пока Егора не отправили, к нему на свиданье добивалась Стешка. Ее не пускали, не хотели пустить. “Да ты кто такая? — отбивались от нее в райотделе. — Жена? Жена у Тиганова в Орле. Сообщали — не реагирует, значит, того заслужил”. Когда Егора показали Стешке, она как увидела его всего синего, лицо в синяках и потеках, так и ахнула:

— Что они с тобой сделали, били?!

— Он сам головой бился о стенку, — стояли хмурые милиционеры.

Той же ночью Егора едва спасли: оборвал рукава с рубахи и сделал себе петлю. Его продержали в камере два дня без рубахи, на третий — выдали брезентовую робу: у этой рукава крепкие, не оборвешь.

V.

Колония была временной, простого режима. Прямо в поле, квадратом стояли вагончики, без собак — почти без охраны, только спецкомендатура. Здесь обретались бывшие хозяйственники — народ деловитый, спокойный, даже покладистый. Из села, из торговли, строители. “Хлеборобы” работали тут же, на возведении элеватора, “карьеристов” возили километров за пять, на карьер. Егор был “карьеристом”, его возили, он добывал известняк.

Все для всех одинаково в лагере: спальни — вагончики, столовая — вагончик, даже клуб в вагончике, даже в вагончике библиотека. А одежда тем более: спецовки из серого “хэбэ”, синие щеголеватые фуражечки с козырьком. Даже сроки у всех почти одинаковы, малые сроки. И что разным было у каждого, так это прошлое, которое предстояло забыть, и чем быстрее, тем лучше.

В первый же день, на перекличке, Егору встретился Тиганов Борис, он тоже был из “карьеристов”. Здесь, в Здоровецкой колонии, содержали, видно, не так уж и строго. Борис тут же сообщил Егору, что в выходные иной раз бывают “дни открытых дверей”, когда спальные вагончики наполовину пустеют. Добряки из охраны кое-кого отпускают, у кого жена поблизости, домой за харчишками. Под эту марку те, кому доверяют, сами уходят и возвращаются сами, но, конечно, не с пустыми руками. Однако с минувшей осени, когда колонисты стали злоупотреблять, проверяя излишне ретиво по ближним деревням огороды и погреба, режим в колонии сделался строже.

И Тиганов Егор начинал привыкать к своему положению. Как у всех, на плечах — серая роба, на ногах — тяжеленные бахилы, прямо-таки водолазные, опускайся, братец, на самое дно. Из-под синей щеголеватой фуражечки, на почве перевоспитания, по идее пора бы уже пробиваться смиренным, оступенным мыслям, однако все внутри у Егора продолжало кипеть, клочкотать, возмущаться. Конечно, он не ангел с крылышками, но и вины не настолько, чтобы зашвырнуть его в эти места. Ну штраф бы, ну наказали бы в административном порядке... Обо всем этом Егор изложил в письме Лихопекову с нижайшей просьбой похлопотать, а письмо решил переслать через одного “хлебороба” Колю Дрынкина, тот имел жену где-то поблизости и исчезал кое-когда в “день открытых дверей”. В конце концов Егор рассчитывал опять-таки на Синякина, эту палочку-выручалочку... “Они меня зататарили сюда, они меня пусть и вытаскивают”...

После первых дней, высосавших из его нервной системы половину энергии, Егор впал в длительный, прямо-таки летаргический транс. Сон и явь, Зло и Добро — все перепуталось, где он — тут или дома, на земле или в небесах, ему уже все равно. И только в карьере, ссаднив палец кайлом, или ночью в спальном вагончике, слыша рядом мученические, изуверские храпы, Егор осознавал, что сам он не спит, это спит в нем все, кроме тела, которое, выполняя норму, сгибается и разгибается, разгибается и сгибается, делая работу автоматически, без привлечения сознания. От тюрьмы и сумы, говорят, не уйти. Здесь, в колонии, он кое-что понял и, может быть, самое главное, что существует два мира: в этом — радио, книги, законы, правительство,

армия, все мы, а в том — свои слова, свои песни, свои привычки, понятия, короли, свои пределы. А где-то между двух миров — милиция, прокуратура, суды. И стоит только переступить грань, как ты уже в том, другом мире, где чем больше запретов, тем больше возможности переступить, а значит, и укрепить тот мир, сделать его могущественнее, легко попасть туда, куда труднее вернуться...

Было о чем подумать Егору. Судьба человеческая, зачем ты такая, которая будешь? А все у него теперь будет, как в зеркале: правая рука слева, а с левой стороны — ничего, не стукнет уже, не стучит, стучать нечему...

В вагончике-библиотеке попались стихи Есенина. Что за чудо такое — Есенин! Неразгаданное, разгадать невозможно. Какие человеческие, русские струны он задевает в тебе? И все сгрудились, навалились на Егора в тело, затылок. Запах пота, махорки, у кого-то свист в горле.

“Не жалею, не зову, не плачу”... Вот же! Здесь же подшивка “Орловской правды”. Егор полистал ее, нашел ту статью — об Орловском расстреле. И поклялся, дай только выйдет отсюда, обязательно, всенепременнейше разберется с тем Решетовским, который может быть ему дедом родным, а отцу его тоже отцом. Дети должны знать отцов, а народ — своих мучеников...

С утра, перед посадкой в машины, Егор подошел с письмом к Дрынкину. “Потом, — отмахнулся Коля, заметив приближение одного из охранников. И сунул Егору большущее желтобокое яблоко. — Из своего сада, — похвалился Дрынкин. — Это тебе за Есенина”. Егор поделился с Борисом не только яблоком, и они стали держать Дрынкина в зоне повышенного внимания. Коля был небольшого росточка, остренький в плечах, молодой еще, но уже с залысинами. Он всегда что-нибудь для кого-нибудь делал и в конце концов сам оказывался в прогаре. Да и не мог каждый день выполнять норму этого небольшого росточка, несильный физически человек. И тогда Егор с Борисом становились рядом и добивали кайлом его норму.

И вот как-то вечерком Дрынкин радостно задышал Егору Тиганову на ухо: “Завтра я... тью-тью... домой. Чего надо?” — “Допрыгаешься”, — проходя мимо, хмуровато сказал кто-то из “карьеристов”. — “Крышу надо докрыть, потекла, — живо ответил Коля и повернулся к Егору, вырвалось из него искренне: — Шифер от одного барыги остался, а нанять у жены грошей нет”. В тот же день Егор занял у Бориса тридцатку /деньжонки у Бориса водились/ и отдал Коле.

А в понедельник половина Колиного вагончика перепилась. И Егора вызвали в спецкомендатуру.

— Ты, стихотворец, давал деньги Дрынкину на самогон?! —

строго спросил Егора начальник — капитан Галахов, полноватый на вид, размеренный человек.

— Да ладно тебе, Матвеич, — выходил кто-то из-за его спины, ближе к столу, к электрической лампе.

Этим третьим в комнате оказался Величкин Семен Семенович — начальник Алатырской передвижной мехколонны, для которой здоровецкие колонисты кололи камень, мехколонна имела с ними трудовые и финансовые отношения.

— Ладно, — повторил Величкин. — Ну, в чем тут, скажи, разбираться? Сам же говорил, человек дал денег на крышу, помочь жене, а тот, негодяй, злоупотребил. Непредсказуемые последствия...

— Предвидеть надо, — все еще сохранял серьезность милицкий начальник, перебирая в руках связку ключей. — Если бы шевелили хоть немножко мозгами, к нам бы сюда не попадали.

— Э-э, Матвеич, — рассмеялся начальник колонны, — знал бы, где упасть, подстелил бы соломки. Сегодня я тут у тебя производитель работ — прораб, а завтра и сам кайлом махать буду. Может быть такой вариант, а, агроном?

— Какой я вам агроном? — отвернулся Егор.

— Агроном! Может, даже хороший.

— Хорошие сюда не попадают, — не выходил из роли милицкий начальник. И махнул рукой: — Э, ладно, Семеныч, раз приехал — ставь самовар, будем чаевничать. — И поднялся из-за стола, загремел сервизом в шкафу.

Величкин усадил рядом с собой Егора.

— Знаешь, если подумать, чем мы с тобой занимаемся? — после первой чашки чая повернулся начальник колонны к начальнику колонии. — Нехорошей деятельностью, нехорошие мы с тобой люди.

И сидел невозмутимо, перебирая ключи, словно четки, видно, привык к таким беседам.

— Вот что, Матвеич, мы делаем: перековываем орала на мечи, ты меня понял? Ах, не понял... Сколько тут бывших сельчан, особенно механизаторов. И кого мы из них готовим? Жителей города. Не колония, а курсы переподготовки. Вот агроном скажет, нужны селу механизаторы или не нужны?

Еще как. А от нас уже редко кто на село возвращается.

— Выходит, мы с тобой хорошие люди, — поигрывал милицкий начальник связкой ключей. — В нашем учреждении как: питание трехразовое отдай, спят люди нормально, на протынях. А ты спроси инюгу из бывших механизаторов, когда он спал дома на протынях? Свалится на ночь в промасленной робе где-нибудь на рядне...

— Культурку прививаешь, Матвеич, молодец! — подмиг-

нул Егору начальник передвижной мехколонны. — А кадры от села отрываешь.

— Это ты перековываешь, Величкин, — улыбался капитан. — Ты рабочим профессиям их обучаешь, делаешь слесарями, малярами, штукатурами. Оставляешь в Алатыре, на село их уже не затянешь.

Егор смотрел в окно: темнело быстро, на библиотечном вагончике напротив все еще можно было прочесть четко видимый лозунг “Честь и слава по труду”.

— Значит, если я хорошо потружусь, — вздохнул Тиганов Егор, — мне тут будут и честь, и слава?

— А, — заглянул в окно следом за ним капитан Галахов. — Говорил ведь, чтобы сняли.

— Скорее меня снимут, — подставлял к самовару уже третью чашку Величкин, — да сюда к тебе. Я тогда другой, какой надо, повешу.

— Нет, братец, это у нас чуть что — служебное несоответствие, — наливал и себе третью чашку милицейский начальник. — У нас контора построже. А что, возьмешь тогда прапором к себе?

— Вот сюда обратно же тебя и поставлю...

Егор слушал их и не слушал: далеко — близко, звук в этом мире, а сам голос — в ином. Старые приятели, давненько, небось, собираются вместе за самоварчиком. И Коршунов скорее всего прошел через эту школу — на стройках народного хозяйства. “А Решетовский, интересно?”..

За окном уже смеркалось. Степь, на сколько хватало взгляда, уходила волнами до самого Здоровца. Бесконечная, по-зимнему белая, холодная степь. А на ветру качались жидкие былки. Где-то там за Алатырем Стешка...

Тиганову Борису прислали из дому посылку. Во вложенном в нее письме сообщались деревенские новости, в том числе и та, которую он тут же не преминул сообщить Егору: Стешка вернулась к себе в Оболешево, живет опять со своим “тюремщиком”. У Егора едва ложка из рук не вывернулась: да что же это за жизнь такая, где хоть справедливость?!

Борис сразу заметил, что с Егором творится неладное. Попытался навести разговор на то, на се — бесполезно. Егору хотелось только взглянуть на нее, посмотреть ей, суке, в глаза, больше ничего и не надо было Егору...

У него созрел план, к воскресенью план этот окончательно вызрел. Мучительно долго не приходил выходной. И вот, едва дождавшись темноты, Егор вышел в тайный проход между вагончиком-библиотекой и спальным вагончиком. Перед ним простиралась степь.

В ноздри ударило кратким морозцем, даже мурашки по телу брызнули, облило его звонкое тело. Тьма тьмущая. Ни огонька, ни души на многие километры. Широка степь, да стежки в ней узки. Как волка, гнали Егора вперед бешеные инстинкты. Ощущение свободы сделало шаг его точным, упругим. В чернильно-аспидной мгле он ни на что не наткнулся да и не мог наткнуться сейчас, так все в нем было обострено.

Облизывая сухие губы, он шел и шел, угибаясь, от темных пятен шарахался в сторону — человек! Однако каждый раз это оказывались или брошенная в поле сеялка, или одинокий подсолнух. Попался однажды чертополох, а то, может, шиповник. Это Егор понял, по тому, как впились в ладонь тысячи острых осколков: дьявол, выбухал на его шею!

Фары полоснули из-за бугра, протянулись невесть куда по степи. Егор метнулся в скирд: намнут бока, кости переломают, за все в жизни, братцы, надо платить. Солома сразу набилась в голову, спуталась в волосах. Форменная фуражечка осталась где-то там, в “общегитии”. Егор скинул с себя серый ватник, перевернул наизнанку...

Товарняк доставил Егора к Алатырю под утро. Дальше дорога своя, он мог одолеть ее и с завязанными глазами. До того все в нем было, как у зверя, которого травят. Весь день Егор просидел в скирде. Уже на закате он появился в Обошешеве, на дворе у Стешки. Прислонился к раките, втиснулся в боковину, в ее подгнивший, полуразинутый зев. Карман отягощал кусок стальной арматуры, подобранный в пути отбиваться, если что, от собак. В такт сердцу постанывала ракита. Если бы знать людям, что каждый поступок — это та цепь событий, та горькая чаша, из которой, возможно, придется хлебать всю оставшуюся жизнь. Егор весь вытянулся, отделился от ракиты: это мать Стешкина, а то, наверное, Петр. На всякий случай Егор коснулся куска арматуры.

— Кто это возле ракиты? — сказала мать Стешке. — Уже с пол часа стоит, окологлазит.

Стешка живо накинула на плечи полушалок, звякнула дверной щеколдой.

— Ой! — бросилась она с крыльца прямо к Егору.

Егор отступил на шаг и, не зная, что делает, занес стальной кусок над ее головой.

— Бей, бей! — раскрыла руки Егору Стешка.

И засмеялась. И глаза ее чуть косили, были влажны, дрожали под электрическим светом, как раз дома включили фонарь на столбе, чтобы разглядеть человека.

— Бей! — подняла вверх к нему Стешка смеющееся, все в слезах дорогое лицо.

На порог вышел Петр.

— У-у-уфф! — крутанул головой, топнул Егор, так что качнулась ракета.

Он швырнул в крапиву этот кусок арматуры и, стряхнув с плеча Стешку, шагнул обратно в черную ночь.

Не помнил Егор, как добрался назад до своего “общежития”. Конвой тут же отвел его к начальнику — капитану Галахову.

— Так-то доверием моим пользуетесь? — расхаживал по кабинету начальник. — Да-а, в самом деле, — вздохнул уже по-житейски Галахов, — скоро буду у вас тут прорабом.

Егор смолчал.

— Ладно, замнем для ясности, — остановился Галахов перед Тигановым и сунул бумагу в лицо, неожиданно рассмеялся: — Вот, видал, сверху пришла на тебя, пляши! Освобождаешься, брат ты мой, подчистую... А у меня уж и мечта появилась насчет парников, ты бы огурцы нам выращивал к зимнему столу... В общем, Егор Трофимыч, так: разобрались, нет у тебя состава преступления, решено подвергнуть штрафу, а штраф разделить пополам с ... как его... Бодраковым...

“Сработало письмоце” — мелькнуло в сознании Егора, и его потащило куда-то в сторону, понесло, закрутило.

Очнулся Егор в кресле начальника. Зубы звякали о стакан, вода лилась по груди, а в глаза смотрел этот капитан и уже подсовывал ему, Егору, бумаги:

— Распишись-ка вот тут и вот тут. А теперь езжай до дому, до хаты. Да, гляди, заяц, больше не попадайся.

“Дурной летаргический сон”, — смотрел Егор за окно, за полупустые вагончики.

VI

Весть об освобождении Тиганова Егора облетела Ярище. Бодракова это, однако, обеспокоило. Надо было что-то предпринимать. Свои люди в Алатыре навели Бодракова на мысль съездить в Москву, к знатному земляку — маршалу рода войск. Это, в конце концов, успокоило Бодракова, создало ему хотя бы иллюзию стабильности.

Кроме Броньки, Бодраков взял с собой еще и своего заместителя — Лихопекова. Все втроем и отправились к Пересухину. Маршал, правда, вышел недавно в отставку, однако как человек влиятельный мог еще оказать содействие. Бодраков не договаривал, и Лихопеков только догадывался: это надо не столько колхозу, сколько району. В Алатыре достраивали райзел связи — здание величественное, трехэтажное, и оно, естественно, нуждалось в “начинке”. Районное руководство ожидало

поддержки в обеспечении узла не каким-нибудь барахлом, а современным техническим оборудованием, списанным из частей. Известно, без связи никуда не только армия, но и широкая мирная жизнь.

Родом Пересухин был из-под Ярища. Пересухинская семья снялась и уехала на Донбасс еще в годы коллективизации, с той поры военный деятель ни разу не появлялся на своей “малой” родине, даже фамилию изменил маленько по какой-то необходимости. Через старожилов Бодраков раскопал исторический факт рождения земляка в одном из поселков ярищенского ожерелья. И хотя поселок этот исчез, Бодраков вез, однако, специально отгиснутый в районной типографии адрес, а в нем скромный рассказ о делах колхоза, добрейшие воспоминания стариков о семье Пересуховых-Абрикосовых и, что самое главное, фотодокументы тех умильных мест, где проходило бо-соное детство будущего деятеля: урочище Волчий Шлях, речка Алешня, Абрикосова пасека. Фото всего того, что маршал должен был взять себе на свое боевое, но подношенное, приослабшее человечески сердце...

Руль бронированной Бодраковской машиненки был доверен Броньке. Летягин-пройда раскатывал по городам, кому-кому, а ему должны быть известны все столичные въезды и выезды.

Ярищенский “козел” колтыхался по Киевскому шоссе. Позади, словно козьи стада, оставались пастись на лужайках белые многоэтажные здания — современные широкоформатные микрорайоны с современным техническим оборудованием. Где-то в этих местах Подмосковья и находилась та самая дача, где изнывал в тоске по своей “малой” родине отставник-маршал.

Вопреки ожиданиям, поселок обнаружили быстро. Бодраков твердо сказал Лихопекову:

— Побудь-ка в машине, покарауль. А мы с Бронькой. Думаю, не задержимся.

Лихопеков сидел в машине и представлял, как они там у маршала рода войск пьют, конечно, кофе и закусывают галетами. А что же еще пьют, чем закусывают те, кому предстоит жить в вечной памяти?..

Асфальт прорезал бор, за заборами и громадились дачи. Бревенчатые, из корабельного леса, с пристройками и надстройками — латифундии, дредноуты, терема с лубка, из того еще, приборяского прошлого, это, конечно, для “слуг народа”. За огорожей — по гектару леса, по “чайному” домику, а это, конечно, просто слуги, обслуживание.

— А эта дача, — кивнул Лихопеков прохожему на строение, куда вошли Бодраков с Бронькой, — случайно не маршала связи?

— Случайно не маршала, — остановился прохожий и мельком, для удостоверения личности, взглянул не на ворота, а на самого Лихопекова. — Это дача академика философии. Но он давно умер и дачей пользуется его вдова. А эти дачи туда, по улице, строили сразу после войны. Солдаты-победители — победителям-полководцам... Из маршальских была только дача Буденного. Когда Семен Михайлович был жив еще, авиалайнеры тут над головой не летали, нет, они имели другой коридор...

Прохожий все говорил что-то, упиваясь историей, а Лихопекова как прострелило: “Не тут ли задержался со своим топориком дед Егоров — солдат Тиганов Петрака! А бабы ждали с войны мужиков, и дома с голода пухли детишки”...

Бодраков с Бронькой явились, как с неба свалились. Бодраков сидел важно, нахохлясь. Бронька, броня крепка, все в картинках расписывал: маршал обещал заглянуть вскоре на “малую” родину, конкретно к каждому в гости, конкретно к каждому в дом.

— Между прочим, — заметил им Лихопеков, — дачи те рубили солдаты, наш человек — дед Егора Тиганова.

— Н-да, ты так считаешь? — с ленцой этак сказал Бодраков, однако весь подобрался. — Откуда ты знаешь?..

“А ящики с антоновкой остались в багажнике”, — усмехнулся Лихопеков и предложил уже вслух:

— Заедем, что ли, к Шурке-москвке, оставим хоть яблоки?

Яблоки Бодраков отвезти разрешил, ехать же отказался: “Суббота завтра? Отчаливаем. Жду в двенадцать у Курского, там, где такси. Ну пока”.

— Пока, — перекинулся Летягин.

Рабочее время еще не окончилось, Шурку пришлось ожидать во дворе. Дом Шуркин был кирпичный, еще дореволюционной постройки. Величественный, горделивый куб, но, кажется, без современного технического оборудования. Шурка уехала в Москву еще молодой, по окончании войны, тут почти и состарилась, получив в этом доме за свой долгий, доблестный труд от предприятия комнату. Шуркину комнату знала, считай, вся Москва, все Ярище, сельчане дневали и ночевали у Шурки, наезжая в Москву.

— За пивком сгонять? — уже подсаживался к ним за стол под грибок мужчина в домашних тапочках и полосатой пижаме.

“Бывший интеллигентный человек”, — определил Лихопеков.

— Ты москвич? — покосилась “пижама” на Броньку, доставая из карманов недр домино.

— На пиво, броня крепка, не играю, — уклонился Бронька.

— Не москвич, — заключила “пижама”, беря в союзники теперь уже Лихопекова.

Это было для таких, как он, вроде кода, после чего мысль у союзников обычно принимала совместное, более ироническое направление по отношению к лицу запредельной территории, что тут же находило отражение в выражении их собственного лица.

— Ну и как вы тут, москвичи, живете? — спросил Бронька, уловив его мину. — Колбаса тут у вас и метро, зарплаты высокие...

— Живем, — сказала “пижама” уклончиво, как бы сделав прогноз на будущее, как будто подозревая, что только метро — дело вечное, а колбаса и зарплаты — временное. — И кошка с собакой живут, да по-разному.

— А кто ж тебе мешает ходить в ондатровой шапке?

— Чего ты о Москве-то знаешь, деревня! — психанул хозяин двора. — Побегаетшь по центру, наделаешь очередей, нахватаешь всякого барахла и домой, в свою Кинешму. А я здесь живу — гримаса цивилизации.

— Не умничай, — осадил его Бронька. — Живи по карману и будешь доволен.

— Москва — город многоэтажный, — не сдавался хозяин двора. — Скольких вас таких сюда из провинции перекачало. У, лимита ушастая! На уши станете, детей нарожаете, а через два-три года уже в квартирке...

— Сам-то ты коренной? — вышел из “козла” и присоединился к ним сюда Лихопеков.

— Москвич! — покосился на Броньку Шуркин сосед. — Но во втором поколении... Ну так что — забьем “козла”, братцы?

— Не-а, мне б на тракторе попахаться, — ухмыльнулся Бронька и прошел мимо на нужный этаж.

Шурка не знала, где земляков и усадить. Заметалась по комнате, побежала на кухню, загремела тарелками, захлопала холодильником. “Вот радость-то! — повторяла она. — Гостечки мои дорогие”. Покормила их на скорую руку, полетела к телефону-автомату собирать все землячество, ярищенцев, какие жили в Москве и знавались с Шуркой.

Через час-другой к Шурке стал съезжаться народ, и Шуркина комната на глазах делалась тесной.

В центре стола пыхтел ведерный, с медалями, самовар, привезенный Шуркой сюда из деревни еще в эру Шуркиной молодости. Самовар этот вспоил не одно поколение ярищенцев тут, в Москве. Все и шли-то к Шурке сюда больше на самовар, за уши, бывало, от него не оттянешь. Ничего другого у Шурки не пили, ничего другого и не приносили с собою, особо после того, как умер от этого дела Шуркин муж, Шурка на это дело совсем стала “вегетарьянкой”.

Загремели чашки о блюдце, заговорила посуда, в круг людской запросилась душа.

— Ну и как там у нас, что на “малой” родине новенького?

— Трудно живем, трудно, — парировал Бронька. — А вы подперли бы, подмогли, эмигранты.

— Наш дом теперь тут, — выразила общее мнение Шурка, стоя за спиной у всех, на подхвате. — Сколько Москве силушки отдано! Разве такой была Москва сразу после войны, всем миром ее воздымали...

— Это верно, что Бодраков, негодяй, за род наш Тигановский взялся? — раздались голоса. — Всех Тигановых решил пересажать. Вот Егор, агроном, Трофимов сын, ну что сделал ему плохого?

— Освобождают Егора, — отвечал Лихопек. — Небось, уже дома.

Ярищенские москвичи крайне притихли, пережевывая пищу для размышления.

— Во рюмочке во серебряной
Крутой бережок, —

сворачивая с нехорошей темы, завела старинную величальную Шурка.

— У кого ж у нас,
У кого ж у нас
Золотой разумочек? —

подхватили все разом.

А дальше уже не выдержал даже Бронька, взвился тенорком, Лихопек и тот забасил:

— Ой, роза, ты; роза моя,
Ой ты, роза белорозовая.

— Ох, ох, ох! — вскинула Шурка руки над головой.

Тут же нашлась балалайка, на такой случай у Шурки была и балалайка. Вдрогнул и закачался пол Шуркин. зашатался весь Шуркин дом, господи, кабы не завалили со всеми его пережитками — внешней его последореволюционностью и внутренним техническим несовершенством.

Лихопек сидел рядом с Бронькой и видел, как переполненное электричеством ходуном ходит молодое, здоровое Бронькино тело.

— К земляку приезжали, к маршалу! — вопил Бронька, захваченный общим восторгом. — Вот какие, броня крепка, выходцы здесь, на Москве.

— Какие выходы! — ахали земляки. — Самая вышка.

— Шурка! — тянулась к хозяйке с другого края стола ее сверстница. — Ты племянницу мою, Таньку, Берегинину внучку, знаешь? Возьми к себе, пропиши. Чтобы, в случае чего, комнате не пропадать же. Танька тебе старость скрасит, будет за дочку...

— Пригоняй свои “Жигули”, — это Тиганов Михаил — брат Трофимов, Егоров дядя, автомеханик. — Поглядим и поставим на ноги, машиненка будет, как новенькая...

Лихопеков слушал все это: смятение голосов, забот людских, интересов всяких — долговременных и сиюминутных — и представлял стержнем, вокруг которого все это вертится, этакий дуб развесистый, вроде тургеневского, или того, что у них там, на Абрикосовой пасеке. Свое Ярище тут у них, на Москве, своя маленькая республика, “малой” родиной как интересуются, каждого земляка в лицо знают. А Москва-то, Москва за окном — велика матушка: площади, бульвары, магазины, базары, заводы, миллионы людей... И тут в окне вспыхнуло, засветилось, заиграло всеми цветами радуги.

— Салют! — вскрикнула Шурка. — Праздник сегодня какой-то, у нас бахать любят.

И все повалили на балкон. Вежливо пропускали впереди себя Броньку и Лихопекова. Как были, так и стояли без шапок. А где-то в центре, над горизонтом, небо Москвы рвали сполохи и оседал на волосы легкой, подсвеченный дальним салютом снежок. Лихопеков стоял у самого края балкона: это, конечно, Москва — наша столица, российская, никому ее не отдадим.

На Курский вокзал провожать их приехали все. Отыскали Бронькин “козел”, совали свертки — передай брату, матери, сестре.

— Да куда же я дену все это? — отмахивался весело Бронька. — Давайте прямо отсюда на вокзал и в контейнер.

Все втроем сели в машину — Бронька, Лихопеков и Бодраков. А им все кричали женщины, молодежь, ребяташки, все махали вслед, пока юркий ярищенский “броневичок” — явная, материальная часть их “малой” родины — не вклинился в общий поток, чтобы тут же исчезнуть на Садовом кольце.

И опять Тиганов Егор возвращался из “мест не столь отдаленных”, но теперь уже, надо полагать, окончательно. До триангуляционной вышки, самой высшей точки в округе, он добрался на попутной. Соответствующая бумага из колонии шевелилась в нагрудном кармане и подтверждала, что он, Тиганов Егор Трофимович, освобожден “за неимением состава преступления”. “Эпизод преступления” есть, а “состава” нет,

интересно. Это значит опять-таки освобожден под чистую...

Егор присел на камень — моренное отложение. Несла в себе льдина, царица-морена, в ледниковый период “яичко”, а здесь отложила. Секут его грозы, печет его солнце, а “яичко” все лежит, как и лежало. Егор притиснулся ухом к нему: едва слышимы, едва уловимы звуки, исходящие из глубины, валун жаловался ему на долгую свою, бесполезную жизнь. Втуне силы в нем, зачем заключены, для чего? “Бодраков, сволочуга, гори оно синим! Сколько можно? Это так тебе теперь не пройдет”...

Там, за речкой Алешней, в чащобе — лесные дворы, Волчий Шлях. В тех лядинах, вокруг поселка, вечно водились гадюки, волки. В последние годы волки смешались с собаками, стали умнее, коварнее. Летом у них появился вожак — поджарый, рыжий такой, как мухомор, люди видели его: белое пятно вдоль морды и вроде с улыбочкой. Крапленый! Минувшей зимой, рассказывали, этот крапленый провел стаю езжей дорогой. И полютовали же они на Ярищенской конюшне! Егор видел воочию, как, закинув за спину жеребенка, с мордой, перепачканной кровью, след в след, уходил в перелесок крапленый, а за ним, тоже след в след, все остальные... Где-то там, в Волчьем Шляхе, и жил этот Коршунов...

По привычке, приобретенной в карьере, Егор быстренько наломал сухой полыни, затравил костерок. Огонек лизнул ладони, тепло напирало, входило вовнутрь. Из нагрудного кармана Егор достал бумагу — ту, из колонии (другой бумаги не оказалось), и огрызком карандаша, которым там фиксировал нормы, нервничая, он, ныне свободный человек, стал набрасывать строки:

“Его забрали у волчицы,
И на коровьем молоке
Он рос, приглядываясь к лицам,
К куску баранины в руке.

Уж не щенок, уж лезет в драку,
Давно просохло молоко.
Не убивать же, как собаку!
В лес и прогнали далеко.

Но отчего же, отчего же
Его волнуют в той игре
Сама деревня, сани, вожжи
И та, с кем был в одном дворе”...

Егор встал и пригасил костерок.

Хорошо Егору было у Берегини, как только может быть хорошо человеку, которому плохо. Заезжал Лихопеков, только что возвратясь из Москвы: оклемался, выходи на работу. И, хотя место главного агронома вроде забито, что-нибудь нарисует. Егор никак на это не реагировал, его еще трясло-потрясывало, как холодильник, который отключили для расколаживания. Стук-постук, в сердце — в голову. В стенку камеры. Серых дятлов в морозилки не запирают, запирают только пингинов...

Ничего не спрашивал Егор у тетки Прасковьи о Стешке, не надо. Ничего до поры не рассказывал и о Коршунове. Все копался по дому.

В сарайчике у тетки Прасковьи чего только не было. И тетке захотелось вдруг похвалиться, какая она хозяйка. Включила Егору электрический свет — рядами на полках до самого потолка светились матово банки со всяким вареньем — земляника, бугровая клубника, вишня, слива, яблоко, груша, черная смородина; грибы маринованные и соленые, маслята и белые, опенки и свинушки. Особо хранилась тушенка — закатанная в банки говядина, куриное мясо, свинина.

— Слюнки потекли! — не выдержал, засмеялся Егор.

— К осени ребятам своим из Москвы припасала, — ворковала Берегиня, — а они не приехали.

На завтрак тетка Прасковья уставляла перед ним стол всякой едой — уйма еды, наверняка в лагере этого хватило бы ему на пару недель. Так кормили его только дома — бабка Галя и мама. Выпростав все это на стол, Берегиня садилась в сторонке и, стараясь не попадаться взгляду, зорко следила за тем, чтобы Егору всего доставало, всем человек был доволен, человека надо было подкормить, чтобы он вкусил радости, оттаял от недавнего прошлого, не затаил обиды.

Егор любил жареную картошку ломтями, чтобы ломти плавали в сале, а помидоры непременно налитые, ядерные, огурцы, чтобы в мелких укропных семечках. Он хвалил-нахвалявал все это добро, однако, поев маленько, тут же клал вилку на стол. И задумывался.

— Ешь, ешь, сынок, — уговаривала его тетка.

— Глаза завидущие, руки загребущие, — опускал он глаза, словно оправдываясь.

Со смутой в душе вслушивался Егор вечерами, как воют за стенкой хлесткие февральские вьюги, поглубже в ночь принимаются плакать волки, и с ними, наверное, и тот, крапленный, с белой полоской вдоль морды. С Волчьего Шляха, где Коршунов. А где-то далеко-далеко, в угрюмой черноте стонет ребенок голо-

сом Стешки... Волнение накаляло Егора до предчувствий, до ударов молота в затылке и пояснице. Егору грезился Бодраков в непривычном светлом щегольском костюме. Егор писал ему прямо по костюму, шариковой ручкой строчки про волка, про того, гори оно синим огнем, с улыбочкой матерого волка, он писал Бодракову стихи чернилами прямо по светлому его пиджаку, по спине, про того самого волка:

“Он ходит к ней, тоской охвачен.
Она пугается, визжит,
И в спину брех ему собачий,
И псиной голову кружит.

А завтра снова к той деревне,
Упрямый волк все за свое.
А из-за изб — не в Риме древнем —
Под сердце целится ружье”.

И только под утро Егору открывалось то, что было выше всех его страхов и даже самого страха смерти — строго и беспристрастно судил он себя, свои поступки. Это отягощало его, огрубляло, делало неспособным воспринимать, миры тонули в его самоизничтожении: он, Егор, никак не может войти в жизнь, не то, что кого-то вести за собой. И он засыпал, измученный, липкий от пота и иступления: “Нет, я землю не брошу, не брошу!”

А тут на днях заходила цыганка, вроде потеряла дорогу. Спросила однако не дорогу — про Стешку. И Берегиня узнала в ней одну из тех, что были осенью тут вместе с табором.

— Давай погадаю, — полоснула цыганка глазами по Егору. Э, милый, — брала она его левую руку, — больно горяч. Погибнешь, дорогой, не от цыгана — от такого блондина, как сам.

“Глупость, мистика, — прогонял Егор ее от себя, как наваждение, а сам думал, кто же это вокруг него из блондинов: Бодраков? Сивый мерин, весь уже поседел. Бронька? Да ну его. Вот кто — Стешкин Петр!..”

Тетка Прасковья заявила вдруг: дровишки кончаются (хотя Егор видел, вон их сколько нарублено, полон сарай), и потащила Егора в лес.

Снега этой зимой вышли глубокие, вязкие, поселок тонул в баснословно обильных снегах. Зайцы жались к жилью, делали петли вокруг садов и огородов. Единственная на поселке лошадь Верба — Слуга Народа, прозванная так за то, что всей округе она пахала и сажала огороды, выбирала картошку, возила дрова и сено, выполняла все тягловые работы, даже Верба и та, отпра-

вась на днях за хлебом в магазин на центральной, завязла по пузо, упала, забилась в оглоблях, ноги едва не вывернула из вертлюгов. Зимой до чего же дико тут, абсолют свободы пространства. Заболей попробуй — надежда только на господа бога да на вертолет, который в области лишь у Старика...

С вечера накрапывал дождь. За ночь снег осел прочно, вытвердилась стеклянная корка. Егор топнул ногой, еще разок — можно идти. Решил прогуляться до поля за “Абрикосом”, что было под сахарной свеклой. Издали углядел, как бугрилась добрая его половина, темные мороженые чубы едва присыпаны снегом. “О поле, поле!.. Чубы у холопьев трещат...”

Берегиня повела его в лес. С детства знает тетка Прасковья здесь каждый сток, каждое деревцо, каждую выбоину от блиндажа или бомбы. Спроси — скажет, когда и где, под каким кустом взяла особо запомнившийся выводок боровичков, где собирать душицу, куда ходить за малиной или земляникой. Колючие руки шиповника, барбариса цепляли за плечи. Под дубами, укрытые снегом, лежали желуди. И всюду кабаньи следы. Прижало голодом, и дикое зверье стало навеваться сюда из-за речки, из охотничье-приписного хозяйства. Ходили прямо по льду. Весь берег исчересполосили: ищут съестное — орехи, желуди.

— Видишь, Егор, кровит следок, — заметила Берегиня. — Порезало ножку, этакое стекло! Плохо зверю в такую зиму, слабнет...

Послышался рокот двигателя — показался бульдозер, чистил на Житень со стороны Ярища жизненноважную дорогу. Из осинника вышла семья кабанов: секач впереди, за ним вся команда. Бульдозер взревел и погнал кабанов по только что проделанной им же дороге. Кабаны проваливались, падали, а бульдозер все прибавлял ходу. Остановив дизель, бульдозерист прыгнул на дорогу, погнался за кабанями.

— Ату, ату! — вопил он, как дикарь, в охотничьем азарте.

Секач отступал последним. И тут произошло неожиданное: секач этот перевернулся одним прыжком и вдруг бросился на бульдозериста. Роли поменялись: теперь кабан гнался, а удирал бульдозерист.

— А-а-а! — завопил он со страху.

Петр бросился с топором. А сбоку, откуда-то от скирдов, уже бежали люди наперерез, отсекая кабана от выводка. Услышав позади себя поросячий визг, кабан оглянулся и начал пятиться.

Егор поднимал бульдозериста за шиворот:

— А, это ты, Замуруев? — это был тот Замуруев, что осенью сносил в Житене дом бригады. — Зря бежал, пусть бы он тебе кишки выпустил.

— Ругай меня да покрепче, Трофимыч! — стоял перед ним Володька навытяжку, нервно смеясь. — Ты от меня смерть отвел, век не забуду.

— Не блондин? — снял шапку с него Егор. — Нет, не блондин.

— Да, Трофимыч, едва не забыл, — сказал Замуруев. — Этот... как его, с Волчьего Шляха, Коршунов, что ли... через людей наказывал, просил тебе передать. Приди, мол, последние дни доживает. Приди, что-то хочет сказать.

Егор отвернулся, молча пошел подальше от всех заснеженным полем.



Волчий Шлях утонул за Каменским лесным массивом, в гнилом овраге. Едва выглядывали макушками голые, позднеапрельские ветлы. Вдоль ветел и прошел Егор Тиганов единственной улочкой к самому “горлу” оврага. Ветер гудел в жидких ветлах. Егору было не по себе.

Станный этот поселок — из каменных, краснокирпичных домишек. И домишки не такие, и говорят здесь (Егор знал) не так — приокивая, обрывая концы: “рукам-ногам” вместо “руками-ногами”. Совершенно другой, завезенный откуда-то еще помещиком люд — дерзкий, воровитый, смуглота смуглотой. Целые табуны пропадали, бывало, в этом овраге...

Егор расшиб себе лоб о притолоку. С кратким матерным словом вместо приветствия ступил он за порог. Шибануло таким спертым духом, чесночным тлением тянуло из глубины. Егор напряг зрение и в сумерках различил гроб посеред комнаты — на возвышении, как на лафете. В гробу лежал человек.

— Прише-е-л? — проскрипело из гроба.

Егор вздрогнул. Кряхтя, живой человек стал выбираться из логова. Это был он, конечно, — попутчик Егора Тиганова по автобусу Игнат Коршунов. Только здесь Егор и заметил, что он никуда рсточком — карлик, крапленый — с молочной полостью по лбу от фуражки.

Босыми ногами по неметенному полу Коршунов перекатился к шкафчику. Достал початую поллитровку, заткнутую грязным драным носком. “Не надо? — улыбнулся волчьей улыбочкой. — Ну и не надо. Твое здоровье, товарищ. Пошла, родимая, ох-хо-хо”...

Они сидели на конике перед гробом, в котором предстояла работа — червям точить его тело, а чертям терзать эту душу. Признаться, для Егора это было жутковато. Коршунова уже слегка развезло, и он потянулся к шкафчику за второй, непочатой бутылкой.

Егор понял: как попа, его пригласили на исповедь. Егор напрямую, нашел в себе силы смотреть этому человеку в лицо. О, господи! Сатана сатаной. Передние зубы выперло, зато провалились глаза, в них — бесовские пляски, путаница чертей. “Торонись его, торонись. Нехороший, страшный такой, черный человек”...

— И я комсомольцем был, — усмехнулся Игнат. — И у меня была своя Дульсиня... Паша, Пашенька, моя любовь, моя единственная, ненаглядная, — сдавленным, фальшивым фальцетом засипел Коршунов нараспев, оборотясь к святому углу, где в крестьянских избах обычно бывают иконы...

— Икону-то пропил, — прервал излиянья Егор.

— Видишь, гроб стоит, скоро умру, — не слышал Егора хозяин, слушая только себя. — Внемли, братец, историю жизни трагического человека Игната Коршунова. Как он любил и как пошел за свою любовь на муки...

— О, мы тогда были молоды! Нам с Пашей было по семнадцать всего. Да, мы были молоды, и нас ожидала жизнь. Банально, но в самом деле я любил ее с первого класса. Сидел за парты позади, чтобы дернуть за косичку... А появился этот лектор из Воронежа. Ему уже было за тридцать, и у него была семья, ребенок. Что ему надо было от моей Паши... Когда меня спросили, он плохой человек? — я ответил: “Да, плохой!” — Можешь подтвердить это письменно? — Да, могу. И меня взяли на работу в органы НКВД. И я лично участвовал в аресте этого... Решетовского. Он приехал в Орел и читал свою лекцию в здании дворянского собрания, что ли. Его сынишка, как щенок, бежал за нами по городу до самой двери... Потом я работал в тюрьме — Орловском центре. Конечно, хм, приходилось расстреливать. Физически несложно. Подошел сзади — пулю в затылок, отобрал кое-какое тряпье. Правда, потом морально, того... Приходишь с работы — выложишь бутылку и мыться. Моешься-моешься, хоть с мылом, хоть с мочалкой, хоть железной щеткой драй, а все кровь на груди, на пальцах, на ногах, на висках... Морально непросто... Хочешь? — потянулся Коршунов к недопитой бутылке.

— Нет, — мотнул головой Егор, сам думал: “Зачем он все мне это рассказывает?.. Сатана, дьявол, ведьмак в обличье человеческого. Ах да, когда ведьма умирает, она должна передать свое дело кому-то, иначе будет храпеть, биться, никогда не умрет”. Егор поднял глаза, стал присматривать доску на потолке. Резко вышел в сени, вернулся с топором. Поставил топор на видном месте, возле двери.

— Чего тебе, га? — обеспокоился Коршунов. — Не нравится, да?.. Но я не виноват, я подчинялся приказам, да... После

Ежова пришел Берия, и меня тоже арестовали. И в первый раз приговорили к расстрелу. Меня же “свои”, а за что?.. Да убери ты топор, убери! Зачем ты принес его? Он же ни на что не годится, даже дрова колоть... Да, а тут в сорок первом война, немцы. Ну и я написал в тюрьме заявление: кровью, мол, смою... Такие мытарства пришлось пройти! А все она стояла передо мной, моя Пашенька. Непременно, думаю, надо вернуться, выжить надо, чтобы встретиться с ней, быть когда-нибудь вместе. Такая любовь, как у меня к ней, не должна сгинуть, она будет в веках. О ней всем в мире должно быть известно... И когда нашу часть растрепали на фронте и мне гибель грозила, я им сдался, не мог же и я погибнуть, как все. И они спросили меня потом, где и кем был до войны, что делать умею. И в команду особую определили, ну а если “никс”, то “капут”. Ну, я и у них делал то же самое дело, а что делать? Какая насмешка жизни: подпольщиков расстреливать в том же Медведевском лесу, что перед тем и “врагов народа”...

Егор подержал топор на весу, переложил из правой руки в левую. Ударил с размаху по потолку по крайней доске, над самым гробом.

— Чего ты? — испугался Коршунов теперь уже всерьез и стал пятиться от Егора — туда, в сторону гроба. — Я же ушел от них в сорок третьем, перебежал к партизанам, — голос Коршунова сделался сиплым, едва слышимым, как гудок у паровоза, в котором кончился пар. — И потом воевал в Красной Армии, с войны вернулся с наградами, даже ранен был в Померании... Перестань бить топором! Да перестань же ты!..

Однако Егор ударил по доске еще раз. Доска оторвалась и повисла концом вниз.

— Послушай, ГФП — “зондеркоманда” ихняя занималась расстрелами в Смоленской, Орловской, Брянской, так? — оперся Егор на топорнице. — В Орле несколько лет тому суд состоялся. Тоже, что ли, ты проходил по этому делу?

— Я — жертва войны!.. Меня взяли прямо из техникума. С собрания, прямо из президиума... И опять же приговорили к расстрелу. Но бог есть...

— Бог?!

— Не бей по потолку! Где я жить буду?

— Ты же помирать собрался.

— ... бог меня защитил. И опять же расстреляли. Отсидел свое и вышел. Жил тихонько, вдаль от родных мест... Паша меня вела по жизни, Паша спасала. Только о ней и думал. Не она бы — не выжил... Брось топор! Брось топор! Брось топор!..

Егор потянул на себя доску, свисающую с потолка, оторвал ее, бросил к ногам Коршунова Игната.

— У, волчуга, ложись в гроб свой и помирай! — всадил Егор в пол коршуновский топор. — Ведьмак, нечистая сила, прости меня трижды, господи! — машинально перекрестился Егор.

Когда выскакивал из сенец, что-то ударило его по лицу. Оказалось, деревянная ручка, косье. Сдернул с перемета — так с косою на дворе и очутился. Так и нес косу на плече, бегом бежал с ней на центральную. Говорят, ружье, даже незаряженное, раз в год стреляет. Коса на плече опьяняла Егора, глаза прямо-таки вылезли из орбит, только попадись кто-нибудь на пути...

Небо снизилось, навалилось. Стало сечь по щекам. И Егор поневоле остановился, чтобы передохнуть. У первого дома амбар вынесен к самой дороге. Это скорее всего Горбатовка, а эта дорога — к реке, на рыбалку. Егор вжался в бревенчатую стену. Сухие молнии ширяли по небу, вокруг него, однако в него самого покамест не попадали. И грома не было отчего-то, первого, весеннего грома.

И тут молния врезалась в кучку и зашипела. И где-то поблизости отфыркнулась лошадь, донеслись приглушенные голоса. “Едут!” — занесла Егорова рука косу над головой. В одно время бричка поравнялась с амбаром — ударила молния, и сам Егор увидел, как в обеих руках его молнией высверкнуло белое лезвие, а те, в бричке, увидели над собой белую молнию, кривую, как турецкая сабля, они увидели эту саблю в чьих-то руках, а Егор увидел, что крайним в бричке с его стороны был не Бодраков — Лихопеков.

— Гэо-эо-эи! — громом ударило из объятых ужасом глоток, и лошадь прынула куда-то в овраг, в черноту.

— Это бес, сатанюка попутал! — стоял, не мог раздышаться Егор. — Коршуновские проделки...

Стоял, как присох к месту, вызывая в себе образ тетки Прасковьи-Берегини, чтобы ее светлый, духотворный, апостольский лик помог ему возвратиться в себя.

Зорко следила Берегиня за тем, что творилось с Егором. Ее беспокоили то резкость, а то, наоборот, его молчаливость. Целыми днями, как воз навивала, рассказывала она ему о себе, своих детях, своей племяннице Шестке — сестриной дочке.

А дети были у тетки Прасковьи свойские, младшие братья и сестры. Погиб на войне отец, ушла следом мать, оставив сироток. Шестерых, мал мала меньше, Паша была седьмой — старшей.

И вот, помнится, на Житень к ним заявился уполномоченный из оргнабора, сказал, детей, каких покрепче, хочет забрать на заводы для восстановления промышленности, а мелюзгу рас-

совать по детдомам. Как бросились ребятишки к Паше, как обвили коленки ей, ухватили за плечи — худые, оборванные, в калошах-шахтерках на босу ногу, зверьки затравленные, как завьли, запричитали: “Паша, Пашенька, не отдавай нас, не отдавай!” — так по сердцу и полоснуло.

— Так есть у них мать или нет? — допытывался уполномоченный.

— Я мать им! — твердо сказала Паша, сама утирая слезы. — Коля, Настенька, Федя, Варя, Уляша, Витек — все мои. Сама как-нибудь подыму, воспитаю.

В передней у тетки Прасковьи заметил Егор висит картина, “В грозу” называется. Девочка, что есть духу, бежит по мостку, мосток под ней шаток, а сзади гроза — вот-вот настигнет. А на спине у девочки (шею ей обхватил) — младший братишка. И девочка показалась Егору живой, уперлась в него глазами, смотрела детским еще, а все равно Берегининым взглядом.

В окно на кухне вроде как постучались, кошечка поскреблась.

— Это бабушки мои, — спохватилась тетка Прасковья.

— А мы к тебе на телевизор, — уже входили в хату житеневские старожилы — бабки Оля, Катя и Ариша, а за бабой Катей хвост — маленькая Катюша, привезли из города после болезни сюда на поправку.

— Проходите, проходите, дорогие мои, — встречала их тетка Прасковья и совала кому что — валенки или носки из своей овечьей шерсти — теплые, прямо с печки. — Грейтесь, садитесь... Вот они, Егор Трофимыч, выручали нас, с детьми моими сидели. Без них такую ораву разве бы подняла?

— Ох ты, Берегинюшка, заступница наша, — запричитали, разохались бабки, усаживаясь кто где — на диванчике, на табуретках. — Мужики, бывало, тебя одну и признают.

Егор включил телевизор, говорили о землетрясении в Южной Америке. Светился синий экран, бабки и не смотрели в него: ну его к врагу, одно и то же, одно и то же, войны да пожары, пожары да войны, у нас тут и своих землетрясений хватает. Не послушались они тебя, Берегинюшка, своротили дом бригады, дом им помешал. А теперь выйдешь на выгон — глазу не за что зацепиться. Поселок без дома бригады, как село без церкви, как дом без печки.

Ариша и Ольга вязали шерстяные носки. Катя притащила прялку, пряла пряжу в сторонке да все учила Катюшу, внучку, как осучать нить, чтобы ровнее шла, не обрывалась.

— Паша у нас всем направляла, — подала голос Катя. — Вишь, Егор Трофимыч, одни бабки сидим? А где деды, скажешь? Там, на войне, или уже тут загнулись, от лихоманки, ну ее к идолам. Бабы воз в Житеневке тянули... Расскажи, Паш,

как ты в нарсуде заседала, спасала нас, сберегла, не то в другом месте все сидели бы... за колоски...

— Да ладно вам, бабы, — улыбалась тетка Прасковья — крупная, величественная, ходит — себя несет, годы ее не берут. — Самовар-то наш помните, что фининспектор забрал тогда, сразу после войны, за налоги? Ладно, мы чайку и из чайника выпьем, мы люди не гордые. — Запахло душицей, липой, зверобоем, даже в носу у Егора зашипало от запахов. Замуруева Володьку вот кто нынче спас, — кивнула на Егора тетка Прасковья. — Кабан на дороге за Володькой погнался, страсть какая!.. А помните; от Настюшки Кирюхиной одна варежка осталась. Вот, Егор Трофимыч, как бывало в войну. Пропал человек да пропал, это когда-когда нашли Настюшкину варежку. Видно, давала корм свиньям, да неосторожно. Свиньи-то гончие были, борзые. Такая жизнь... Серед зимы выделили Житеню лошадь-монголку, чем кормить — еловыми шишками? Лошадь висит на веревках, а ты уже думаешь, прикидываешь, на каком суку тебе самой за нее от власти висеть? Не себя — детей жалко...

— Паш, а помнишь? — встряла в разговор Ольга. — Ох, уж это совсем нехорошо, даже страшно.

— Дык и не говори.

За окнами тьма крошечная. На километры снега да снега. Жутковато — подвывает в трубе, затевается метель. Егору снова послышался волчий вой: верно, пришли кабаны — появились следом и волки, и с ними тот самый — крапленный, с улыбочкой коршуновской, с белой полоской вдоль морды, и глаза, глаза паучьи — гори они синим огнем. И совсем тонко в трубе где-то плакала Стешка...

— Нет, я все же скажу, — решила Ольга. — Мы-то все в опорках тогда ходили, кто в чем. А мужик, да с Волчьего Шляха, Паш, ты его знаешь, один в сапогах...

— Знаю, Коршунов, скажешь. Только он в другом месте злодействовал.

— ... в сапогах, и все в переменных. Пришли домой к нему, а у него возле печки стоят сапоги и отпариваются, а из сапог, — господи боже мой! — косточки торчат, ноги отрубленные. Это наступление было, немцы полили водой Краснокутский бугор, в лед бугор заковали. Тут и легли наших великие тыщи, так под снег и ушли. А этот мужик ходил по полям и разувал мертвых-то, а если кто не разувался, носил на это топорик...

— О, господи, на ночь глядя! — поморщилась тетка Прасковья. — Вынесло же тебя к чаю... Убили его тогда мужики, убили за такие дела. Ну, подвигайтесь поближе, будем чаевничать.

От душицы глазки у бабок осоловели, по щечкам как морозец прошелся, оживели бабки.

— Что это ты, Егор Трофимыч, в норму никак не войдешь? —
опять выперла эта Ольга.

А тетка Прасковья с Аришей уже заводили:

— Во рюмочке во серебряной
Крутой бережочек.

Катя старая и Катюша маленькая подливали свои голоса:

— У кого ж у нас,
У кого ж у нас
Золотой разумочек?

И все вместе, все разом подхватывали и друг перед дружкой
глазами поигрывали, не усидеть на месте, аж притопывали ногами:

— Ах, у Егора у нашего,
У Егора у Трофимыча.

— Ну дают! — хлопал Егор ладонями по столу, аж захлебывался вместе со всеми:

— Ах ты, роза, ты, роза моя,
Ах ты, роза белорозовая.

А ночью Егору сделалось плохо. Едва он смежал ресницы, как тут же грудь ему сдавливало, из комочка зайчиного необъятных размеров разрасталась, в плечах раздавалась тревога, страхи на задних лапах вползали в него, как в того самого крапленого, из Волчьего Шляха, с белой полоской вдоль морды, гори оно синим огнем. И душа Егорова переселялась в волка и провальной, черной ночью кралась в Волчий Шлях к Коршунову, у которого стояли, отпаривались возле печки солдатские сапоги. А волк выходил из себя и входил в его, Егорову, шкуру, и там, в карьере, где Егор намахивал по ослепительно белому известняку, теперь уже Бодраков вытеснял его, сам скалил зубы, ждал его смерти... И тело вспыхивало острыми точками, кололо электроиглой то в боку, то под мышкой, то в темя, где только хотело, а после гудело, зудело... Усилием воли Егор прогонял кошмары. Вставал пить воду. И каждый раз, едва он звякал ведром, тетка Прасковья схватывалась, подавала из горницы голос:

— Ты что, Егорушка?

Так его называл когда-то единственный человек на земле — его мама. “Какая же она! Сохранила братишек, сестер своих, сберегла, — переключался Егор на тетку Прасковью. — Где

сейчас они, Берегинины дети? В Ярище, Алатыре, Москве, Оболешево... Так вот жизнь у нее и сошла. А счастье, было ль оно у Берегини?.. Лучше бы не случилось этой цыганки. Нагадала ему, напророчила". "Его-о-ор!" — слышалось из-за окна.

— Нет, я землю не брошу! — шептал в подушку Егор.

* * *

И Стешка в эту ночь не спала.

— Слышишь, мам, — подходила она к материнской постели, — Егор где-то близко. — И отдергивала занавеску, вглядывалась за окно в густую февральскую ночь. — Глянь сюда, стоит возле ракиты.

— Спи, спи, доченька, — укладывала мать ее рядом, сама косилась опасливо на летнюю кухню, где жил сейчас Петр.

"И вынесло же эту цыганку! — лежала после, мучилась Стешка. — Черна ворожейка, как сербиянка. Явилась: "Так вот где живешь ты, красавица! Старшой — помнишь его у костра? — велел передать: ты — таборная, возвращайся, не то украдем". — Не вещь я ему! Полюбила другого, так и скажи". — "Дружок твой в тюрьме, — усмехнулась цыганка. — Там, в тюрьме, и сгинет".

Стешка не выдержала, накинув шубейку на плечи, выскочила за порог. Ей показалось, что кто-то отскочил от окна, притиснулся, слился с ракитой. Утопая, по глубокому свежему снегу Стешка перебежала к раките, протянула к гнилой, выпревшей боковине руку — пусто.

— Его-о-ор! — крикнула Стешка в глухую, провальную ночь.

VIII

Берегиня позвала Егора на Рогозин колодец. Колодец этот был километрах в трех от Житеня, чудо нерукотворное. Из высокой горы, над разлившимся лугом, гремит о камни ключ толщиной в детскую руку, а пониже его глазеет Рогозин колодец. Зимой вода не холодна, зубов не ломит, летом прохладна, стоит в посуде хоть сколько, ничего ей не делается. К "святой" воде собираются люди на Девятую пятницу. В рамках атеистического материализма, а также борьбы с суевериями и мракобесием районные власти объявили Рогозину священную войну и велели его завалить камнями. Один из районных начальников, сам родом с Северного Кавказа, так и сказал: объявляем Рогозину "газават". Люди подумали, это еще ничего, не камнями же снова забрасывать — "газировать будут". А когда ничего не вышло и из "газавата" (вода, невзирая ни на что, пробивалась наружу),

Рогозин предали забвению и с водной программы переключились на другую, по их мнению, еще более важную.

Бронька слезал в самое нутро родника, заявлял после всем авторитетно: проверено — серебра нет; что делают мракобесы из простой питьевой воды! Бронькино окружение реагировало на это по-своему: уж если простая питьевая такая, то какой же тогда бывает “святая”? И Бодраков принял “кардинальные меры”: велел заключить воду в металлическую трубу, пустить самогоном с горы далеко вниз — скоту на молочно-товарную ферму. На что в народе распространились без достаточного атеизма, но с достаточным оптимизмом: молока будет теперь хоть залейся, любая программа нам по плечу.

Берегиня набирала бидончик, а Егор, испив рогозинской, оглядывал неоглядные дали и удивлялся, как же мог родник взобраться на такую высоченную высоту.

— Бодраков заключает воду в трубу, а люди трубу эту выключают, — говорила Берегиня. — Он заключит, они выключат. Заключит — выключит. Людей разве перешибешь?.. И вот налила поллитрочку рогозинской я да в Москву отослала, на анализы, может, вода лечебная, а? Пускай сюда люди едут, может, санаторий построят, дорогу проведут — тогда уже точно, Житень выживет...

Поход на Рогозин колодец развеял Егора. А к вечеру к Берегине опять заявили бабки — Ольга, Катя с Катюшей и Ариша. Расселись по привычным местам, взялись за привычное дело — пряжу прясть и носки вязать.

— Чего вздыхаешь-то? — поддела старая Катя Аришу. — А вот, про Бодракова когда говорят, боишься.

— Да, тебе хорошо. У тебя дома угля на два года, — всплакнула Ариша. — А мне скажи что-либо не так, Бодраков даст команду, и будешь сидеть с нетопленной печкой.

— В лесу дров завались, — вставала на сторону Кати тетка Прасковья. — Только гнись...

— Ишь, как растрепались бабы, когда никто вас не слышит, — подобрала губы Ариша. — А то вот такой вам вопрос: кого слушаются, кого уважают больше? Кто говорит больше ай кто меньше?

— Ты, Ариш, долдонись и долдонись, — поддела ее Ольга.

— Здравсте, пожалста... Лягушки с утра и до утра орут разоряются, и все ноль внимания, да? — уже весела была, подмигнула Берегине Ариша. — А петух с утречка едва крикнет, как все встают и принимают за работу.

— Про кого это ты? — засмеялась старая Катя. — Про Бодракова? Это Финаген с утра до вечера про работу молотит.

— Да что вы все на Бодракова, — заступилась за председа-

теля Берегиня. — Видали, за окном Алисова горка через Алешню? Так кто сильнее — гора такая или человек? Ну кто? А-а, ну так послушайте притчу... Да, ну вот, приказал царь царей гору навроде этой, а то, может, и побольше, перенести на другое место. Носил один человек, носили тыщи. Носили деды, носили внуки. Всю гору в конце концов перетащили, место гладким сделали, вот тебе и человек!

— А вот хлеб выращивать, — вставил свое Егор, — эту работу все равно никогда не сделаешь, так?

— Так? — удивились бабки. — Бессмертное дело.

За ночь Егор опять вошел в крайнее возбуждение. Временами сам он куда-то девался, явственны перед ним были все три житеневские бабушки. Вчера он пилил дрова тетке Прасковье — дуб из Рогозина леса, неохватная плаха. Сколько колец, и каждое — год, сколько же в памяти только этого дуба зим и лет с их ураганами и потрясениями, солнечными бурями, войнами, смертями и рожденьями. А тут, пониже Берегиной хаты, на берегу Алешни обнажились откосы — выходы камня, слоеный пирог, бесчисленные слои, это уже эпохи. А мы плугом скребем землю, этим поверхностный слой, то, что сверху лежит, разве только этим насытись? Вот солдаты прошедшей войны занесены в поле за Абрикосовой пасекой, так и лежат без сапог — не дошли до Берлина. В “минированном подлеске” раздаются веснами взрывы — это мерзлая земля, оттаивая, шевелит корни, а с корнями ржавые мины... А по долине Алешни — проход в древнем створе лесов, вклинивались когда-то кочевники, чтобы двигаться дальше на север, к Москве. А вот и лицом к орде лежат в этом створе лесов дружинники — соплеменники Вятко; дольше всех, как богам, поклонялись они Оке-реке, земле и лесам. Почему же у всех у них одинаковы лица? Это все Берегинины дети...

Егор крутился в постели, вставал, принимался читать. Пахло квашеным тестом, это уже поднялась тетка Прасковья, затевала на утро блины.

— Говоришь, зовут тебя так — Берегиня, оттого что живешь век на берегу? — подавал он ей голос. — А вот, видишь, книга? Афанасьев. “Древо жизни”, — и переворачивал страницу, находил нужную. — Гляди, что написано про берегинь: “Весною, выходя из глубоких вод, они разбегаются по соседним лесам и рощам, любят качаться по вечерам на гибких ветвях деревьев, неистово хохочут, защекочивают насмерть и увлекают в омуты, маня к себе ласковым голосом... Старый густой лес называют гаем русалок”.

— Ишь, как сладко писали, — удивилась тетка Прасковья. — Выдумывали... Спи, спи, сынок, до утра еще далеко.

Она уходила к себе в переднюю, и Егор не слышал ее шагов. Казалось, она была невесома, легка на шаг, шла и вся поднималась ввысь, и вот уже высоко-высоко, где-то там она, в клубящихся облаках, и за головой ее — солнце; лучи над ней ореолом, и лицо уже не ее, Берегинино, а Стешкино и даже не Стешкино — мамино. Она вводила его подальше от сатаны, этого дьявола в человеческом образе, Коршунова из Волчьего Шляха; взял и заживо, убивец, сам положил себя в гроб...

Егор колот дрова, заглушая смятение в груди сильной работой. В минуты роздыха, когда кровь отливала от головы, он нутром своим чуял, как борются в нем два изначала, две ипостаси. Одна — вековая — извечная, духа еще доязыческого, — откатилась по широкой степи, великому конному ходу народов обратно на Восток к себе, в Индию. Другая — более поздняя дошла сюда к нам через античную Грецию. И ведь, если взглядеться, есть в Стешке что-то цыганское. Стешка — его “неприкасаемая”, золотое колечко — явилась, чтобы обручить его с теми, еще самыми первыми связями, она возбуждает древние чувства...

Смугло Стешкино лицо, точен ее профиль. Это законы людские переменчивы. Даже в одной стране за одно и то же — то с тебя месячную зарплату, то кнут тебе, то отсечение руки, а то тюрьма, бывает, и виселица. Вот судьба. Из-за сгнившей в буртах картошки он, чего доброго, до сих пор бы в теплице выращивал огурцы. Это законы природы естественны, вечны, они неизбежное следствие вечно обновляемых причин. Силой знания мы научились обуздывать огонь, но какой же огонь несет нас через пространство и время, соединяя друг друга силой общения, жадной любви!..

Всю ночь непонятно было, спал он, Егор, или не спал. Мать, помнится, связала ему мягкие, теплые, белые варежки, чтобы руки на морозе не краснели, как у гусака. А красная грязная варежка зацепилась за изгрызанный столб — вот и все, что осталось от житневской Настюши. И это его, Егоровы, варежки на конике под пиджаком — Берегинин подарок... Они, как дети, эти три бабушки, живут простой гармоничной жизнью, день прошел — и хорошо, радуйся, что живешь; это он, Егор, низменный в своих помыслах; это ему все плохо в самом себе, все не так вокруг, нехорошо; его приводит в крайнее возбуждение, отчего кругом все спокойны и рассудительны, находят всему объяснение, а его колотит от бешенства грубая материальность действий Бодракова, за которыми тот видит только выгоду, ничего больше, и все принимают это как должное...

И опять смеркалось, уже другой вечер. От речки, клубясь, напоздали туманы — быть к утру инею, поселку быть в серебре. Швырком Егор бросил топор в колоду — завтра дровишки дору-

бьтся, решил пройтись по Житеню. Прогалы, пустые усадьбы. Съехали люди или умерли, почти в каждой хате по старухе, редко где больше. По выгону Егор вышел к дому бригады — хаос и запустение...

Он болен, переутомлен — это ясно. Отдохнет, встанет на ноги, пойдет работать — платить за картошку родному колхозу; как спутан по рукам и ногам, как связан невидимыми экономическими узами человек. Ломброзо не прав, говоря, что крупный, необычный ум соединен с безумием. Безумно великими и безумно маленькими делают из нас люди же. Это они, такие, как Бодраков, провозглашают безумцами тех, кто не хочет, чтобы их делали маленькими, которыми легко манипулировать. Безумцы первыми принимают на себя удары судьбы, у них свой удел... Вот он выступил конкретно против Бодракова и что?..

Егор слышал, как звенят внутри его струны, так они натянулись, еще порыв — и они оборвутся, расстроится весь инструмент. Скрежет бодраковского голоса, шуточки Броньки, звуки отдаленного трактора (опять Замуруев Володька чистит дорогу) своей грубостью потрясали Егора, он был слишком открыт для влияния извне. Понимал, уединение для него сейчас лучше всяких лекарств. Резкие вибрации жизни гасят его, лишают активности, надо побыть одному и именно здесь, чтобы обуздать себя, очиститься настолько, чтобы перестать отзываться на будни внешнего мира, тишина тоже лечит. Тело искало покоя, но дух, как и прежде, просился в борьбу туда, к Бодракову и Броньке. Люди достойны лучшей доли, чем та, какую имеют сейчас. И только земля вечна, потому что от нее хотя бы ощущение... свободы, она кормит, дает достаток, деньги, а значит — свободу. Где-то в земле его родной дед Константин Решетовский — раб безвестный, забитый до смерти, в яму брошенный, как собака... Он все же найдет дедову могилку, будет ходить, ездить, искать, всю землю пропашет... Черт побери! Люди, есть люди, а не собаки. Отец говорил, и не Решетовский он, а совсем по-русски Решетов. Хвостик "ский" приписан для благозвучия...

А утром Егор обнаружил на себе сыпь — водянисто-красные мелкие точки вокруг поясицы с переходами в нижнюю часть. Уколы электрической иглой в самом неожиданном месте, горячие волны по всему телу. И резь в животе. Неужто опять желудок? Прежде чем сделаешь что-либо дельное, в больнице раза три отвалешься.

Тетка Прасковья молча напоила Егора отваром и куда-то исчезла молча.

— А, это ты, доченька, — кому-то в сенях нараспев ответила Берегиня, и не успел Егор подивиться изменению тона в теткинском голосе, как за порог уже ступала она, Стешка.

Как влажны глаза ее, чуть косят, всегда так, когда Стешка волнуется. А лицо припухло слегка, округлилось, Стешка стала более женственна, — кольнуло Егора.

— Ну вот я и пришла, — сказала Стешка, уткнулась губами ему в плечо и заплакала.

Все у них начиналось сызнова. Егор даже не знал, до чего может быть так хорошо. Стешка варила ему отдельно, для его больного желудка, с которым все давно ведь уже было в норме. Она говорила ему при этом или молчала, а он просто ходил за ней по кухне, по горнице, из горницы в кухню, из кухни в горницу, вот и все.

Когда они все втроем садились обедать, получалась семья. Берегиня восседала на своем месте в головище стола и, прогоняя дыханием парок из ложки, улыбалась. А Стешка светилась вся, порывистая и молодая.

Все вещи в доме изменили свой смысл: часы, например, или кастрюля, ведро с водой или кружка, из которой, он видел, пила утром Стешка. Они сделались вдруг необычными, одушевленными, к ним прикасалась Стешка.

Стешка стирала в тазу рубаху Егору, а он оказался позади нее, за спиной, смотрел, как ходили в работе покрупневшие Стешкины плечи, раздалось ее тело, и ловил себя на мысли, что так же когда-то он глядел и на Милю. Егор вздрогнул: между ними была женщина... и, конечно, мужчина...

— Гляди, милый, — между тем далеко, где-то в других мирах, говорила ему Берегиня, — как лист на дубе-то держится и будет держаться почти до новины. А для тебя значит слишком уж Бодраков... На той неделе в магазин ярищенский привезли шифоньеры. Председатель зашел и оставил себе, он — власть. А когда стал грузить себе, шифоньер так и рассыпался. А механизатору одному достался последний. Как вытащили из уголочка — узоры по дереву, прямо ель тебе распушенная. Вот тебе и власть, но господь не дает пропасть.

— Зачем он нам, шифоньер-то? — посмотрел на Стешку Егор. Вон стоит, пока всем хватает.

— Дай времечко, не так запоешь, — подтолкнула Стешку тетка Прасковья.

С некоторых пор Егор стал примечать, как женщины переталкиваются, шушукуются, вроде что-то скрывают.

Тетка Прасковья перетряхнула свой сундук, и вот они со Стешкой что-то кроют, выкраивают. Когда же подходит Егор, прячут что-то поспешно. А сегодня принялись за шитво рукави, и Егор увидел в руках у них что-то маленькое, совсем крохотное.

— Распашонки? — удивился Егор.

Кровь бросилась Стешке в лицо. Стешка поднялась на цыпочки, смотрела с тревогой в глаза Егору.

— У вас будет сын или... дочь, — выручала Стешку тетка Прасковья. — А я стану вам бабкой, даже прабабкой.

“Что бы, глядя на нашу жизнь, сказал Решетовский? — ловил на мысли себя Егор. — Что бы он подумал?”

И часу теперь не мог усидеть без дела. Раскрыл на сарайчике крышу, отодрал еще свежие латки, заново стал перекрывать Берегинин сарайчик. Потом дело спустилось до стенок. Потом до подвала. В минуты роздыха Егор заходил в хату, чтобы взглянуть, как шьют женщины, как иголка играет в руках у Стешки. И только однажды перебежала тень по ней, когда она рассказывала ему про цыганку — не украли бы, не увели бы ее к “барону” цыганскому. Однако эти слова ее не задели Егора, прошли мимо его ушей, зато во всем обличии встал перед ним другой человек, тот, что жил сейчас там, в Оболешево. Егор содрогнулся в предчувствии перемен, вещунье редко когда подводило Егора. “Чей бы ни ребенок, а кормочку подбрасывать придется”.

— Баба Пашута, баба Пашута, — бежала с другого края поселка маленькая Катюшка. — К вам Сашок ваш едет, никак не доедет, застрял возле нас!

Егор с теткой Прасковьей подхватили лопаты и ринулись выручать Сашка — сына Витькова, одного из “детей” Берегининых, а вернее, ее самого младшего брата, жившего уже какой год в Москве. Сашок был в дальней поездке и на обратном пути решил заскочить к “мамке”, как они все — ее дети и уже дети детей — называли Прасковью.

— Что ж, сынок, осенью-то не приезжал, — упрекала его Берегиня. — А я ждала-ждала, изождалась вся. Сколько всего наготовила — и отцу твоему, и Наташе, и дяде Саше.

— Не смог, мам, в другие края посылали, — отвечал, не вылезая из кабины, Сашок. — И сейчас едва вырвался, в пути денек сэкономил. Видишь, как заезжать к тебе, в медвежий твой уголок.

— Не дрейфь, Сашок, качнем и пойдет! — кидался Егор с лопатой под бешено вертящиеся на одном месте колеса.

На другой день Сашка не пустили, конечно. Берегиня затевала что-то большое, как Егор понимал, праздник. Она выскребла в горнице полы, вымыла их до яичной желтизны. Стешку, которая все хваталась за тряпку, к тазу так и не подпустила. Егору тетка Прасковья наказала подрубить дровец из старой яблони, яблоня эта, отжив свой век, а сейчас распустив корявые руки, валялась за дровяным сарайчиком, ждала своего часу. Егор рассекал крепкое, слоисто-перевитое дерево и с каждым взмахом, когда, развалива-

ясь под топором, раскрывалась розовая сердцевина, прихекивая, аж дергался от удовольствия, так шибало в нос сильным, сладковато-солнечным, дурманящим запахом.

Целый день тетка Прасковья крутилась на кухне. Жарила-парила, напекла всего, что хватало не только на Житень, но, должно быть, и на Ярище. Русская печь потрескивала жаркими яблоневыми дровами, и по всей передней — по стенкам и потолку — похаживали, озоровали блики. А когда окно засинело и на слезящееся стекло легло алое пламя, Егор в приотворенную дверь услышал, как вполголоса Берегиня разговаривала — с кем бы это? — с русской печкой:

— Жар-птица моя, дорогая моя кормилица! Спасибо тебе, выручаешь. Сколько мы с тобой прожили, пережили, навидались всего. Скольких ты выходила, на ноги подняла — не перечсть. Кабы не ты, да разве же были живы, разве были такими, выпестовала народ. Первыми моряками, летчиками, первыми космонавтами, где здоровьишко нужно, были и наши деревенские, твои детишки, кормилица. Бывало, на снегу навалюются, обувь по лужам набродят, а ты их обсушишь, обогреешь, накормишь — опять живы. А кто со стороны придет — дверь ни перед кем не запираешь: тракторист ли с поля, бедный ли, задубеет от холода, ай путник какой, голодом прихватило, а ты ведь каждого встретишь, каждому местечко найдешь. Спасибо тому мужику, что сложил тебя, как песню, не выкинешь камушка. Спасибо дедам нашим, что выдумали тебя, а нам передали. Спасибобушки, моя собеседница, что в долгие одинокие мои вечера не бросаешь меня, уже старую, беседуешь, говоришь по душам...

— С кем же это ты, мам? — подал из горницы голос Сашок.

— Да это я так, — смутилась тетка Прасковья. — Про себя тут, сама.

Берегиня принесла с морозцу еловые лапы, и, когда они отходить стали, к дровяному яблоневому духу прибавился в хате еще и устойчивый, терпковато оснеженный запах хвойного леса. Сашок привез бубликов, конфет разных, селедки — всего, что попало ему по дороге; свежего черного хлеба купил уж в Алатыре. Прасковья вытащила стол на середину горницы, под электрический свет, расставила все, чем была богата, не забыла порезать и Сашков хлеб, Сашкову селедку.

— Ну, садитесь, дети, — вздохнула она.

Выставила большую черную бутылку, заткнутую кукурузной кочерыжкой.

— А это лесное шампанское, — вздохнула устало Прасковья. Заметив тревогу в глазах Егора, повернулась к Стешке: — Это сок да песок, да на травках, можно и ей.

И встала, подняла стопку, сказала торжественно:

— За вас, мои дети, за молодых! За счастье ваше, за счастье детей ваших, за счастье детей ваших детей.

— То-то, я смотрю, — подмигнул Сашок Стешке, — на соленькое, сестрица, тебя потянуло, за селедку хватаешься.

— Помолчи, — шлепнула в шутку его Берегиня и первой выпила стопку до дна.

Это и была свадьба у них со Стешкой, так понимал Егор тетку Прасковью. И оттого, что за столом понимали все одинаково, было и страшновато, и хорошо. “Она принимает меня, — смотрел он на Берегиню. — Она теперь и моя мамка, эта крупная, такая устойчивая житная женщина, которой, пока жива была моя мама Устинья, я почти и не знал, нужда заставила ближе узнать, так вот люди друг друга и узнают”...

— А я уж и на завтра наготовила, — говорила Берегиня Сашку, — всего тебе туда наложила.

— Да зачем хоть нам, мам, — упорствовал Сашок. — Что ж, ты думаешь, мы там голодные, что ли? Все работаем. Вот какая, — ты бы все отдала.

— Ты, Сашок, ничего не понимаешь, — повеселела тетка Прасковья. — Поживешь с мое; дак поймешь. Отдавать для матери, сынок, — это радость. Отдаю, а мне вроде как прибавляется. Силы поддерживаются, не иссякают. А ну походи-потопчись по лесам — по буграм, нагнись за каждым грибком, каждой ягодкой — слабому разве это под силу? Кабы не вы, много ли одной надо бы? Разик не сходи да другой, вот и сошла бы на нет. Вы даете мне силу и радость. Для того и живу. Да еще, чтобы лиходей этот не пустил наш поселок по миру, чтобы жизнь, сынок, в Житене тут на нас не закончилась...

Наутро Сашок уехал.

Почти неделю Берегиня потчевала житеневцев тем, что приготовила для вечера. И сама по дворам прошлась, и сами в хату к Берегине наведались, не постеснялись. И Фома Фомич — по местному Мажор, летописец их деревенский — вскоре занес себе для истории в толстую черную коленкоровую тетрадь: “Наконец-то сошлись Тиганов Егор со Стешкой, что с Оболешево. Поселились в Житене у Берегини. Живут вместе, кажется, это счастливые люди”.

IX

В Житень заглянул Лихопеков. Егор сразу повел его на Рогзин колодец, показал бодраковские трубы, из которых скоро опять, говорят, будут пускать самогоном воду на Краснокутскую ферму. Лихопеков оглядел трубы по-хозяйски, заметил по-деловому:

— Между прочим, зарплата тебе поставлена в зависимость от надоев.

— Как это? — оживился Егор. — Интересно.

— Главным агрономом Бодраков назначил одну девочку из института. А ты оформлен агрономом по производству кормов. Ввели такую единицу... Да ты носа не вешай, — хлопнул он по плечу Егора. — Ай забыл про “колхозные алименты”, за картошку-то надо выплачивать. Мы тебе дополнительно бензозаправку подвесим, будешь бензин отпускать...

И, возвращаясь с Рогозина колодца, возле самого Житеня, Лихопеков подмигнул Егору:

— А не махнуть ли нам с тобой вместе отсюда? Вызывали в райисполком, предлагают директором маслозавода. Новый завод достраивается, а директора нет.

— Свято место пусто не бывает, — ответил Егор уклончиво.

— Вот и я так думаю, — заключил Лихопеков. — Найдут директора. А с весны запускаем в работу комплекс. Долго спорили, да быстро строили — арочный, чего его строить-то. Уж и телок завозить начинаем. Без меня Бодраков не обойдется. С народом у него не совсем получается, крутоват стал, озлобился... А ты выходи на работу, пора. А на весь белый свет не дуйся, белый свет не причем.

— Я землю не брошу! — ответил Егор.

— Совет тебе, — заметил Егорову сдержанность Лихопеков. — Что бы ни говорил Бодраков, куда бы тебя ни толкал — будь мужиком, помни, ты не один. Я тоже для Бодракова вроде как груздь, да пока, видишь, не съели.

Лихопеков укатил, а Егору долго еще было не по себе.

— А-а, курортник! — как ни в чем не бывало, встретил его Бодраков. — А мы-то думаем, где пропадаешь? Санаторий строишь у Рогозина колодца? Совсем от людей отбился, одичал в своей медвежьей берлоге.

— Какой у меня круг вопросов? — спросил Тиганов Егор.

— Ну об этом потом, — свернул разговор Бодраков и дернул на себя дверцу “козла” — новенького, как отметил Егор.

Теперь Егор не знал, куда сунуться: в кабинете главного агронома сидел уже другой человек, просто агрономам кабинета не полагалось. Так и стоял он в размышлении. Дверь кабинета главного экономиста приотворилась, голосок Коротеевой прохватил коридор:

— Трофимыч, зайди-ка, тут к тебе одно дельце. Жена, в общем, подала на алименты. Гнуться придется, Егор Трофимыч, платить детишкам, хе-хе, на молочишко.

Экономистка говорила свое, тараторила, да как погромче, на всех, чтобы те, что были в правлении, понесли по Ярищу. “С

зарплаты, Егор Трофимыч, на двоих детей причитается с тебя тридцать три процента, алименты не шуточки”. — “Зачем же так она? — думал Егор о Миле, своей бывшей жене. — Уж и сам отсылал бы ей, даже больше”.

— Выставлять так перед всем белым светом, — поискал Егор глазами сочувствия в бухгалтерской среде.

— Ничего, так вернее, — заключила Коротеева. — Жизнь длинная, деньки потянутся — ножки протянутся. Так-то вас, ковбоев, учат.

И никто ни слова ему про карьер, про эти несколько месяцев его вынужденной “командировки”, как ничего и не бывало.

Прошел стороной Природин — механизатор, дружок отцов, не кивнул даже, профорг, называется. Скорее всего не заметил, так лучше. Помнится, еще в Орле, на первых порах в институте, бывало, поругает тебя заведующий лабораторией, так все от тебя шарахаются, как от зачумленного. Идешь по длинющему коридору, но стоит только свернуть за угол, как тут же к тебе подбегают, сочувствуют... О люди, люди — исчадие крокодилов...

Х

Все как-то не удавалось Егору встретиться, поговорить с Лихопековым по душам. Главное — расспросить его насчет механизма своего освобождения, в том числе и насчет Синякина.

Камень лежал на сердце, а это потяжелее “яичка”; что снесла морена в ледниковый период и которое торчало теперь из земли по пути из Житеня на Ярище.

Егор сел на моренный подарочек с теплой, солнечной стороны, он был крайне задумчив: не прояснишь позади себя — не увидишь и впереди, как дальше-то жить? В Орел, насчет деда своего Решетовского, Егор решил съездить попозже — дай опять войдет в форму, покатит по накатанным рельсам.

А Бодраков не давал покоя Егору. На днях, когда выдавали зарплату, с Бодракова тоже выдрали приличную сумму. И председатель пообещал, гори оно синим огнем, так жигануть Тиганова Егора, что тот в конце концов пробкой отсюда вылетит. И теперь уже навсегда.

Дорога привела Егора на бензозаправку. Работенка, как говорится, не бей лежачего, но авторитетная — “король бензоколонки”. С утра отпустил горючее, вывел машины на линию и сиди себе в будке, мух на окошке дави — сколько машин отпустил, столько мух и надавил. А зачем больше, нам больше не надо. Или иди — рядом тут — в мехмастерскую, где Бодраков с утраца выдает наряды, и звони по телефону, куда вздумается, да опять же рисуй пальцем в окне, по пыльному стеклу, рожицы

Бодракову. Когда это кто-нибудь соизволит подъехать к заправке, отыщет Егора, попросит:

— Плесни-ка, Трофимыч, бензинчику.

— А талоны?

Талоны есть, талонов нет, а плесни. Из этого бывалые люди выколачивают материальное благосостояние, упрочивают свое положение. А ты, коли дураком уродился или если, как говорят некоторые шоферы, ни рожи — ни кожи, так и сиди, дебил, — ни короны, ни кроны тебе, вот так.

Со своими еще полбеды — “варяги” замучили. “Варяги” — чужие машины, со стороны. Катаются ли по колхозу, едут ли большаком, а заправляться сюда норовят, в Ярище. Оказывается, в стране постановления приняты, бензин за границу загнали, режим его отпуска в городе ужесточился, и городские всякие сюда давай соваться. Сначала совались к Егору сами, по привычке, так было заведено. Потом с устной просьбой Бодракова, самого председателя. А потом и с бодраковскими записочками.

— Писульки эти не документ! — гремел на заправке Тиганов Егор. — Или талоны выкладывайте, или письменное распоряжение Коротеевой, экономистки.

И вот такой малозначительный объект в колхозе, как бензозаправка, взлетел вдруг на недостижимую высоту. “Да что ты выше самого Бодракова?” — напирал на Егора водительский состав. — “Бодраков в карьере камешек не долбил”, — срежет единым махом Егор. И только механизаторы, заправляясь своим дизтопливом, когда угодно и сколько угодно, посмеивались над шоферами и поддерживали Егора. Солярка в стране не была дефицитом.

И все же даже водители подтягивались, приучались к порядку, а куда денешься? Боковым зрением Егор примечал, как от него будто струны протянулись, всюду стало вроде построже. Специалисты молчали, сделались внешне деловитее, больше ругались друг с другом, успокаивались одним: ненадолго. “Неужели для этого надо было пропустить меня через “мясорубку”? — возбуждалась в Егоре отчаянная мысль, высиженная на мореновом камне. — Ничего себе наука людям, механизм управления. — Он рисовал пальцем по пыльному стеклу в мехмастерской пляшущих человечков, Бодракову на память. Протянул от головы человечка линию вверх, сделал над линией еще линию — перекладину. — Если глянуть масштабно, как оно получается: после революции была вера, люди работали на энтузиазме, позже еще какое-то время — на сознании, а после, когда потеряно было и то и другое, все держалось уже на страхе, а у Бодракова на чем?.. Никак не подберемся к законам, к естественной жизни, к истине. Все с нажимом, все указания, все кому что взбредет, все кувалдой вколачиваем”...

С месяц пропадал где-то Бронька Летягин. Прошел слушок, скитался по югам, там, на югах, и попался. Дело связано якобы даже с наркотиками (вот почему пол-огорода у него, прохиндея, занято коноплей). Но, поскольку вслух о “родимых пятнах” никто говорить не решался, разноречье стало заглыхать и заглохло. Замечено было только, что Бодраков вскоре — без особой производственной необходимости — ездил тоже куда-то на юг и пробыл там неделю.

И только Тиганов Егор вошел в курс дела, нашел окошко во времени, чтобы съездить в Орел, вплотную приступить к поискам следов Решетовского, как вот он, Бронька, — опять объявился, забрел к Егору на бензозаправку.

— Слухи о нашей с тобой кончине оказались несколько преувеличены, — подмигнул он Егору и сразу перешел на серьезную тему. — Понимаешь, нужен компаньон, человек надежный, культурный, с авторитетом. Выбор падает на тебя, больше никому.

— Пошел-ка ты! — рассердился Егор. — Хватит с меня той “малины”.

— Ха, при чем тут “малина”? — обиделся Бронька, продолжая искать новые подходы в старом направлении. — То было так, броня крепка, экзотика, развлечение, женщины. А это — дело, работа... Понимаешь, Трофимыч, — загорелся Бронька, — общественно полезная ситуация, идея Бодракова: асфальт стелить по Ярищу. Между прочим, согласуется с общегосударственной политикой. Ну, сколько можно в грязи купаться? “Жигули” стоят по дворам, ехать некуда, к большаку не проврешься. Сколько мы горюшка приняли от бездорожья, а? И мать бы твоя, Устинья, жива была бы, ей богу, если бы “скорая” тогда успела... Ну, Трофимыч! Ну, есть в тебе что-нибудь патристическое, человек ты или не человек?

— Вот прилепился.

— Святое дело, Егор. Что Бронька один, что ли, должен тут за всех вас распинаться?

— Ну, говори, что надо?

— А ничего, броня крепка, — снял Бронька брезентовые рукавички (он теперь ездил на своем “чертогоне” в брезентовых рукавичках) и с силой шлепнул ими о стол. — Только и всего, что при мне быть. Для успеха. Для дипломатии. Ну, может, за рукав когда дернешь, чтобы я городу не сгордил, поправишь вовремя, понял?.. Вишь, весна на носу, асфальтировщики уже в соседний район прикатали. С Кавказа. Ну вот, умыкнуть их надо, к себе, значит, перетащить. Это же джигитское дело. Как невесту крадем, но по согласию, понял?

— Понял, понял, — по-прежнему неколебим был Егор.

— Ах да, Бодраков? Да что тебе Бодраков! — живо смекал этот Бронька. — Бодраков будет нам с тобой благодарен. Как, между прочим, и все население. Мы с тобой как полпреды, от лица всех, олицетворяем, броня крепка, коллектив.

— Полпреды, коллектив, — перебил Броньку Тиганов Егор. — Все у тебя с каким-то вторым дном, прямо сказать не можешь. — А сам соображал потихоньку, вспоминая свое письмо Лихопекову: “Неужто опять у них какой-нибудь механизм? Тоже мне, прокрустово ложе. Руки торчат — руби, ноги — руби, а голова если? И головушки не пожалеют. Сбил Бодраков себе кучку в правлении, что ни скажет — все “за”, сто процентов. Остальные ходят по жердочке, а ты будто им и не человек — пешка какая-то, ставят — переставляют, куда захотят, наказывают — как знают, судьбу твою предопределяют”...

— Со “вторым дном”, говоришь? Обижаешь, Трофимыч, — вздохнул разочарованно Бронька. — Ну не буду, не буду. Черти дергают меня за язык. Конечно, и я могу отказаться, и дело накрылось.

— А, ладно, была не была, — махнул Егор. И выиграло в нем ретивое, и ринулся он с Бронькой, как в омут головой: — Едем!

— Узнаю, Трофимыч, тебя, узнаю! — вопил захваченный восторгом внутренним Бронька.

Для такой поездки Бодраков не пожалел своего “козла”. По пути Бронька заскочил в соседний райцентр, в местном ресторанчике выпросил “с собой” пару бутылок армянского коньяка.

— Не надо бы, — поморщился Егор, словно предчувствуя, что это действие вскоре осудят, а время назовут еще и периодом не только застойным, но и застольным.

— И не надо, — согласился наивно, ничего не подозревая о будущем, Бронька. “Вообще ничего дальше собственного носу не видит”, — подумал Егор. — Это я так, на всякий случай. А угощать нас будут своим.

— Как это? — подлетели брови вверх у Егора.

— А так это, так это, — пошел подбородок вниз у Броньки.

Вагончик, где жили асфальтировщики, стоял прямо в поле. У развилки дорог, перед огромной вышкой высоковольтной у березок-самосевок. Вскрустывая мартовским ледком, в предвечерний морозец Бронькин “козел”, едва не боднув вагончик, так и осел на тормозах перед стенкой. С кулаками выскочил из двери человек.

— А, это ты, Бронислав, — медленно отходил он, говорил с кавказским акцентом.

— Дядя Тигран, — широко раскинув руки, уже шел к нему Бронька Летягин. — Вот, как и договаривались, привез тебе председателя.

— Какой же это председатель? — стрельнул из-под косматых бровей в Егора пожилой кавказец. — Я вашего председателя знаю, Бодракова все знают. И потом, какой я тебе Тигран, я Иван по паспорту.

— А я буду звать тебя Тиграном.

— Ну, зови, — усмехнулся кавказец.

— Да не Бодраков это, не Бодраков, — проходил внутрь вагончика Бронька, увлекая за собой и Егора. — А птица все же поважнее меня. Вот ты, Тигран, — тигр, а он — лев, не одну собаку съел в своем деле. Не смотри, что молодой, — он при Бодракове советник, голова. Как скажет, так по его и получается, понял, дядя Тигран? — А сам подталкивал Егора: ты помолчи, помолчи, не встречай, коли не просят.

— Проходите, дорогие, — уже совсем другим тоном приглашал гостей дядя Тигран.

Освещала вагончик керосиновая лампа. И было по-южному жарко. Чугунная печка, как луна, краснела из угла воспаленным, пронзительным зраком. Под такой луной где-то в парке Чаир каждый вечер весна, распускаются розы. А тут к стенкам жались три жиденькие коечки, застеленные походными одеяльцами. На одной из них, задрав ноги, лежал паренек с роскошной шевелюрой, перебирал одним пальцем струны гитары, висевшей над головой.

— Вот он, — смотрел Бронька доверчивым, кроличьим взглядом на дядю Тиграна, — вот он, Егор, сказал Бодракову сделать из соломенных жгутов отдушину в буртах, а Бодраков не сделал. И сгноили картошку. А человек этот теперь гниль, плати государству целых полторы тыщи рублей.

— Ай-ай-ай, — покачал головой дядя Тигран.

— Вот он говорил Бодракову, — пальцем стучал Бронька в грудь Егору, — строить животноводческий комплекс в старом саду, а Бодраков не соглашался. А все равно пришлось строить там, где вот он, человек этот, сказал.

— Ай-ай-ай, — прицокивал языком дядя Тигран.

— Вон он говорил Бодракову, — не унимался Бронька, — проводить дорогу, класть асфальт к нему на Тигановку, а Бодраков...

— Слушай, — спохватился дядя Тигран, — зачем сразу столько слов и все стоя? Садитесь, дорогие мои, поговорим за столом... Шашлыком кавказским угощать будем. Приготовим, ух, вместе с шампурками съешь. Володя! Слушай мою команду...

И тут же послал молодого за третьим из их бригады — Самсоном, который как ушел вчера в ближайшую деревню к одной женщине, так ночевать там и остался.

— К Клашке Райзухе, что ль? — подмигнул Бронька Егору. —

У нее всегда ночевали все, после войны особенно — из райзо, райземотдела.

— Зачем к Райзухе? — возьась у плитки, не терял нить разговора дядя Тигран. — Райзуха старая стала, ушел к молодой.

Вскоре появились Володя с Самсоном, и от плитки дядя Тиграна, от всех его кавказских приправ и специй, по вагончику распространился такой аромат, что у Егора с Бронькой слюнки потекли, впрямь забили фонтаном, не хуже чем в Петродворце.

— Шашлык-то высшего класса называют грузинским, — сказал с подковыркой Бронька.

— Неправильно называют, — аж перевернулся, стоя у плитки с засученными рукавами, дядя Тигран. — Самый лучший в мире шашлык — армянский. Рецепт записан даже в поваренной книге Бальзака, когда его угощали в Тифлисе...

— У Дюма записано, — поправил Володя. — Угощали Александра Дюма.

— Какая разница, кого угощали? Главное — мы угощали, кавказцы. Хорошо принимали хорошего человека.

Егор с Бронькой не знали, что сказал по этому поводу великий французский гурман, но их собственная речь по поводу шашлыка дяди Тиграна (не меньше, чем шашлык дядин специями) была так напичкана восклицаниями и междометиями, что в целях экономии места и времени для самой трапезы их следует опустить.

— Шашлык настоящий у нас готовят только мужчины, — заявил дядя Тигран. — А к шашлыку подают настоящий коньяк. Доставай, Самсон, нашу марку.

— Ни в коем, ни-ни, — приподнялся Егор. — По делу приехали.

— Молчи, культурный элемент! Сиди и учись, как дела люди делают, — зашипел ему на ухо Бронька, а вслух рассеивал общее недоумение: — Да это он так. Говорит, болею за вашу футбольную команду, больно плохо играют. Болеешь, Егор? Ну и болей себе на здоровье, а людям гостей встречать не мешай. Ну, так что там у вас говорит в последнее время кавказское радио?

А за стенками вагончика темная ночь, и вокруг ни души. За полями-долами деревушка поблизости с ее редкими огоньками и частым брехом собак.

— А скажи-ка, дядя, о чем это гудят высоковольтные, может, поют панихиду по нашу голову, а скорее всего, мы вот с Егором думаем, несут электрический ток высокого напряжения туда к вам, в долину, на далекий отсюда Кавказ, как наш общий привет, а оттуда, по тем же проводам, льется к нам сюда само-теком со снежных вершин этот кавказский коньяк, “бутилируется” в Орле, и сюда на стол, вот чудеса...

Все дело в том, что думалось и говорилось так прежде, еще до того, как трагедии обрушились на многострадальный Кавказ, откуда же знать было, что землетрясение, национальные распри так ударят после в людские сердца.

— Живем вот так по полгода, — не слушал Броньку, вздыхал дядя Тигран. — Живем без семьи и скучаем. Черную работу делаем, катаем асфальт...

— Не приbedняйся, дядя Тигран, не приbedняйся, — вздыхал в тон ему Бронька. — Хорошие деньги имеете. Стенки клеить — не хватит вагончика.

— По договору.

— А где вы берете асфальт и щебенку? — не выдержал Егор. Его, как всегда в таких случаях, несло поперек течения. — Свои дороги мы могли бы делать и сами.

— В карьере берем, в карьере, — пожал дядя Тигран недоуменно плечами и также недоуменно уставился в Броньку.

— В каком, у капитана Галахова? — несло еще дальше Егора.

“Да молчи ты, молчи, голову оторву!” — уже чуть ли не плакал Бронька, щипая Егора.

— Все знает советник твой, голова, — сказал спокойно дядя Тигран. — А если знаете, чего сами асфальт не делаете?.. К себе зовешь, а чем платить будешь? Ваш колхоз нищ, касса тощая, как крыса в брошенной сакле. Я знаю, вы миллион должны государству.

— Ну и что? — уставился в дядю Тиграна Бронька. — Ну будем два должны, тебе-то что? Ты дороги нам делай, мы тебя не обидим.

— Как это “не обидим”, как это “два миллиона”?! — вскипел Егор. — Да что государство тебе — бездонный колодец?! На “малине” трепался, тут трепешься. Миллион должны — второй не дадут.

— Видал, кроет как, а? — восхитился Бронька. — Вот политик — да, классный мужик! Одно думает, говорит другое... Да мы тебе, Трофимыч, дорогу с дядей не только в Тигановку, но и на Житень протянем. Протянем, дядя Тигран?

— Протянем, — подтвердили Самсон с Володей.

— Мы в асфальт все поля закатаем, — несло еще дальше Броньку Летягина, — так что делать нечего будет тебе, агроном. Закатаем, дядя Тигран?

— Закатаем, — подтверждал дядя Тигран. — Выручать надо, поможем.

— Ну что я говорил? — аж перегибался через столешницу Бронька, норовя поймать Самсона за пуговицу. — Он мужик наш! — кивал на Егора Бронька. — Я же говорил, голова!.. Ну вот и договорились, — встал решительно Бронька. — Завтра же

снимайтесь с якоря и в Ярище! Добро пожаловать, милости просим, дорогие наши асфальтировщики. — И Бронька опять сел довольный. — Все для общества и для общества, а сейчас проживем для себя. Ну-ка что там у вас из кавказского репертуара? “Сулико”?

— Нет! — развел руками дядя Тигран, — “Сулико” — грузинская песня, а у нас свои. Сыграй, Володя, мою песню.

Володя снял гитару со стенки. Первые переборы выстроились в тихую, знакомую фронтовую мелодию.

— Бьется в тесной печурке огонь, — с хрипотцой подержал дядя Тигран.

Егор глядел за окно: тут на столе керосиновая лампа, а там совсем темная ночь, “только пули свистят по степи”: “Сидит старая моя у окошка, — едва слышимо говорит сам себе дядя Тигран, и в глазах его отсверки от печурки, — и не знает, старая, где я, что со мной. И что будет с ней самой, с нами всеми, с нашим народом, всей великой страной”.

— Слабый стал, — кивнул на дядю Самсон, — слабый, жалостливый.

— Мудрый, — покачал головой дядя Тигран. — Далеко стал видеть.

— Старый, да? — засмеялся Володя. — А вчера плясал, спляши, отец, и сегодня. — И ударил по струнам.

Легкие, кавказские ноги борвались, заходили остренько, на носочках по доскам, как по бритвам.

— Сейчас, братцы, я — мухой! — бросился Бронька в распахнутую дверь.

Бронькин “козел” тут же пропал в темноте. Не успели опомниться, как вот опять Бронька, а за ним в вагончик входила старая женщина, под мышкой гармошка. Это же Райзуха, Клавдия-гармонистка со своей ливенкой, ай да жаркие перламутры, развеселый бордовый развод! Сколько лет человеку, девяносто два-третий, но еще ничего. Уже с порога Клавдия завела, неторопливо притопывая:

— Эх, тряхнем стариной, у миленка выходной, а без песни, хоть ты тресни, жизнь проходит стороной, — выжимала все из пальцев своих Райзуха, а сама взглядывала на дядю Тиграна, между тем сходу и откровенно делилась со всеми: — Председателя выручала. Бывало, начальники из района в колхоз да ко мне. Пили горько, гуляли сладко, а после их в городе где-то сажали, а я все играю... А по молодости мой мужик меня на “пяттак” не пускал. Одежу спрячет, а я пойду — коровяком вымажет, а я и в старой уйду. Не успеет оглянуться, а уж гармошка в другой деревне за речкой, мой мужик с топором за мной: это ж Кланька моя там опять. Мужика когда еще скоро-

нила, а я слезу оботру да за гармонь, все играю... А сын со мной живет, еще молодой, толечко шестьдесят, — сидит сын под коровой и доит, а я доить уже не одолеваю, перед ним стою и играю...

— Какая бабка! — удивился Самсон. — Молодец! Из тебя еще долго песок сыпаться будет.

И только под утро Клавдия угомонилась. Ее отвезли домой, и Егор с Бронькой собрались восвояси. Вся команда дяди Тиграна в полном составе и с полным взаимопониманием провожала их на пороге вагончика.

— Ну, что я тебе говорил? — подмигнул Бронька Егору, когда они отъехали. — И угостили, и еще разговеться дали. Вот, — хлопнул он себя по боку. — А еще и концерт на тему дружбы народов устроили.

— Как бы нам за такой концерт шею не намылили, — всматривался в дорогу Егор. Угар праздника проходил, сменялся трезвыми буднями.

— Кто — Бодраков? Ха, — рассмеялся откровенно в глаза Егору Бронька Летягин. — Видал силы какие, народные! Да я про Бодракова такое знаю, заплашет, как жаба... Это я служу ему из-за должности, деваться некуда, а тебя я, Трофимыч, люблю.

— Ну да, — косился Егор на него, — а кто меня Бодракову закладывал?

— Заклаживал! Я — игрок, но играю по-честному, — прибавлял газу Бронька. — Это Бодраков — жулик... Ну хошь я тебя обниму?

— Держи руль, броня крепка!

— Хошь что-нибудь расскажу про Бодракова, про его махинации? Ты, Егор, головастый, упорный, все равно наверх выбеешься, вспомни тогда и про Бронюшку. Слушай сюда...

— Не хочу, не рассказывай. Ты зачем коноплю на своем огороде сеял?

— Коноплю-ю, ты серьезно? — метнул убийственный взгляд на Егора Бронька. — Веревку свить для Бодракова, повесить его, окаянного.

— А на юг Бодраков мотался зачем?

— На ю-юг, ты серьезно? — Бронька оторвал от руля руку, показал шиш Егору: — Видал? Отдых ему там устраивал, понял?... Прицепились менты за коноплю. Бодраков же рекомендовал посеять...

— Вот-вот, — качнулся Егор на ухабе. — Бодраков тебе дело шил, чтобы держать тебя в лапах. Раб ты, Бронька, никогда не поймешь свободного человека. Все бы гнул, за пятак шею свою подставлял.

— Иди ты! — заерзал Бронька. — Ты серьезно?

— Удивляюсь, как это нет в человеке никакого достоинства.

— Ну это ты брось!..

И тут “козел” ухнул в вымоину, так что зубы у Броньки звякнули.

— Трепись поменьше, — одернул Броньку Егор. — Сидишь за рулем и сиди.

До самого Ярища, изобидясь, Бронька молчал. Зато Егора как распирало, но и он предпочитал помалкивать, отдавшись стихии мыслей. Случайно брошенное слово о том, что Бодраков специально шил Броньке дело за коноплю, чтобы создать вину, держать Броньку в ежовых рукавицах, в конце концов растереть как человека, это случайно оброненное словечко обрастало у Егора современными фактами, историческими параллелями. Интересно, были в наполеоновской армии штрафные части? А у Сталина были — штрафные роты, штрафбаты, “армия Рокоссовского”. Неужто по-другому нельзя, надо создавать людям вину, чтобы потом смывать ее кровью, вырывать прощение ценой даже собственной жизни?

XI

Памятный знак жертвам сталинских репрессий... Из передачи Орловского радио Тиганов Егор узнал, что знак будет установлен на месте печально знаменитого Орловского расстрела. Так вот его дата — 11 сентября 1941 года, перед приходом фашистов... “Все! — сказал Егор сам себе. — Завтра же еду в Орел. Будем искать могилу деда — Решетовского Константина Сергеевича, 1907 года рождения, уроженца Минской губернии”...

Полдня прокрутился Егор у орловской тюрьмы. К ее задней, глухой стене подступали жилые дома, но возле самой стены буйствовали, как и когда-то, лопухи и крапива. “Именно у таких глухих стен и расстреливают”... Солдаты целились плохо, и каждый раз усилием воли Овод вставал на колено — в белой рубахе, обгаренной кровью, и ободрял своих палачей улыбкой: “Пли!..” Егор поковырялся в кирпичной стене, силясь обнаружить пулю, хотя бы щербинку, иссохшее пятнышко. Силой воображения представил за этой стеной железные переходы, тесные камеры и — мордобой. Сидели при царе, сидели при Сталине, те же окна и по сей день в решетках под козырьком...

— Не тут, — сказал человек Егору, имел в виду то, что имел в виду и Егор. — В Медведевском, понимаешь?

— В Медведевском?

В Медведевском лесу, на месте, где после ляжет памятный камень с краями, изорванными, как судьба, он встретил еще од-

ного человека. Такие глаза бывают только у тех, кто жив, потому что тех, кто жил, уже нет. И воздуху не хватит Егору. И человек проведет его дальше, в лесную тущобу.

— Вот там — те из “зондеркоманды” стреляли в наших!

— Вот тут — эти из НКВД стреляли в нас!

Этот человек, сын расстрелянного, ходил сюда каждый день. Собеседовал с окрестными жителями, до соринки осматривал местность. Всей жизни бы не пожалел, чтобы отыскать его, это место расстрела. И высчитал, вычислил, его осенило: в периметре двадцать на сто девяносто просела почва, и липы того же возраста, что и периметр...

Теперь-то у Егора сомнения не было: надо идти в областное управление комитета госбезопасности!

Он сидел лицом, конечно, к окну. А перед ним в цивильном сидел полковник. Это был, конечно, полковник. Они тут все, конечно, полковники. И все, конечно, предельно цивильные. Ах да, узниками здесь были, значит, Дзержинский, Спиридонова, Раковский — цвет нации. Сейчас ему процитируют что-нибудь из Дзержинского и спросят, как бы между прочим, а вы, мол, случайно, не были в тюремном музее — камере “рыцаря революции” в Орловском центре? — И он ответит, мол, нет, конечно, какой разговор, но был в другом хозяйстве — у капитана Галахова. У нас после семнадцатого почти в каждой семье уже побывали там или еще побывают отдельные представители...

Однако полковник сказал:

— Извините, ваш дед Решетовский Константин Сергеевич в наших списках не значится. После ареста его, разумеется, сразу же препроводили в Воронеж, по месту жительства... Разумеется, сообщим. Нет-нет, что вы, мы все помним. Здесь ничего не забывают. О судьбе Решетовского сообщим, разумеется, дополнительно.

* * *

Крупный, гренадерского роста, с белой шапкой волос человек, слегка подтягивая ногу, меряет самый крупный в области Кабинет самого крупного в области Дома. Грузная, бронзово-хрустальная люстра виснет безмолвно над головой. Дом наполнен людьми, телефонными аппаратами, должностями, печатями, печальями, просьбами, приказами, входящими и исходящими, заседаниями. В своем кругу этого человека называют Отец, за глаза, в тайне, — он знает — Старик.

Старик поднялся сегодня с постели и пришел через площадь сюда в Кабинет. И так каждый день уже какой год, большим усилием воли, делая бодрый вид, тащит он свое тело, свои застарелые болезни в стены большого Дома.

За время, которое он занимает Кабинет, Старик изучил его, как самого себя. Панели под мореный дуб — двадцать восемь темно-бурых извилин, словно в воспаленном мозгу, снизу вверх, с полу до потолка. В потолке буквой “П” пятьсот двадцать восемь отверстий для вентиляции. Двадцать восемь... В двадцать восемь он был рядовым агрономом в МТС. Стрелка судьбы всегда показывала ему ввысь. И вот он Старик и в этом Кабинете. Наедине с Главным Аппаратом — символом его явной власти и тщательно скрываемого бессилия. Он сросся с Аппаратом, должен быть всегда с ним, не может от него никуда и, выезжая в район, держит с ним радиосвязь. В ночных кошмарах Аппарат принимает у него облик “гомо сапиенса” — ушастый, глазастый... Старик привык давать всем все от имени всех. Как человек государственный он и сам имеет все сверху от имени всех: зарплату, машину, квартиру, дачу. Уйди из этого Кабинета, оторвись от Аппарата — что у него своего?..

Старик открывает дверцу, едва угадываемую в стене за спинкой кресла, его Кресла. Здесь — невидимый миру — маленький кабинетик, где можно расслабиться: диванчик, книжный шкаф, холодильник.

Старик наклоняет к сифону — живая газированная струя шибает по пальцу мимо стакана. Старик облизывает пересохшие губы, с паузой отставляет стакан.

Внизу люди ждут его иногда неделями, чтобы только взглянуть на него. О нем они знают так же мало, как и о боге. Старик подходит к зеркалу. Лицо его в мелкой сетке, пергаментное, желтовато-лимонного цвета от искусственного загара, которым пока еще удается скрывать землистость и одутловатость (“интересно, как бы все это выглядело на портрете?”). Длинные, без того тяжкие руки и вовсе набрякли, на них места нет — так исколоты сверху донизу, пятьсот двадцать восемь отверстий, пожалуй. Сейчас войдет медсестра со своим инсулином, господи, когда все это кончится?

Нетвердой рукой Старик извлекает из шкафа, журнал, открытый кем-то услужливо на нужной странице. “Маркос, что на Филлипинах, и эти вот Маркес, Маркс... Одному должны верить, другому, — по всей вероятности, верят...” И Старик погружается в думы. Возвращается в Главный Кабинет к Главному Аппарату.

Сверху должны позвонить и сообщить, смогут ли скорректировать области план. С обеспечением трудности — это факт, значит, нечего ждать стабильности. Нагрузки увеличиваются, не будет покоя.

Утром Старик шел на работу — испачкал обувь. Как вырыли траншею для нового, разумеется, более современного кабеля

между Главным Домом и Домом Дзержинского, так до сих пор и не зарыли. Разумеется, безобразия. Черный, безразмерный, гибкий, как змей, только мозолит глаза.

На железнодорожной станции прошел тяжеловесный. Хрустальная люстра поймала звук, реагирует, длинно подрагивая над головой.

По радио только что передали, в Одессе родился миллионный житель, а у него область осенью разменяла миллион, но только в обратную сторону — население сокращается, и это тоже факт.

На приеме только что был начальник военного училища, переведенного сюда, в глубь страны, просил помочь с продовольствием; конечно, конечно, все лучшее детям и армии. Кажется, Наполеон был острословом. Кстати, как это у него: “Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую”...

Старик откашлялся, пробует голос, все ли в порядке. Массирует грудь: целый букет болезней приобретенных, на первый план выдвигается, кажется, диабет, от которого недавно скончался брат...

Екатерина Великая начинала свой рабочий день с рассветом и вопросом: а что у нас, в столице, сегодня на рынке и сколько стоит? Ох, уж эти писатели — кипучие бездельники, деловым людям только путают карты.

Эпоха стучится, к нему обращаются люди — просят, надеются, побаиваются, он — власть, у него — Главный Аппарат, и он делает вид, соглашается, подыгрывает. Да что он масштабно в конце концов может, кроме того, что predetermined ситуацией: наказать, причинить неприятность? — с этим у нас пока, слава богу, это воспринимают даже спокойнее, чем когда выделяют кого-то.

— Все могут короли, — замурлыкал Старик (внучка крутит пластинку) и тут же обрывает себя: какое легкомыслие.

Старик кладет руки на батарею центрального отопления, подставляет поочередно теплу холодеющие ноги. Ему дома посидеть хотя бы недельку, на печке деревенской дня три отваяться... Усилим воли Старик отрывается от радиатора, идет осанисто через весь Кабинет, садится за Главный Стол под портрет, берет первую бумагу. (Любопытно, а нет ли среди них какой-нибудь завалыщей с упоминанием Тиганова Егора Трофимовича, что из Ярища? Нет и не было? Прошла, очевидно, через более низкие сферы. А могла бы и быть, Старик в общем знает Синякина, считает его перспективным).

И вдруг — одновременно: в дверях Кабинета появляется медсестра со своим инсулином, звонят по внутреннему телефо-

ну и сразу, как с цепи, срывается и начинает надрываться Главный Аппарат.

Не думая, вышколенно Старик нажимает на нужную клавишу, снимает трубку и безотчетно включает хрустальную люстру. Яркий молочный свет заливает весь Кабинет. Лицо Старика, как выглаженное утюгом, делается ровным, оптимистичным.

— Да-да, у Аппарата, — звучит уверенно его слегка подсебранный голос.

Медсестра готовит шприцы, не глядя на Старика. Зато массивная, многосвечная люстра; нервничая, подзванивает над головой — на сей раз где-то над городом прогремел самолет. “Что, по-вашему, счастье?” — спросили на днях Старика. — “Хлеб”, — ответил он. Так агрономом из МТС и остался.

В Алатырь на имя Тиганова Егора Трофимыча поступил пакет. На отличной мелованной бумаге знакомый полковник подтверждал письменно, что ранее было сказано устно. Что значат органы — порядок, что бы мы были без них!

Животноводческий комплекс сдали Комиссии в конце марта. Пока по бумагам он не проходил, продукцию ему не планировали. И Бодраков решил на этом сыграть. Как рассуждал: животноводство у нас убыточное (отвернись в районе начальство — в скольких хозяйствах коров бы пустили под нож), а мы сделаем его прибыльным. В Ярище редкая ситуация: помещения есть; а коров нет. А если развернуться, закупить животных в счет комплекса? Молочко от них пойдет в план хозяйства, в надои на условную голову. Это же прыжок, доплата за сверхплановую продукцию, премии соответственно. “Алименты” за картошку, грехи наши тяжкие, будут выплачены. И главное — всем хорошо: хозяйству, в целом району, даже области. Старик узнает, оценит инициативу. И ведь продукция не фиктивная, не придуманная, а вот оно, молоко, — реальное, в надоях...

Все Ярище об этом только теперь и думало: как скорее заполнить новые помещения. Из Подмосковья привезли первых нетелей симментальской породы. Бодраков распорядился раздать их по дворам в обмен на дойных коров...

Лихопеков и тот не сразу вник в замысел Бодракова. А когда кто-либо возражал, что же мы рубим сук, на котором будем сидеть, тут же ставил “вражий голос” на место. Тига-

нова Егора Бодраков выключил воистину сакраментальной фразой:

— Ты, Трофимыч, гори оно, выдвигаешься в центральную фигуру. От тебя теперь все зависит: буренушки, гори оно синим огнем, не таблетками питаются. Создаем тебе спецотряд, по кормопроизводству, так что командуй!

Егор составил карту по размещению культур. Целыми днями мотался он по полям, от агрегата к агрегату. Егоровы ребята разбросали, развеяли по лугам удобрения, соль-лизунец. Глаз радовался, когда после майских дождей балки зазеленели, травы двинулись в рост.

Вся эта деятельность так захватила Егора, что он позабыл про всё, что называется личной жизнью. Даже про Коршунова, про Медведевский лес в Орле. И только полковник госбезопасности — спиной к окну — смутно грезился со своим обещанием сообщить, если в органах что-то прояснится.

И вот после всего Егор собрался на пастбище, что за речкой, на “колыме”. Еще издали углядел стадо. Чье же еще, оболешевское. Оболешевские телятки, соседские. Снесут ложок за милую душу, не дадут травке и приподняться.

— А ну давай отсюда! — закричал он пастуху. — Раззявили рот, как на свое. Вот ваши луга, на своих лугах и стерегите.

Пастух приблизился: Петр! Тот самый, живет у Шешкиной матери.

— Уфф! — простонал Петр да так скрежетнул зубами, что телята шарахнулись.

И занес над Егором кнут — перевитой весь, на конце гирька. Егор как стоял, так стоять и остался. Выщелк кнута пришелся по тем же телятам. Пастух повернулся и стал уходить, пригорбаться, выпирали лопатки. И жаль сделалось Егору этого человека, обидно за него, какая уж получается жизнь. Ничего не сказал Егор вечером Шешке, решительно ничего.

Знатный земляк помог с оборудованием райузла связи. И дела в хозяйстве сдвинулись, пошли в гору. Приятно видеть “Светлую жизнь” где-то в верхних строках. Сводки есть сводки — зеркало экономической жизни. И вот в Ярище зачастили гости за опытом. “Кадры решают все”, — вывесил Бодраков лозунг над входом в правление.

Встречи гостей обычно заканчивались звонком Бодракова из кабинета в столовую.

— Катерина! — кричал он Добренковой в зеленую трубку. — Да понимаешь, растем, нас растлили своим вниманием, а что

делать? Ты это, Катюш, будь радушной хозяйкой, приготовь что-нибудь поинтереснее — да, чай с огурцами, вот-вот.

В соперники ярищенцам областью определено было два лучших хозяйства из соседних районов. Бодраков метался по бригадам и фермам:

— Отступить некуда, мы теперь на виду, так что, гори оно синим огнем, давайте! На днях звонил знатный земляк, понимаете сами, маршал. Человек крайне интересуется, сами понимаете, нашими показателями. Собирается посетить свою “малую” родину, так что встретим, не подведем!

Бодракову стали предоставлять чаще слово на районных активах, речь его покруглела, сделалась глаже, словно утюг поставили на нем и подержали маленько. В Ярище речи ему составлял Лихопек, а в Алатыре их лопатили, вкладывали свой пыл и всякие районные были, — это если Бодраков ехал выступать в область.

После покровы по Ярище распространилось: Бодракова выдвигают кандидатом в депутаты, да сразу куда повыше — в Москву. Бодраков и сам вещал про это и божился, добавлял от себя лично:

— А как же с соседями соревноваться? В одном колхозе председатель — Герой соцтруда и в другом — Герой соцтруда, а я кто такой? Тоже ведь не замухрышка.

Ранг Бодракову чуток понизили. Выдвинули кандидатом в депутаты областного Совета по Новоярищенскому избирательному округу.

Все это перемешивалось в сознании, подрывало веру в идеалы, в большие дела. Но Егор знал одно: надо держаться простых истин и в самой сложной, запутанной обстановке эти истины не подведут. Вот маршал — знатный земляк, книгу его о войне Егор прочитал еще с детства и гордился нещадно им, как и все, с нетерпением ждал приезда маршала сюда, на его “малую” родину. Но вот, когда Егор спросил Бодракова об этом, тот как бы остолбенел.

— Издеваешься, да? — с трудом вспоминал Бодраков то, что уже позабыл. — Ты что, не знаешь, что маршал не едет к нам, да? Плохо чувствует себя наш земляк, болеет, вот так. Зато маршал дарит мундир для алатырского музея... Приезжать человек, может, и не собирался. Ах, не понимаешь, для чего говорю? Стимулирую, дух поднимаю, использую, так сказать, скрытые возможности...

— Врем, значит, людям?

— Егор Трофимыч! Не заносись! Какое имеешь право выступать от моего имени, распоряжаться колхозными средствами. Ты что — распределитель кредитов? Тебе что, и второго миллиона не жалко?

— К-какого в-второго?

— Того, что ты обещал разменять асфальтировщикам. — И Бодраков положил энергичную руку на капот своего “козла”. — Мы об этом с тобой еще поговорим! А вот для сведения: на той неделе начинают тянуть на Ярище асфальт. Дорожники, государственная система. Воленс-ноленс, как выражается наш общий друг Бронька Летягин. Что в переводе означает: воля Юлия Цезаря — закон.

— Совсе не это, — сказал мрачно Егор. — Не так переводится.

— Много знаешь — скоро состаришься, — усмехнулся Бодраков и укатил на своем “козле”, пустив напоследок синевато-ехидный дымок.

Лето мелькнуло в трудах и заботах. Вот уже и сентябрь. Опять эта Коротеева, экономистка! Ляпнула принародно, что Егор-де пускает налево колхозную картошку. Отвез, мол, отцу в Тигановку на заготовительный пункт вроде бы Берегинину, а за Красным Кутом пропала семенная, уже из буртов. Никакой фантазии, хоть бы что-то другое придумали. Чуть такая, ложь беспардонная, сколько же можно? И дикость эта вывела Егора из равновесия. Егору опять стало плохо спать, появились кошмары, даже видения. Теперь уже не Берегиня — Бодраков, как какой-нибудь громовержец, возникал над ним в черных клубящихся тучах, заносил над ним косу-молнию, кривую, как турецкая сабля...

Стешка спала у него на руке, она была на последнем месяце беременности, и Егор старался ее не тревожить.

Стояли как-то с Природиним, отцовым другом-товарищем, на Окаемовом поле. Тот первым заметил темную точку на блеклом сентябрьском небе. И точка приближалась, нарастала, они с Природиним определили в ней коршуна. Торкая, коршун ходил кругами над суходолом, над березняком, уже тронутым осенью.

— Голос подает, — не сводил взгляда с хищной птицы Природин. — Расчет такой: мышонок затаился под кочкой, вдруг не выдержит и побежит. Тут он камнем, хватъ его, и готов. Охота, называется... Бодраков повадился в Волчий Шлях.

— А что — он живой разве? — аж перевернулся на месте Егор.

— Кто хоть?

— Коршунов! Живой пока? И что Бодраков в нем нашел?..

— Зла и зависти больно много, совесть ценить перестали, — склонился к Егору Природин. — А если бы ценили, Бодраков-сы недолго сидели... Высоко занесло его, а слетать-то придется. Живет, как будто завтра и жить-то не нужно. Хозяйство в гору пошло, председатель в чести, а я вот сижу и думаю: когда

это кончится? Людей подачками избаловал, долго так не протянется...

Егор прикрыл веки: вот оно перед ним, Окаемово поле. До сих пор это поле дает лучшую пшеницу, лучший картофель, лучшую кукурузу. До революции из-за этого куска чернозема ярищенские выходили с косами на оболешевских, и кровь берега обагряла. Егор ценил это поле. И хотя заботой его были корма, он наведывался сюда, чтобы только потрогать колосья. Надоело все, осточертело! Окаемово поле, — он простался с ним, агрономом больше сюда не придет...

Егор открыл веки: коршуна как не бывало. Коршунов же лежал в гробу, улыбался зловеще.

— Егор Трофимыч, зайди ко мне в кабинет, — бросил Бодраков, проходя по длинному, узкому, как кнут у Петра, коридору.

Егор зашел. Присел. Бодраков вил над ним круги, держался поглядисто при всех своих телефонах. Уткнулся клювом в толстый "гроссбух". Листал его слева направо, справа налево. Одинокий кленовый лист бился в окно, сюда в теплышко. Ветка то отклонялась, то снова притискивалась к стеклу. Слышно было ровное дыхание Бодракова. "Сталинист! Вот почему тянет к Коршунову, — прострелило Егора. — Интересно, отпустил "ведьмин куст" птенца того из заточения?"

— Вот что, Трофимыч, — оторвался, наконец, Бодраков от "гроссбуха". — Собираем на днях правление.

Егор не двигался.

— Выносим твой, Трофимыч, вопрос.

Егор не шевелился. Кленовый лист по-прежнему бился в стекло.

— Отчет о производстве кормов.

— Отчет бывает по итогам года, — не сморгнув, смотрел Егор прямо в глаза Бодракову.

— Вопрос важный, своевременный, — заиграл Бодраков желваками. — На носу стойловый период, зимовка скота.

— Так бы и формулировали: "Подготовка скота к работе в зимних условиях", — заметил Егор. — Вопрос зоотехника.

— Так у нас зоотехника нет! — как коршун крыльями, хлопнул Бодраков по столу обеими ладонями сразу.

— И это вопрос агроному? У вас все ко мне, Финаген Ксаныч? — поднялся Тиганов Егор и, проходя к двери, улыбнулся едва уловимо листку кленовому за холодным стеклом: "Наверное, отпустил".

ХИ

Егор с Лихопекковым заночевали в дорожной гостинице. Она была единственной в Алатыре — двухэтажное здание в псевдорусском стиле, “терем-теремок”. Его строили когда-то для иностранных туристов, отважившихся посетить нашу “медвежью” страну. С той поры туристические маршруты переместились, и “теремок” обветшал. Первый этаж — бывший ресторанчик — доверху забили пустыми деревянными ящиками, а рядом взгромодили безликий пятиэтажник со встроенным кафе.

— Зато как назвали “Тещины блины!” — засмеялся Лихопекков. — В Москве был — обошел Лужники, главную спортивную чашу. Помню, вся страна строила, на весь мир гремело. А сейчас? Там облицовка отлетела, тут траншеей выкопали, мхом уже поросло. Мачты над чашей вознесли — никакой эстетики.

— Мачту видим, а человека за мачтой нет, — перебил Егор Лихопеккова. — Завтра Бодраков любого возьмет за хобот, где, так сказать, коллективная безопасность? Теперь я у него уже семенную картошку загнал...

С превеликим трудом они только что получили номер, вошли в него и сидели сейчас в низеньких креслицах — ловили “кайф”.

Включили настольную лампу, так уютнее. Шевелилась балконная штора, проткнуть ее шпагой хотелось, будь она под рукой.

— Ты думаешь, мне с ним работать легко? — сказал, наконец, Лихопекков. — А что делать? Обдерет человека, а ты выправляй, объясняй, что имел в виду председатель...

Егор ожидал, что Лихопекков заведет речь о его, Егоровом положении, просчитает его ситуацию. Ситуация-то осложнилась.

Мотком на шее Егора была теперь эта связка — Коршунова с Бодраковым, а ведь за каждым — круги да круги. Голова пухла от всего. А тут в кармане еще и шуршало письмо от этого полковника. И Егор не знал, как ему теперь быть — ехать или не ехать, мало ли... Но совсем не о том говорил Лихопекков. Может, и его приручил Бодраков, завлек в свои паучьи волонтеристские сети?... В детстве отец, помнится, привез из города апельсины. Золотые шары, с таким волнующим запахом. Ругали дома Трофима, истратил на апельсины все до копейки. А Егор помнит об этом и любит отца до сих пор. Ну кого он, Тиганов Егор, как вернулся сюда из города, кого хоть на каплю сделал счастливее?..

— Вы сынишке апельсины когда-нибудь покупали? — спросил Егор Лихопеккова.

— Апельсины?

— Ну да.

— Везу с каждого совещания, — спокойно сказал Лихопеков.

— Хорошо, когда их много, — вздохнул Тиганов Егор. — И, когда мало, неплохо.

Он рисовал пальцем на стене “пляшущих человечков”. Что будет с ним дальше, он не знал, но так, как было, уже больше не будет. Пресмыкаться не собирается. В конце концов у человека должно быть достоинство, личность по крохам не собирают. В старой России было одно ценное правило: когда дворянин оскорблял дворянина, тот вызывал его на дуэль. Невзирая на табель о рангах, служебное положение. Оскорбляющий рисковал быть убитым. Даруй апельсины, когда их немного, они тебе будут возвращаться всю жизнь...

— Гляди, опять в капкан не попадись, — уже засыпая, как с того света, услышал Егор от Лихопекова. — Опять Бодраков закрутился около прокурора.

— Где Стешка? — едва ступив за порог, спросил Егор тетку Прасковью.

— Ушла в Оболешево, к матери. Скоро придет.

Егор стал примечать: он из дому — Стешка за порог. Так вот куда она ходит! Цыганка пророчила смерть ему от блондина. От этого, что ли, с кнутом? Этого черта змеистого, на конце пляшет гирька?..

Тетка Прасковья засуетилась, загремела посудой, бросилась кормить Егора.

Стукнули сенечной дверью. Грузно ступая, прошла мимо в горницу Стешка. Платок съехал набок, сбились волосы.

— Чего это ты не сказал, что Петра встретил? — подала она голос, и Егор уловил в нем неискренность, фальшивинку.

Как легко произнесла она это слово — “Петр”, как привычно. Уж какой раз придет оттуда, не знает, за что прицепиться.

— Кто я тебе, жена или кто? — подошла, встала Стешка в упор перед ним. Смотрела снизу вверх — лицо побледнело, в бисеринках пота. В таком случае лучше всего выйти из хаты на воздух и махать топором, пока не иссякнут силы. Старый, проверенный способ.

— Где вчера ночевал? — откинула голову Стешка. — Опять с Бронюшкой на этой вашей “малине”?

— В гостинице алатырской с Лихопековым, — тихо сказал Егор. У самого мелькнуло: ишь, когда докатилось.

— Да ночуй ты хоть где! — вспыхнула Стешка. — Зая-

вишься из Ярища своего и молчишь. — Стешка была готова вот-вот разрыдаться. — На постели рядом лежишь — молчишь. Я тебе что — чужая, нельзя поделиться? С женой, наверно, делился, а со мной можно и так, я никто тебе, как собака.

— Ну, Стеша, Стеша, — гладил Егор ее по плечу.

— Что Стеша! Петр другой, Петр...

— Что Петр?! — словно током, шибануло Егора. — К Петру таскаешься, да?!

— Да, к Петру! — закричала запальная Стешка. — К Петру!

— Шлюха, — выдавил Егор из себя. — Подзаборная.

— Петр дороже троих таких! — кричала Стешка, вовсе не помня себя. — И ребенок не твой, не твой, не твой!

Егор так и осел на коник: “Уффф!” Приподнялся, ступил затылком назад, за порог.

— Теть Паш, что я сказала! — бросилась Стешка следом.

Так с разметанными волосами и шла за ним по поселку. А Егора шатало, никак не входила в ноги устойчивость. В груди что-то оборвалось и упало, кругом даже не пустота — бездна, пропасть какая-то, куда медленно падает он один, а Стешка остается где-то там, за чертой, она кричит ему, а он и не слышит, она цепляется за него, а он не чувствует ее рук, и она отстает, остается со своими смоляными, разметанными волосами, та Стешка, какая была там когда-то, и та, которая здесь...

Ноги сами вынесли Егора на Rogozin колодец. Даже вода не охлаждала лица. Вода гремела об острые камни, асбестовые трубы, завезенные Бодраковым. Далеко внизу Краснокутская ферма, а тут, у ключа, только он, и никого больше. Кругом села, города, люди, жизнь во всех ее проявлениях, измерениях, а тебе уже все равно, вот что может произойти с тобой, когда уходит самый родной человек. А ведь думал, что хоть одного человека рядом, может, сделал счастливее...

Егор простался с Rogozin ключом, с речкой Алешней, с “житеневскими местами”.

Когда через день Егор заглянул к тетке Прасковье, Стешки там уже не было. Тетка Прасковья ходила, гремела ставшими вдруг не нужными ей чугунами, ухватами.

— Не понимаешь людей ты, Егор Трофимыч, — сказала она наконец. — Обидел вот Стешку. А ведь она родит скоро. Организм перестраивается, могла сказать, чего и не думала.

Егор повернулся к ней, начал прислушиваться.

— Вот и сказала... про Петра, — не сходила утрусость с Егора.

— Глупые вы, молодые, — поставила перед ним тарелку с борщом Берегиня. — А ты, Егор, как деревянный, прямо слега... Рожать Стешка пошла к матери, рожать! Ей же страшно.

— Стешка — родня твоя, — по-прежнему косился Егор на тет-

ку Прасковью, но говорил уже тише, — вот ты ее и защищаешь.

— Вы все дети мои, — вздохнула Берегиня, и голос ее дрогнул, обвололся печалью. — Все, как пальцы на этой руке. Любкой обрежь — кровь потечет, больно. Вы же жить еще не умеете, — покачала она головой, — не научились. У других, может, это и быстро получается, а тебе, Егор, долгонько еще придется учиться. А может, и всю твою жизнь...

Остаток дня Егор провозился на дворе. Раскрежевал тетке Прасковье дубовые плахи, поколол, сложил дровишки в поленницу. Забивал планками щели в сарае, чтобы снегу не навяло от Ярищ холодным, северным ветром. Наносил воды в бочку, размел дорожку, проверил штакетник. Задержался за двором, где повыше, возле разлатой ракиты.

“Вот и кончилась твоя, Егор, поэзия здесь: любовь, народные песни, бабки с притчами. Можно подумать, не жизнь тут у них, а малина. А тут суровые будни, старухи ведут борьбу за существование на склоне лет, особенно, когда белое одеяло раскинет себя окрест. Ни пройти — ни проехать между избами, между поселками. Только галка и пролетит. Да еще Берегиня иной раз по дворам проберется на Вербе — колхозной лошади с фермы, развезет по бабкам хлеб магазинный да проверит, все ли хоть еще живы.” Ехать надо в Орел, к полковнику, — решил Егор. — Вот с отцом переговорю и поеду”.

Другим взглядом оглядывал Егор “житневские места”. Перед карьером у него еще были надежды. Утром, чуть свет, с щемящим чувством в груди, Егор покидал Житень, держа курс на родную Тигановку.

Нудна, утомительна осень. Иной раз кажется, все еще утро, а тебе уже говорят “добрый день”. Все спешим, все торопимся, подгоняем времечко, гоном гоним с утра до утра, от аванса к получке, от рождения до самой смерти.

Машина подобралась сзади неслышимо, Егор вздрогнул.

— Добрый день, — отщелкнулась дверца.

Человек вышел из белой “Волги” — высокий, в черном кожаном пальто, немного постарше его, Егора. Это, конечно, Синякин. Тот самый, конечно. Никаких других Синякиных с белой “Волгой” и в черном кожаном пиджаке в природе, конечно, больше не существует.

— Как жизнь? — бодро спросил он, подавая руку Егору.

— Да так как-то, — замаялся Егор и рубанул напрямую (в кабинете нельзя, а здесь можно): — Жизнь как у картошки: если зимой не съедят, то весной посадят.

— Зачем же так мрачно? — сделал Синякин нервно круговое движение шеей. — Не век же про карьер помнить, ты еще молодой.

Прошли краем поля. Приблизились к брошенному, прямо в борозде, плугу. Присели.

— Как ты думаешь, Бодраков у вас сильный руководитель? — положив руку на лемех, отставил локоть Синякин.

Егор молчал.

— Ну, а колхоз имеет перспективу роста? — не отставал Синякин.

Егор молчал.

— Ну, что ж ты, Тиганов, все молчишь и молчишь.

— Говорить отучили, — сказал Егор откровенно.

Помолчали теперь уже оба, подставляя щеки порывистому, знобкому ветру, дующему от Ярища.

— Страна живет, как вы знаете, напряженно, — смотрел Синякин куда-то в пространство. — Тут и внешний, и внутренний аспекты... Сейчас дело нашей чести и совести — накормить население. Иначе нас не поймут. Значит, не жди стабильности, покоя не будет.

— Вот вы говорите, — не выдержал Егор, — все правильно в общем и в целом. А где живой человек?

— Ну как же, — развел руками Синякин. — Все ресурсы, каждый гектар, каждый человек на учете.

— Ресурсы, может, и на учете, — сказал Егор, а у самого опять же мелькнуло, боролось и победило: “Ничего, в кабинете нельзя, а тут можно. А-а, ладно. Все равно куда-нибудь завербуюсь, уеду”. — А вот каждый конкретный аграрий сверху до низу, — улыбнулся Егор, — да хотя бы и вы... не очень-то, выходит, стараетесь, вид больше делаете.

— Ну-ну, интересно, — аж закрутился, сидя на брошенном плуге, Синякин. — И что — какие у тебя аргументы?

— А вот какие, — Егор подыскал форму, как бы это лучше донести до него, до Синякина. — В прошлом году картофеля было минимум, и государство через потребкооперацию подняло цену до двадцати копеек за кило. А в нынешнем люди за прежнюю цену на заготпункт везти уже не хотят. Погожу-ка до весны, отвезу потом лучше на рынок...

— Ну, и что? — нахмурился Синякин, ему эта тема не нравилась.

— А то, — продолжал Тиганов Егор. — Представим, округа вся... ну, скажем, наш сельсовет... произвел сельхозпродуктов навалом. Всего изобилие, нет дефицита. И что после этого — дадут через систему потребкооперации селу ту же дублинку из Исландии? Нет, не дадут, разберут в городе, по начальству. А

если район всего произвел навалом? А область? А вся страна в целом? Мы же, аграрии, будем обществу неинтересны, улавливаете? Вот и сидим — сверху вниз, снизу вверх — на своих должностях и делаем из сельхозпродукции дефицит. Словом, вид делаем, вот что. Колхоз — перед районом, район — перед областью, область — перед Москвой...

— Чушь какая-то, — вскочил с плуга Синякин. — У нас... категорически... просто-напросто, э, недостает продукции.

— Производим столько, чтобы быть интересными, — сбывчась, стоял на своем Егор.

— Где это ты нахватался? — проходил Синякин в своем черном кожаном к своей белой "Волге". — В карьере, что ль?

— Сами же спросили, — провожал его Тиганов Егор, — как мы тут варим мозгами.

— Ладно, вари, котелок, вари, — подал руку ему Синякин, ныряя в машину. — Будешь в Алатыре — не стесняйся, заглядывай. — А сам подумал: "Настырный какой! Весь в деда своего — Решетовского".

XIII

И вся-то Тигановка какая: ведром звякнут — слышать на другом краю деревни. Отца дома не оказалось: уехал в соседний район скупать картошку у населения.

Ойкнув, Тоська прикрыла одной рукой грудь, другой — нащупывала на стуле позади себя кофту.

— Лишние деньги не лишни, — объясняла Егору она — новая отцова жена, бывшая их соседка.

Маминого в доме ничего уже не было. Вот здесь на гвоздике висел мамин халатик, сейчас на том же гвоздике — Тоськин ("ладно, не смотрю, переодевайся, больна нужна"). Вот тут мама клала рабочую одежду, когда приходила с фермы, под лавку ставила сапоги ("ни сапог, ни лавки — выкинули, наверно"). Даже ведра бабки Гали, ее кастрюли, ложки и поварешки были не там, не на месте, чужие какие-то, неодухотворенные. В них уже не было прежней жизни — его, Егоровой, и тех, кого он любил.

— Не смотри, что не подметено, — шепелявила из маминой спальни Тоська, видно, причесывалась, а шпильки держала в губах. — Не успела, сейчас подмету.

И выплыла на своих каблуках, зырь в зеркало, прошла совсем близко, пронесла свои одеколаны. Короткое платьё — голые лытки, никак не отставит свое, круговая.

Егор вышел наружу. Во дворе все будто по-прежнему: тот же сарай для коровы, под сено, там же пчельня, поросычья закутка, будка собачья. Что-то однако было и новое, а что — сра-

зу и не понять. Полоска асфальта, что ли, проложена до туалета. Белым с улицы покрашены рамы, выбелена закутка. “Хозяйка новая, как из себя выходит, старается”.

И тишина по Тигановке. Ни собаке забрехать, ни прокричать петуху. В кастрюле, что ли, горлопанов поутопили.

То не так ему, это не по нутру. Ну, а если подумать, может, будет-то лучше? Нельзя же навязывать людям свое так упорно, еще и спрашивая при этом, счастливы ли они с того. А ведь у каждого своя биология и отсюда своя психология, свои понятия, выработанные за жизнь. Может, человек физически не силен, живет как умеет, а ему задают ритм какого-нибудь мордоворота, которому впору камни ворочать, поворачивать реки. Подвернут человека под кого-то, глядишь, человек захиреет, даже помрет. А трусцой бы — бежал да бежал, внося свою лепту в общеземной марафон.

Счастье — оно всегда в единственном числе, во множественном не бывает. С давних времен счастливым считался тот, кто “с частью”, с долей наследства... Вот он, Егор, как и Берегиня заметила, словно палка негнушаяся, слегка, куда ни сунь — везде выпирает. От него одни недоразумения, даже беды, а он еще втайне надеется, что может кого-то оделить счастьем. И Миля ушла от него, и Стешка жестоко обижена, а дети — сыны его — растут без отца. И он еще рассуждает о счастье. Да что оно, счастье-то, что жизнь человеческая, если вдуматься? По сути своей разве не диалог? Диалог человека с семьей, с ближайшим окружением, диалог с миром, с каждым конкретно. Он же, Егор, больше сбивается на монологи, диалог у него лишь с самим же собой...

На конце Тигановки простонала машина. Не отец ли возвращается? Нет. И опять тишина. “Господи, в чем только не искали причину, отчего разбежалась деревня. Все перепробовали: и клуба нет — возводили клубы, и дорог нет — принимались за дороги, и жилья нет — строят жилье. Искали и ищем в области материального, где легче искать. А дело-то, видать, посложнее — в духовном. Паспорта дали деревне при Хрущеве-освободителе — и самая обездоленная часть населения, вчерашние госкрепостные, с которых драли лыко, как только хотели, ринулись, хоть к чертям на кулички, за своей долей счастья”...

— Его-о-ор! — на весь двор позвала его Тоська.

— Чего тебе, — отшвырнул Егор старый отцовский ремень.

Проходил через переднюю — Тоська стала в дверях да поближе, теснее к нему. Пропусти, у, грудастая!

— А я уж и занавесочки занавесила, и постель постелила, — не говорила, а прямо-таки пела Тоська. — Ну, давай?

— Что давай?

— Ты, Егор, прямо как не мужик, — стояла перед ним Тоська, перекручиваясь всей фигурой (“в этой комнате умирала мама, в этом самом углу”). — Да проходи, проходи ты, не бойсь! Пряник сладкий, не откушу, — отступила Тоська, на плечах цветастый такой полушалок. — Пройди, обедать давай — вот что. Стол накрыт, щи давно простывают.

Ведьма переверотная, и когда только успела? Тоська дела свои делала мигом.

— Ладно, — сел Егор, все еще озираясь, — корми.

— Бормотушки дать? — подсаживалась Тоська к нему под бочок. — Или, может, водочки?

“Вот как, — не переставал удивляться Егор. — И бормотушка водится у них, и даже водочка. И как это отец не добрался?” А сам косился на окна, на Тоськину спальню: в самом деле, окна занавешены, а постель неужели расстелена? А Тоська придвигалась, дышала жаром телесным, в девках не нагулялась, бесстыжая. Лихопеков говорил ему, на чем сейчас горят мужики. Как мир на трех китах держится, так и мужики с трех “китов” бултыхаются в грязь: деньги, водочка, бабы...

— А ну как отцу расскажу? — дул, остужая щи в тарелке, Егор.

— С двумя женами живешь, а краснеешь, — задорила его Тоська. — Сидишь вот, а сам блудишь, думаешь о другом. Все вы, Петраковы, такие.

“Эта в облака не подыметя. Тяжела больно, шлепнется — земля дрогнет”.

— Больно дров получится много, — сказал вслух Егор.

— Да уж не святая, — рассмеялась Тоська.

— Старичка того, зоотехника, доконала, — старался уколоть Егор ее побольнее, — за отца взялась.

— Я твоего отца в люди выведу, — не то все еще поигрывала, не то всерьез говорила Тоська. — Еще спасибо скажете Тоське за Трофима за вашего.

“Вот к кому Бодракова бы, да! Кабана этого на усмирение”.

— Кабанья развелось, — сказал Егор вслух.

— Мы — люди честные, нам и волк ни по чем, — прикрыла Тоська голое плечо полушалком. — А Бодракова мы с Трофимом в гробу видали. Нам-то что от него? А вот картошечка, что Трофим скупит у населения, в план колхозу идет.

— Разворотлива, одного тебе мало, — усмехнулся Егор. — Весь колхоз теперь подавай.

— Ну это ты брось! — встала Тоська, ногой грохнула — тарелки задребезжали. — Говори да не заговаривайся, отпрыск любимый Трофимов!

— Кузьку-то выпроводили из дому, — отвернулся

Егор, слезы выступили, едва не брызнули, этого еще не хватало. — Кузьке что делать с нами? — смягчилась Тоська. — Будет расти тут балбесом, а в интернате учат все-таки, чему-нибудь выучат.

— Бабка Галя сама ушла, — уже собирала тарелки Тоська. — К сестре своей, там ей лучше. Сказала, вместе с сестрой доживать будем, от сестры к дочке на кладбище и отнесете. Вот что сказала на прощанье нам с твоим отцом баба Галя.

— Спасибо за обед, хозяйка, — поклонился Тоське в пояс Егор. — Я пошел.

— Да куда, на ночь глядя? Может, переночуешь? — стала возле порога Тоська, под локоть другую руку, а пальцем в щеку, как это делала мама, а может, все женщины на поселке, весь род их Тигановский в такую минуту.

— Да что я говорю-то, — вздохнула она. — Ты тут жил, ты — хозяин, а моего покамест тут мало. Поживу, поработаю — может, у вас что-либо и заслужу... Ну куда ты, господи боже мой! Оставался бы, я же ведь так все, шутила.

— А-а, туда, — махнул рукой Егор неопределенно в ранние синеватые сумерки. Ему уж и тут, в Тигановке, все успело прискучить, надоело все это и гнало куда-то, неизвестно куда. Если Бодраков волк в овечьей шкуре, то кто же тогда он сам? Бодраков больше кажется, чем есть в самом деле. Овца он в волчьей шкуре, вот кто!.. “Отпрошусь-ка у Бодракова, съезжу проведуо Кузьку”.

* * *

“Всю жизнь мы бежим куда-то, ищем кого-то, от чего-то спасаемся. Дух ли степной, кочевой еще сидит в каждом из нас. Ищем друг друга от революций, от войн; от себя и спасаемся”...

Автобус доставил Егора Тиганова в Подшибякино, прямо к специнтернату, где теперь на полном гособеспечении находился его младший брат Кузька. Все казалось бывшим в бывшем райцентре. Зданьца ветшали со следами вывесок от прежних райконтор и райучреждений. Правда, попадались кое-где райфилиалы, служившие, очевидно, делу укрощения местных амбиций. И всюду, где только можно, разбитые вдрызг тротуары. Дорого же обходилась подшибякинцам вассальная зависимость от Алатыря. И подшибякинцам само собой ничего другого не оставалось, как писать челобитные, отправлять по инстанциям входящие, получать исходящие.

Самое ухоженное, что было тут, так это скверик. Обелиск с именами, и в нем дары осени — белые хризантемы.

Во времена не столь отдаленные в Подшибякино был и свой

райисполком. Указывая кому-то дорогу, подшибякинцы и по сей день называли здание не “специнтернатом”, а по-прежнему “райисполкомом”...

И шел Егор по специнтернату, по его казенному, гулкому коридору. Справа двери — одна, вторая, пятая. За какой из них Кузька — кровное, родное ему существо?

Маленький мальчик стоял в углу коридора, колупал пальцем стенку. Поднял глаза на Егора: мольба во взгляде, великая скорбь — глаза старичка.

— Дядя, — подковылял к нему мальчик, он так ходил, — вы не мой папа?

Сердце Егорово сжалось, Егор обомлел.

Прозвенел звонок — в дверях показались тихие дети. Кто двигался на костылях, кто держался рукой за стенку.

— Это мой папа, — заявил им малыш. — Это папа за мной приехал, мой папа.

Ком застрял в горле Егора. А дети стояли в кружок — серьезные такие, взрослые дети.

Кузьку своего Егор нашел в кочегарке. Кузька был черен от угольной пыли, как и те двое мужчин, которым он, в порядке трудового воспитания, помогал отапливать интернат.

— Ео-о-о, — подбежал к нему радостно Кузька и бил себя по груди, бил рукой по груди Егора, показывая этим двоим, что он брат Егору, Егор брат ему, что они с Егором одно.

Егор держал Кузьку за плечи, спазм в горле не проходил, даже усиливался. Если сейчас это не пройдет, то лопнут легкие, глаза тоже лопнут, брызнут на Кузьку глаза Егоровы битым стеклом...

Егор опустил голову, ждал Кузьку. Дети — грехи наши тяжкие. А мы еще рассуждаем о счастье. Он должен что-то сделать для Кузьки, просто надо что-то делать кому-то, хоть понемножку, по столечко, но делать ведь, делать. Он должен быть ближе к брату, нуждающемуся в его постоянной поддержке, и к этому малышу, ждущему папу, ко всем этим детям. От него тоже ведь что-то зависит. Пусть случай, так бывает не часто, да ведь случается же. В Орле один инженер пошел в школу учителем, кажется, математики. Он, Егор, может быть биологом, по труду, воспитателем просто, может ведь, может...

Директриса оказалась знакомой, работала когда-то в Ярищенской школе, Егор объяснил ей все.

— Что ж, — буравила взглядом Егора она, эта женщина, внешне без единой помарки, как с картинки журнала. — Вообще учитель с производства хорошо, в духе времени. Подыщем что-либо. Заметьте только, работать у нас нелегко. Дети особые, заведение закрытого типа — специнтернат.

Вскоре он оказался в Подполовецком. Бабку Галю свою, мамину мать, Егор не узнал. Вот так живет старый человек, все вроде бы ничего, словно законсервировался, и хоп тебе — ветхость.

— У Кузьки был? Вот молодец, — шамкала совсем пустым ртом бабка Галя. — А мы тут с сестрицей живем — вековуем. Подпираем друг дружку. Все договариваемся, кто кого ногами вперед понесет... Да ты, внучек мой, проходи, проходи. Плоха стала, вблизи вовсе не вижу. Ты как, еще не седой, не седые виски?

— Плоха! Хитра ты, бабка, значит, еще ничего, — перебирал Егор конфеты бабкины — бабкино угощение. — Вишь, сущь мне что: мелочь всякую. А себе назад отгребашь какие поядренее, слаще.

— Да господи! Да забирай ты их все, — захихикала бабка, прикрыв пустой рот ладошкой. — С той зимы тебе берегу.

— Давай так, баб, договоримся, — сказал Егор посерьезнее. — Конфеты пока мы оставим. А то я, как и ты, без зубов останусь, если буду зло-у-пот-реблять, поняла? Чай кипятит, вот так. Что есть в печи — на стол мечи. Не вишь, проголодался.

— Вот дура-то старая! — топталась на месте бабка Галя. — Вот дуреха, совсем из ума выжила. Малый с дороги, а я его конфетками, конфетками. Сейчас, мой внучок, сейчас я тебя накормлю-напою.

И засуетилась, забегала, ожила. А Егор присел на лавку, слышал привычную бабкину воркотню, тарахтенье кастрюлек на кухне, и приятная усталость, сходя на нет, потекла по рукам, по ногам вниз куда-то, в самую землю, соединяя душу и тело его с материком. За сколько времени так: он как дома, и вовсе не бабкин голос доносится с кухни, а молодой чей-то, мамин...

Когда бабка Галя вошла с горячим чайником, Егор уже спал богатырским сном, как спят иногда под утро механизаторы — прямо в борозде, напахавшись в ночную смену по самое горло. Бабка Галя присела рядышком, все глядела, разглядывала внука, пока сном и саму не сморило.

Егор проснулся уже на другой день. Разутый, под одеялом. Раздвинул веки: две бабки, две сестрицы — Галя и Валя — сидели подле него и караулили, когда он очнется. Бабка Галя годом постарше, потому и тут, даже в сестрином доме, верховодит, берет верх.

— Гляди-ка, не спит, — толкнула она бабушку Валю и, наклонясь, стала подставлять Егору под ноги тапочки. — А мы уж и чайник вскипятили, и на стол все выставили.

Егор сидел без рубахи, в майке одной, чаевничал с бабками.

— Как же ты, милоч, с двумя женами-то управляешься? — сквозь очки улыбадась хитро бабка Валя — маленькая, пухленькая такая, на сестру совсем не похожая. — Одну надоть снабдить, чтобы радовалась, и другой надоть, чтобы не обижалась.

— “Надоть”, “снабдить”... Ты бы, сова, помолчала, — не теряла своего главного положения бабка Галя. — Ты, внучек, Миле-то хоть помогаешь? Помогай жене, не обижай.

— Да она сама, кого хочешь обидит, — зевнул спросонок Егор, показав свои ровные, белые зубы. — На алименты подала, хошь не хошь — выдирают. А я бы и сам...

— На алименты! — ахнула бабка Валя. — Вот негодяйка.

— Значит, так надо, — сказала бабка Галя, строжась. — У нее дети... А как с этой-то, со второй, ничего, ладите?

Егор хотел рассказать про письмо полковника госбезопасности, что лежало, грелось сейчас у него в нагрудном кармане, а выпалил вовсе не то:

— Да к Кузьке собрался, берут в интернат учителем. Как вы-то хоть, одобряете? Вот пришел за советом.

— Ох-ох-ох, — всплеснула коротенькими ручками бабка Валя. — Это Бодраков тебя со света сживает, волей своей бы ты не поехал отсюда, нет.

— Бодраков — паразит отпетый, на весь род Тигановский ополчился, — глубоко вздохнула бабка Галя. — Отольются кошке мышкены слезки... Вот что, внучек: коли надо — езжай. Кузька — брат тебе кровный, родной, какой-никакой, а брат.

— Вот грехи свои разом и снимешь, — поддакнула сестре бабка Валя. — Раньше, бывало, нагрешат-нагрешат, а потом отмолят у бога...

— Чего мелешь-то? — одернула сестру бабка Галя. — Кузька у нас, сама знаешь, какой. Кто поможет ему, как не брат, коли отец родил да и бросил?.. Нам вот с бабкой немного осталось, век наш короткий, — сказала бабка Галя совсем серьезно. — А тебе, Егор, жить да жить. Только так живи, чтобы больно быстро не надоело...

— Это жен может быть сразу две, а жизнь-то одна, — вставила бабка Валя. — Как же она надоест?

— Не влипай! — отразила сестрину выходку бабка Галя и закончила свое: — К людям хорошим иди, ищи. Тогда и сам хорош будешь. А то со злобством так назлобствуешься, что не заметишь, как и сам негодяем станешь. Вон Бодраков, он думает...

— Да что Бодраков! Бодраков да Бодраков, — поднялся Егор из-за стола. — Бодраков часто меняет кадры, чтобы держаться. А одернуть его некому. В колхозе я хоть еще говорил поначалу, а теперь вот... еду к Кузьке.

И встал из-за стола, начал собираться в дорогу. Но сначала надо в Орел, в то учреждение к полковнику, что пригласил Егора явиться в “удобное для него (“для кого, интересно?”) время”.

— Гляди там за Кузькой, гляди! — кричали они с порошков, ему напоследок. — И за собой поглядывай, шевели-и-ись!..

Так и остались они навсегда в Егоровой памяти. На крыльце обе бабки, сестры Галя и Валя. Тошая и пухленькая. Кочерыжка кукурузная и колобок.

Егор возвращался в Ярище вчерашней дорогой. Завтра — расчет. Бодраков не станет его задерживать, а зачем? Нет в Ярище для него больше красоты жизни, слишком много ничемной борьбы. В другом месте будет все справедливее.

Петухи пробудили Егора. Едва разомкнул вежды, собирался вставать, чтобы ехать в Алатырь первым автобусом, как в дверь постучали: отец! Намучился за ночь Егор, вообще намучился от одиночества, так тяжело стоять на ногах самому. И уткнулся он в отцово плечо, и все рассказал отцу, как на духу. И про Медведевский лес, про периметр двадцать на сто девяносто, и про то, что земля там сутки спустя еще шевелилась. Про мальчишку, который бежал по городу следом до самой двери...

— А мальчишкой, — глухо выговорил Тиганов Трофим, — что бежал тогда за конвоем, был, как сам понимаешь, я — твой отец!

Тигановы, отец с сыном, подошли к известному зданию на Полесской, отыскивали нужный подъезд. Им выписывали пропуск, и они сидели под цепким, пристальным взглядом дежурного офицера и думали, чем же эти стены отличаются от других. Затем другой дежурный офицер проводил в нужную комнату.

Полковник был краток.

— Все дело Решетовского Константина Сергеевича пока, разумеется, показать не можем. Работает комиссия, разумеется, надо потерпеть... Одним вас могу порадовать: вот этими письмами. Их на наш запрос переслали сюда в наше управление. Я ознакомился с письмами и должен сказать: вы можете гордиться. Действительно, это был хороший отец, большой человек!

И вручил Егору жиденькую такую картонную папочку. “Письма к сыну”, — прочитал Егор написанное от руки расплывающимися печатными буквами.

— Нет, это тебе, — передал он отцу.

Едва вышли наружу, тут же поблизости, на Дворянском гнезде, отыскивали скамейку. Присели и впились в письма. И

строчки дрогнули, растворились, исчезло понятие времени и пространства... Стук-стук-стук! По стволу, по липе сухой, в грудь — в грудь — в грудь. Пестрый дятел, серый дятел, черный дятел — желна. Все вы, дятлы из “ведьминого круга”, все свое, стучаки, отстучали...

Они прочли письма залпом, эти письма Оттуда. Вот они — из “Дела Решетовского”, как из могилы.

“ПИСЬМА К СЫНУ”

(из “Дела Решетовского”)

1937 год

Письмо первое

25 октября,
г. Воронеж

Мой милый малыш!

Все это со мной случилось так неожиданно, жутко, как будто касалось кого-то, а коснулось меня, моей семьи. И вот сходит дурной сон, день ото дня спадает оцепенение, я могу уже рассуждать... Меня судило ОСО (Особое Совещание), по литерной статье НППГ (нелегальный переход государственной границы), дали “десятку”. Один вертухай (уже в тюрьме надзиратель) сказал как-то: “десятка” — это тебе ни за что, виновным дают двадцать пять или ту же “десятку”, но без права переписки...

Мой мальчик!

Помню, как ты бежал за мной по Орлу, по Тургеневской улице, когда они вели меня туда к себе, к этой печально известной двери. Эту дверь здания НКВД — на углу Тургенева и Салтыкова-Щедрина — должны знать все. В нее только входят, но никто уже никогда не выйдет оттуда. Там, в подвале, проводят допросы. А всего в нескольких метрах отсюда, через дорогу, стоял и спокойно взирал на все это дом, где родился Тургенев — великий гуманист... Помнишь, я обернулся и сделал тебе знак рукой — вверх сжатый кулак, как делают это, когда хотят поддержать (вымарано)...

Вижу, как мама склоняется над постелькой твоей, и слезы каплют тебе на лицо. Ты слушаешь ее колыбельные, в них столько тепла, человечности. Тебе предстоят испытания, и нужно светлое мужество, кому-то все будет можно, тебе же, мой малыш, очень многое будет нельзя. Прости...

Я вырос в деревне, батрачил. По Брестскому миру граница проходила в километре, и я оказался в “Польше”, в каких-ни-

будь двух-трех километрах западнее Минска. Я подходил к околице и смотрел теперь уже за "кордон": там была вся страна, власть народа, там была революция, были братья. Являлись люди из-за "кордона", приносили газеты, я один из всей деревни умел читать. И вот однажды я бросил коров и ушел к своим братьям, к революции.

Прежде чем подступиться к книгам, учить чему-то других, я сам учился всему. В Брянске я строил Дом Советов, в Воронеже — элеватор, завод имени Коминтерна. Как я работал — спроси у мамы, она покажет тебе фотографию, где нас, ударников — лучших строителей, сняли вместе со "всесоюзным старостой".

Все время думаю о тебе, твоей жизни. Тебе надо брать только Добром, только знаниями, человечностью, лишь это откроет тебе пути. Я буду давать тебе отсюда советы — уроки, пересказывать по возможности то, что взял сам из прочитанного, что сам прожил и пережил.

Вот первый тебе мой завет: займись Историей, отдай все силы ей и внимание. Помни: польза ее — в примерах людей, что были до нас. Как зерна от плевелов, поколения отделяют Добро от Пороков. История ведет нас к вершинам, за которыми — Добро и Любовь. История дает примеры, смотрите, как еще при жизни порой чтят человека за всенародную пользу.

Сколько людей благородных, великих духом в отечественной да и всемирной Истории. Книжки рассказывают, как правители Древнего Рима оставляли свой плуг, чтобы возглавить армию, а после победы опять возвращались к пашне и доживали свой век в скромном уединении, почитаемые людьми. Зато Юлий Цезарь, вечно жаждавший славы, сказавший, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе, стоял как-то перед статуей Александра Великого и даже плакал, сравнивая с ним себя, насколько у того в его тридцать лет славы было больше, чем у него, Юлия, в его уже преклонные годы. А вот император Нерон сжег "вечный город" только затем, чтобы насладиться пожаром.

Перечень можно продолжить, но, я думаю, когда подрастешь, ты это лучше сделаешь сам. А для этого надо учиться, ты должен знать гораздо больше, чем твои сверстники, чтобы иметь доброе имя, чтобы с тобой дружили, не убежали. Ты не имеешь права быть невеждой, невежда достоин презрения, от него мало пользы людям, он плохой гражданин страны, и это тем более не для нашей семьи.

Обрати внимание на свой русский язык. Родной язык надо знать даже лучше, чем что бы то ни было. Это наше самое большое богатство, национальное достояние, мы должны его

передать в расцвете от отца к сыну и дальше, чтобы он никогда не кончился, у него не может быть смерти, он бессмертен, люди не могут жить молча, без речи, ты меня понимаешь?

Не давай плакать маме, бедная мама. Спасибо ей, что принесла передачу. Теплые носки пригодились. Прощай, сын.

Иван, твой отец.

Письмо второе

7 ноября,
г. Воронеж

Мой малыш, мой маленький мальчик!

День праздничный, в городе теперь вывесили флаги. Мама уже привыкла, должно быть, не плачет; как говорится, Москва слезам не верит. Ты, сын, отныне мой заместитель, не давай маме плакать, не огорчай хоть ты нашу маму. Я очень беспокоюсь за вас, вы теперь у меня “Че-эСы” (члены семьи “врага народа”), вам отсюда куда-нибудь надо уехать. В камере нас битьмя набито. Встретились еще двое таких же, как я, — коммунисты. Держимся вместе, верим, что это трагическая ошибка, и нас скоро освободят. Это устроили нам те, кто вскорости сами займут наши места. Ведь это, если подумать, подрыв всего нашего строя и государства. С кем они останутся, с кем возводить будут светлое будущее?..

Мой мальчик! Сегодня увидел картину за спиной одного человека и понял вдруг, как она плохо написана. Почему же висит такая, а где же хорошие? А хороших нет по двум причинам. Во-первых, человек, за спиной которого эта картина, не имеет понятия, что она плохая, думает, что хорошая. Во-вторых, тот, кто ее писал, допустим, и понимает, что такое хорошо, да не может работать лучше. Он не умеет, он не мастер. Нет большей беды для человека, чем та, когда он делает не свое дело и потому не может достичь совершенства. И тогда что только не применяется, чтобы скрыть все это.

А здесь солнце и идет дождь, слепой дождь.

Я к тому, чтобы ты знал: как берегут честь смолоду, так смолоду и выбирают дорогу. Надо идти по своей дороге — не по чужой, и тогда ты будешь идти с удовольствием, это великое счастье, сынок, идти по своему пути с удовольствием. Станешь в жизни дельным плотником, слесарем — хорошо, я читал про одного графа в старой России, который в подвале своего дворца держал слесарный инструмент, и страстью графа было реставрировать хитроумные часы, изготавливать из дерева новые. Станешь конюхом, агрономом, механи-

ком — тоже неплохо. Я знавал одного мальчика, он с детства мечтал плавать на подводной лодке, как капитан Немо на “Наутилусе”, но не стал капитаном, потому что не был настойчив в достижении своей цели, не был достаточно честолюбив.

Здесь солнце, солнце, и идет дождь.

Предположим, у тебя рано проявились способности к строительству, ты пошел по стопам отца, но эти способности надо еще защитить. И вот небольшая история. Вышли мы однажды во двор, ты у меня на руках, малыш. А во дворе под грибком — песочница. А в песочнице — два таких же почти, как ты, чуть постарше, в таком возрасте, когда едва начинают ходить. И что же мы, сынок, с тобой видим? Один малыш строит из сырого песка дом, сразу видать — создатель, а другой — хочет тот дом затоптать. Этот лезет — стопчу, мол, и все, даже в слезы. А тот не пускает — не стопчешь, не дам, я построил.. Так вот, на кого бы из них ты, сынок, хотел быть похожим?

Вот ты выбрал дело свое по себе. Подумай, сколько сил, времени, средств ты спасешь у людей.

Будь внимателен к людям. Невежливо, например, оставить без внимания вопрос, обращенный к тебе, отвлечься на что-то другое, когда с тобой говорят, бесцеремонно занимать лучшее место в комнате или в гостях набрасываться на еду. Не стыдись своей вежливости, часто ее отсутствие переходит в грубость. К сожалению, грубость в наши дни считается одним из главных признаков естественного человека. Воспитанный же человек не стал бы держаться так, будто он пуп земли и рядом никого нет.

И все же картина за спиной у него никуда.

А когда станешь большим, не обижай животных. Это нехорошо, ведь животное не может дать сдачи. Это унижает прежде всего как человека тебя. “И зверье, как наших братьев меньших, никогда не бил по голове”. Мы втроем верим, что все это ненадолго. Люди поймут, народ образумится. Прощай.

Иван, твой отец.

Письмо третье

5 декабря,
г. Воронеж

Мой мальчик, малыш!

Мне хочется, чтобы у тебя было все хорошо и в жизни твоей был успех. Правда, дети не всегда идут по стопам отцов, но, если уж идут, они должны учитывать их опыт, не по-

вторять того, что мешало отцам. Нас перебрасывают из камеры в камеру, нас становится все больше, готовится скорее всего этап. Такое впечатление, что хватают в любой момент любого на улице...

С мальчишества для меня, деревенского пастушка, почти единственным обществом были долгое время коровы. С коровами не очень-то поговоришь о своем поведении, о дурных словах и привычках, о своей неуклюжести. Сверстники иногда тыкали в меня пальцем и хохотали, когда я попадал впросак.

И вот я повзрослел, стал кое-что понимать. И быстрее постигать мне помогали книги. Я научился читать, когда еще стерег стадо. Я понял, что это совсем не пустяк уметь вести себя среди людей. Я был тогда неуклюж, "пехтерь", что называется. Стоило мне войти к кому-нибудь в дом, как я тут же цеплялся за половик и чуть ли не падал. Стоило меня посадить за стол, как я упускал ложку, нагнул за ложкой — перекинул чашку, облил штаны. Стоило потянуться за шапкой на вешалке, как из рук вываливался кнут. Но это еще что! А вот есть прилично до сих пор так и не научился, все с ножа ем, того и гляди, обрежешь язык. Или ковыряю вилкой в зубах. Или могу нечаянно вылить чай на соседа, хоть ни с кем не садись. И сам чувствую, что соплю, делаю на лице бог знает что, сморкаюсь, так что все кругом отворачиваются, а поделаться с собой ничего не могу. Руки длинные, ниже колен, не знаю, куда их приткнуть. Хохол на затылке торчит. Даже одежду хорошую с той поры, как стали жить в городе и зарабатывать, не могу носить так, чтобы где-нибудь что-нибудь не испачкалось.

Говорю все это для чего тебе? Если все это передается тебе по наследству, чтобы ты знал: люди смотрят и думают, если уж сам человек себя обиходить не может, то как же можно иметь с таким человеком дело. Значит, надо с собой бороться. Приглядывайся, как оно у людей.

А уж с речью и того хуже было. И откуда столько словечек и выражений? Как репы цеплялись, так что колом из меня, бывало, не вышибешь. Слово какое-нибудь так исковеркаешь или сунешь надоевшую всем половицу. Вот таким, сынок, был твой отец, пока всерьез за себя не взялся. На рабфак стал ходить, учиться, где с твоей мамой и познакомился.

А уж мама-то в первое время от меня как шарахалась, людям боялась показывать. А потом взялась выбивать из меня дурь. Вместе, бывало, сидим по ночам за книжками, все чего-то хотели, к чему-то стремились. Мне, конечно, мечталось стать инженером-строителем, дома и заводы самому проектировать, а маме — врачом.

И солнце здесь, и дождик все льет.

Так вот, глупости у меня были от недостатка внимания, от несосредоточенности. Таких в деревне называют не только "пехтерь", но еще и "тюха-матюха", особенно когда брат с братом или отец с сыном. А чтобы этого не случилось, умей, сынок, сразу во всем разобраться. Зашел в комнату — осмотришь, с кем имеешь дело, что можно говорить, а что подождет, не к спеху. Рассеянного же могут счесть за дурака, как приклеют, так и будешь нести свой крест, хотя ты давно уже от тех недостатков отделаешься.

Я все это тебе говорю, чтобы ты делал успехи. Ты — надежда моя, всей семьи, без тебя и не знал бы, для чего и живу. Учись всему вместе с мамой, мама у нас одна. Все смешалось в моей голове: правда — не правда, зло и добро, день и ночь. Все думаю о вас, лишь вы не дадите пропасть. Ночью в соседней камере повесился человек... Прощай.

Иван, твой отец.

1938 год

Письмо четвертое

24 июня,
о. Соловки

Мой малыш, милый мой мальчик!

Вот мы и здесь, на главном острове, обжитом когда-то монахами. Работаем. Какая еда, такая и работа. Какая работа, такая тебе и еда. А солнце и здесь, льют дожди. Картина другая, но художник все тот же. Дунет ветер — сразу холодно, ведь Север, а пишу тебе — все вокруг вроде как посветлело.

В прошлом письме я рассказывал тебе о том, что не могу отделаться от привычек, которые вредят мне до сих пор. Хотя бы об умении говорить. Каково человеку слышать, как кто-то, рассказывая, тянет, сбивается, где-нибудь посерединке заткнется, смущенно признается, что все позабыл. Если уж взялся, так говори четко, ясно, а то лучше посиди, помолчи. А то я всего насмотрелся. Один кричит, как будто перед ним глухая стена или целая площадь народу, а другой выдавливает из себя до того тихо, будто перед ним вовсе нет человека.

А правду говорить надо, правдивость — мерило нравственности, первейшее ее качество. Если уж человек врет на каждом шагу, чего от него ожидать. От тех, кто не говорит правды, происходит ложь, а на лжи вырастает насилие. Ложь порождается злобой и трусостью. И, если кто-то наговорил кому-то с целью повредить его доброму имени, будь уверен, в конце концов это выйдет наружу.

И еще одно проявление лжи — ложь историков. Это у них — от тщеславия, от желания кого-то прославить и самому примазаться, дескать, и мы пахали. Одна женщина попала сюда за то, что шла по городу и стала свидетелем, как от тюрьмы провезли на телеге трупы — руки и ноги волоклись по пыли. Спросили: “Видела?” — “Нет”, — ответила. На всякий случай дали “десятку”, и сюда. А если бы видела, расстреляли...

Подрастешь, сынок, — станешь юношей, а юноши крайне искренни, простосердечны. Стоит какому-нибудь интригану оказать тебе знаки внимания, как ты способен ответить ему опрометчивым, безмерным доверием, что может тебя погубить. Умей выбирать настоящих друзей. Подлинная дружба там, где люди годами, поступками доказали ее. Старайся избегать интриганов, плутов, но и не делай из них врагов. Но, коли так сложится, что тебе надо будет завоевать что-то расположение, постарайся найти в человеке его главное достоинство и главную слабость, учитывая их в своих отношениях. Маленькая, но существенная хитрость: на каком-то поприще человек считает, что он превзошел любого. Ну и пусть так считает, не разуверяй его. Но в том-то и дело, что больше ему льстит одобрение в том, где он хотел бы преуспеть, да не уверен, хорошо ли у него получается. Так, например, кардиналу Ришелье, безусловно, выдающемуся государственному деятелю, льстило, когда ему расточали похвалы еще и как поэту. Втайне завидуя великому Корнелию, он дал команду раскритиковать “Сида”. Сколько вокруг таких “ришелье”...

Постарайся войти в круг, создать такой кружок друзей, каждый из которых, имея свои достоинства, был бы в чем-то выше тебя. Тогда и ты будешь все время расти, подниматься, а не опускаться.

Я все это для чего тебе говорю, чтобы ты понимал, что в жизни все движется не только по поверхности, но и изнутри. Я читал про все это в книжках. А когда живу на свете, думаю, соединяю прочитанное когда-то со своими размышлениями. Я желаю тебе, мой сын, лучшей доли, чем выпала мне.

Клопяной бокс — это шкаф из досок. В абсолютной темноте на тебя сразу набрасываются отовсюду клопы, эти палачи. Стоишь запертый, как статуя, некуда шевельнуться, так распрямляют тебя, твои “горбы” выправляют...

Важно понять, может быть, самое главное: относиться к людям надо лучше, чем даже к самому себе. И особенно к слабым, больным, беспомощным, не умеющим что-то делать, в чем-то ошибающимся, но честным и правдивым. Поможешь им, таким людям, и тогда многое в мире изменится, жизнь

после нас останется куда лучше, чем нам ее передали... Дорогой, многоуважаемый "шкаф"! Я не приветствую твое существование, потому что лучше не жить стоя, чем сидеть на коленях...

И солнце светит, и дождь идет.

Большой привет маме, обними ее за меня. Прощай.

Иван, твой отец.

Письмо пятое

Октябрь,
там же, СТОН

Дорогой мой, хороший!

Какая же красота этот остров! Чудо природы среди Белого моря. Здесь не иссякает дыхание заполярного Севера и в то же время попадают такие "перлы" южных морей, как водоросли. Сколько сил и энергии отдано новгородцами, всеми освоению русского Севера. Насилием того бы не сделали, что совершили: кремль у Святого озера, циклопические камни в крепостной стене, в дамбе, соединяющей острова. Гора Секирная кажется насыпной. Говорят, Горький, побывав здесь, видел все это своими глазами. И это ожерелье лесных озер, голубое в зеленом, в белой кипени берег... Монахи соединили эти озера каналами, в любую часть острова можно провести посуху, "аки морем", любые грузы. Они создали мелководные садки с рыбой. Госкуя, вероятно, по своей "малой родине" — благодатным южнорусским местам — развели ботанический сад с яблонями, вишнями, сливами. Столько всего рукотворного: с горы Секирной вниз спиной 365 ступенек... сколько под ними рыхлой земли...

Клюква спасает, такая чудесная ягода кое-где по болотинам, в сходе осени подарок судьбы — эти капли стынувшей крови. Отчего я еще жив? Почему не кончают с собой другие? И в них зреет, наверно, убеждение в своей правоте. Пережили когда-то татарское иго, переживем и это. Вернемся — будем строить новую жизнь, лучше этой.

Мой мальчик, мне хочется, чтобы на примере этого "острова сокровищ" ты сделал для себя кое-какие выводы. Во-первых, не так уж хорошо вторгаться в естественную природу вещей, в природе все отлажено миллионами лет эволюции и покорять ее слишком часто наносить ей непоправимые раны, оставлять после себя шрамы, которые не затянутся временем. Железной рукой к счастью не приведешь. Во-вторых, остров этот дает пример отзывчивости, стойкости, жизнеспособности. Присутствие где-то Гольф-

стрима, его дыхание на Белом море, и нате вам: этот климат, эти водоросли, бывшие монашеские огороды, и это не смотря на то, что в любой миг из Заполярья может нагрязнуть пурга. Жизнь полна неожиданностей, но неожиданности не так уж и неожиданны для того, кто стоит на обеих ногах, кто имеет собственный взгляд на вещи, готовит себя к любым испытаниям. Запомни, мой мальчик: по голове нельзя бить не только зверье, но также и землю, она ведь еще молчаливее, чем наши меньшие братья, и все же, все же не сразу, но может отомстить.

Кстати, вспомнилась притча. “Кто сильнее?” — заспорили Солнце и Ветер. — “Я, конечно! — взвился Ветер. — Я могу превратиться в Ураган и тогда разрушу самый большой дом и потоплю самый большой корабль”. — “А я, наоборот, дарую людям Жизнь!” — гордо ответило Солнце. Как быть? И Земля рассудила так: “Силу вашу проверим на человеке в пути: кто разденет его, тот и сильнее”. Налетел Ветер — зябко, Путник только крепче кутается, угнулся, идет. Выглянуло Солнышко, и Путник повеселел, снял пиджак, улыбнулся Солнцу. И засмеялась Земля...”

Мы все тут ходим без пиджаков, но Земля не смеется. И еще один такой урок дает этот остров — урок одиночества. Ты — человек, ты сам среди Белого моря, а материк далеко. И вот тобой овладевает отчаяние: “Я боюсь, я сражаюсь, но море есть море, оно отделяет меня от всех, все от меня далеко, и я ничего не могу, не умею, у меня ничего не получается. Как же впрямь свои мысли, свою бурю в работу? И вот ты видишь корабль, и он пристает к твоему острову, и люди сходят с него на твой берег, и ты вместе с ними, вы вместе делаете одно общее дело. И ты начинаешь вдруг понимать, что море не разъединяет, наоборот, соединяет твой остров с другим островом, с еще чьим-то берегом, материком, со всем миром, и ты уже не песчинка, не остров, ты сам материк. Так вот почему здесь живут такие же водоросли, как и те ламинарии, что и где-то в заливе Посьет. И цветет бело-розовым майским цветом та же яблоня Палласа в бывшем саду архимандрита, как и у нас где-нибудь под Воронежом...

Сын мой, никогда не ссорься с землей. Если будешь дружить с ней, будешь дружить и с людьми. Это — главный урок.

Я, кажется, становлюсь философом. Что делать, в размышлениях прохожу с тобой академией и сам всему здесь учусь. Не знаю, жить после этого легче ли, но мысли нужны, они как прорези, как в небе просветы, как дыханию кислород, мне от этого легче, иначе сойдеешь с ума.

Чаще советуйся с мамой. Во всем, что касается дома, она — голова. Прощай.

Иван, твой отец,

Письмо шестое

конец октября,
там же

Мой сын, мой дорогой!

Заметил, разговариваю с тобой, как с самим собой. Сынок, как ты думаешь, если монахи верили в бога и тем были счастливы, это им помогало? Смотрю на огромные, циклопические камни, перевезенные на другой конец острова, и размышляю, когда это возможно: Человек, наверно, тем и выделяется из мира животных, что все-таки размышляет, уж этого у него не отнять. И все мысли мои у стен монастыря упираются в веру. Если бы не верили, кремль — махину такую разве бы взгромоздили? А поморы на своих утлых суденышках разве могли бы ходить в такое студеное море? Когда есть вера, не нужна сила. Заставлять человека не надо, он сам...

Иногда мной овладевает страх. Наше жилье — барак широкий, а потолок низкий, бревенчатый, того и гляди, расплющит. Это я побывал в стоячем карцере с “жердочкой”. Это когда сидишь на палке, как петух, сутки — вторые — третьи. Без опоры, без сна, вот-вот упадешь. А вертухай орет: “Глаза таращь, сука! Не дозволено спать...” И вот такой страх равен ощущению смерти. С этим надо бороться, и я борюсь, как могу. В конце концов смерть — это что? Смена одного другим, чередование, бесконечность, как приход и уход солнца, перемещение планет. И, если это не утешает, страх перед вечностью не отступит. В таком случае надо что-то другое, и я продолжаю думать, искать. Смерть — почему она в народных поверьях с косой, с пучком ржи на голове, гремит костями? Да все потому, что она из жизни, одна из форм проявления жизни. И, поняв это, ты поднимаешь голову, и Смерть становится проще, обычнее — под каждым деревом, за каждой сосной. Упало дерево и стволom мне... (зачеркнуто).

И это еще не конец. Страх унижает человека, парализует волю. Из страха не построишь стеклянный дворец, где бы Путник мог снять свой пиджак. От Страхa Вера становится маленькой, человек — с зайчика, хоп, и накрыли шапкой... Ах, сынок, не дай разгуляться лени! Лежу и думаю, думаю. Из мгновений соединяется Время, из которого можно извлечь пользу, она доставит тебе куда больше удовольствия, чем то,

что принесла бы лень. Нам лениться нельзя, нам надо столько всего переделать. О работе мы больше говорим, вроде себя уговариваем, чем умеем работать.

Чем бы ты, сын, ни занимался, делай любое дело старательно, не кое-как. Помни: впереди время умных, умелых и смелых... (зачеркнуто).

Не так давно удалось побывать возле нашего, островного кремля. Храмины, сотворенные с таким совершенством, среди безмолвных пространств! Как же всего этого люди сумели достичь? И поневоле рождается мысль: а как там сейчас у них в аравийской пустыне? Или же в Индии, в джунглях Южной Америки? Во что люди там верят или заблуждаются искренне? Что движет ими, когда они берутся за книгу или за топор? Царь-колокол при пожаре упал, ударился оземь, дал трещину, и всем доныне видна та великая трещина, полученная естественным образом.

Мы изгоняем религию, взамен рожаем свои (зачеркнуто). У Свифта в его "Гулливере" тупоконечные сражались с остроконечными по столь ничтожному поводу: как разбивать яйца, с чего — спереди или сзади? Помнится, мы с приятелем чистили картошку. На всех огромный котел. Этот "крах-мал" всех нас когда-нибудь съест. Так приятель мой уверял, что картошку надо сначала чистить, а потом мыть уже. А я отстаивал обратную точку зрения.

Вы с мамой обо мне не беспокойтесь, со мной все нормально, как вы? А тут у нас, как всегда, светит солнце и идет дождь. Прощай, сын.

Иван, твой отец.

1939 - 1940 годы

Письмо седьмое

24 июня,
Каргополь, карлаг

Мальчик мой, сын!

Человек иногда попадает в такие обстоятельства, о которых прежде и подумать не мог. Брянск, где строил я Дом Советов, и Каргополь, под которым валю сейчас лес, оказывается, родня. Брянск — от Дебрянска, дебрей, а Каргополь — от карги, коряги, все это дебри российские. Что за чудо: "я" — одно слово, а "мы" — другое, а если они вместе? Мне, наверное, следует быть аккуратнее, подшивать себе подворотничок, как это делает мой товарищ по нарам (зачеркнуто).

И солнце здесь, и по-прежнему дождь.

Сын мой, я оставил дома тебе библиотеку — “сто лучших книг”. Покупал за последние деньги, отыскивал где-нибудь в развале частенько, в чулане, на потолке. Когда появлялась сто первая, я перечитывал книги свои заново, сравнивал, размышлял, прежде чем изъять какую-нибудь и на ее место поставить находку. Ты продолжишь начатое, будешь заменять мои книги своими, и, может быть, так случится, что от тех, первых моих книг ничего не останется. И все равно, я знаю, их всегда будет сто — сто твоих лучших друзей.

Не думай, что читать — это значит засесть за книгу и глотать за страницей страницу, с утра до вечера, ночи напролет, ничего не видя вокруг. Читать — это тоже наука. Я знавал одного человека: знания на нем висели, как игрушки на елке. Много знаний, много игрушек. Но, обладая ими, он не мог оценить человека, картины, понять, что плохо, а что хорошо, не умел проникнуть в суть вещей, слить воедино две мысли и вывести третью.

И вот в чьих-то руках он увидел книгу — редкую, какой не было в его библиотеке. Ни одна, ни другая, ни третья попытка — ни обман, ни тем более деньги — не помогли. Человеку книга нужна была самому. Страсть захватила собирателя, он стал плохо спать, у него пропал аппетит. Узнав про это, обладатель редкостной книги пришел к нему и принес ее в дар. Собиратель спал снова спокойно, видя книгу стоящей у себя на полке. А подаривший эту редкую книгу стал приходить к нему, чтобы только ее подержать в руках.

Мне хочется, чтобы одной из первых прочитанных тобой книг стала, как когда-то и у меня, книга о Доне Кихоте. Это особая книга. Я купил ее на базаре в голодный год у одной старой женщины. Ее называли люди “Иголкина”, потому, наверное, что она жила тем, что шила людям одежду. Но в голодное время было не до шитья, и она принесла на базар единственно ценную для себя вещь — эту книгу, когда этой женщине вовсе стало невмозготу. “Сынок, — сказала она, — я отдаю тебе свою душу. Мне книгу завещала бабушка. Как видишь, я не накопила с ней ничего, кроме одного: она дала мне понять, что я прожила честную жизнь...”

И когда я узнал, что Иголкина выносила на базар книгу, чтобы купить хлеба своей умирающей сестре, когда прочитал эту книгу, мне стало стыдно. И я принес эту книгу, “Дона Кихота”, обратно со своей коркой хлеба. Но Иголкина уже умерла.

Когда нас перевозили, после выгрузки на станции, прямо за вагонами, поставили нас на колени. Это от побега. А как для молитвы. И тут подошел еще один эшелон от Москвы. И этих выгрузили и поставили так же. Слышно было, как их

окликали и тут же зачитывали приговор: кому сколько...

А в это письмо тебе я вложил и письмо маме. А потом прочитал его и порвал. Передай ей на словах все мои советы и пожелания, а главный — беречь себя, а значит, мой сын, и тебя. Маме надо писать как полегче, приукрасить немножко, бедная мама. Мне на лесоповале маленько упало на ногу дерево, и я немножко лежу. Зато появилось больше возможности думать. Здесь вообще-то хорошо думается, когда плохо спится.

Да, солнце, конечно, а дождь льет и льет.

Начинай, сынок, помогать маме, делай что-нибудь по хозяйству, ты же мужчина. Прощай.

Иван, твой отец,

Письмо восьмое

без даты,
там же

Мальчик, друг мой дорогой!

В прошлом письме я забыл описать обстановку. Это — место, где провел последние свои годы всем известный Болотников. Место как раз по фамилии. Простора сколько угодно, в руках пилы и топоры, — вот и все. Да еще вода сверху и снизу, а так все хорошо, куда лучше. Только я все лежу. Где-то в Европе идет, говорят, война, и это страшно.

Болотников не дошел до Москвы. А вот Пугачева довели до Лобного места. Он прельщал людей “прелестными письмами”, хорошим царем. Помню, в нашей деревне бабка открыла сундук, а на крышке изнутри Николай (зачеркнуто). “Зачем он тебе? — спрашиваю. — Его уже нет и не будет”. — “Не будет, — согласилась бабка. — А ежели внук?” — “И у внука не будет, разве не знаешь?” — “Знаю, — вздохнула старая. — А все как-то не верится”.

Не знаю, сколько осталось во мне человека. И все же хочется выжить, чтобы посмотреть, что же все-таки мы построим, какой у нас получится коммунизм (зачеркнуто), посмотреть на всех нас как бы со стороны...

Сильный никогда не скажет себе: все кончено, положение безвыходно, я проиграл. В самой сложной, тупиковой ситуации он ищет выход и часто находит. Предчувствуя даже Смерть, он стремится передать самого себя другим, обреченным жить, и видит в этом продолжение своей собственной жизни.

А я насмотрелся таких, которые готовы отказаться от всего, что было им свято: от веры, детей своих, своего доброго имени. Но для чего тогда жить? Просто исполнить свой биологический долг и отойти в мир иной спокойно, без фокусов?

Слабые умы обычно ленивы с детства. Праздный ум не утруждает себя желанием углубиться в суть вещей, катит себя по поверхности, так ведь легче. У таких людей, заметь, слишком развит один из главных рефлексов человеческой особи — рефлекс экономии сил. Волк за зайцем не побежит по дуге: гонит его напрямую.

Я тебе уже говорил, что знания, добытые без затрат ума, больше похожи на елочные игрушки, навешаны на человека, словно на новогоднюю елку. В то же время трудолюбивый, настойчивый, мобилизуя всего себя, всякий раз подвигается вперед и ввысь, и нет предела ему — перед ним бесконечность.

Помню однажды я пришел в картинную галерею. Для меня тогда, вчерашнего пастушка, все картины были одинаковы. Приметил, один человек подолгу стоит перед некоторыми из них, мимо других пробегает. “Как вы отличаете хорошее от плохого, талантливое от бездарного?” — “О! — засмеялся человек. — Это просто. Все на Земле имеет энергию, электричество. Сколько энергии сумел сжать до взрыва в себе Художник и заключить ее в полотне, музыкальной фразе, поэтической строке — вот что важно! Он, Художник, в картине своей — передатчик, источник энергии, а я, зритель, — приемник. Мы с ним в паре, я принимаю его электричество, у нас диалог.

Заметь, сын, электричество ленивые не вырабатывают. Электричество производят только трудолюбивые, сильные духом, люди веры. Вот как я понимаю, сынок, электрификацию всей страны.

Поцелуй за меня нашу маму. Прощай.

Иван, твой отец.

Письмо девятое

осень,
там же

Сын, друг мой дорогой!

В тот раз я говорил тебе о природе таланта, связанной с электроэнергией. Сейчас размышления подвели меня вот к чему. А прогресс, сынок, разве не та же энергия, но только вложенная людьми в развитие общества? Разве от количества человеческой энергии и, естественно, ее качества не зависит прогресс?

У моего товарища по нарам одна мечта: вволю наестся черняшки (черного хлеба), а там была не была, можно отдать и концы. Я с себя не спускаю вожжи, выжить хочу! Вот и думаю, думаю, думаю...

Как, на мой взгляд, по одному и тому же поводу рассужда-

ет личность. Тот же Болотников. Страна тогда оказалась в критическом положении. Болотников был фигурой, его признавали в народе. Однако максималистам этого было мало. Они собирали массы, понятно, кто собирает народ, тот его и возбуждает. Чаша переплеснулась, люди взялись за косы, и Болотникову ничего не оставалось, как возглавить восстание. И вот результат: максималисты в стороне, а Болотникова упекают в болота, в эти леса...

Я делаю вывод из собственных наблюдений. Когда большие массы сходятся вместе — на стадионе, стройке, манифестации, на каком-нибудь острове (зачеркнуто), они подогревают друг друга, а это чревато. Врозь люди спокойны, разумны, сойдясь же вместе, способны порой на все. Если же цели, поставленные вожаком, их не удовлетворяют, толпа сама найдет себе, чем заняться. Поэтому главарю надо быть осторожнее, возбуждая массы, эти массы сбросят с коня и его. Европа воюет — это то, что сделали с ней демагоги, втянув народы в войну, чтобы спастись самим. Это цепь еще от той мировой войны, усталость от революций. Выходит, чем больше людей собирается вместе, чем мощнее толпа, тем меньше у нее остается здравого смысла. Толпа готова сжечь Жанну д'Арк, утопить в крови старца или младенца, чтобы когда-либо после пролить в раскаянье море слез... Так или в основном так оценивают ситуацию лидеры, те, которые сверху и которых несет в общем потоке до тех пор, пока они не овладеют опять ситуацией...

Снизу, из этой толпы, на то же самое смотрят, по-моему, иначе, по-своему. Главное — чтобы конь скакал, не упустить свой шанс, ловить рыбку в мутной воде, пока она ловится. Это очень далеко от идеалов, на это рассчитывают фашисты. Сын мой, умеи отделять ложное от настоящего. За годы жизни мы ко всему привыкаем, вернее, нас ко всему приучают. К хорошему хорошо, к плохому — плохо, хотя это кому-то, может, и выгодно. Когда в Москве проходим по Каменному мосту через Москву-реку, мы все поневоле поворачиваем головы и смотрим на Кремль-красавец, мы привыкли, чтобы на Спасской башне всегда горел яркий рубин. Это — хорошо. А вот к иным нехорошим приметам своего времени мы порой так привыкаем, что попросту не замечаем их. И только удивляемся фактам Истории: как это древние могли поступить таким образом, где был их здравый смысл, прозорливость, совесть и прочее? Древнеримский Калигула поражал современников всякими сумасбродствами. Его выходки были притчей во языцех. И потому, когда он, диктатор, в благородном сенате произвел коня в сенаторы, это уже никого

не удивило. За века мы насмотрелись “калигуловых коней” предостаточно и еще, наверно, насмотримся.

Из этого вытекает, может, самое важное: иметь свой собственный взгляд на вещи. А то ведь куда чаще обходимся чужими, расхожими мыслями вместо того, чтобы путем неустанной работы ума и сердца приобретать свои. Сын, ты себе не можешь представить, сколько людей, ведь не обиженных от природы умом и талантом, так и не расцветают, доживают свой век в заблуждениях и спячке.

Надеюсь, письма мои побудят тебя самому во всем разобраться, занять собственные суждения. Мама пишет, что послала посылку, но она не дошла (зачеркнуто). Я, наверно, скоро помру. Надкусил хлеб вчера, а где зубы — кровь, это цинга. Вчера зарыли соседа, что лежал надо мной на нарах. Слава богу, над нами теперь не каплет...

Береги нашу маму, она у нас одна, другой у нас с тобой нет и не будет. Прощай.

Иван, твой отец,

1941 год

Письмо десятое

1 мая,
Каргополь, карлаг

Дорогой мой друг!

Мама ехала сюда, везла передачу, мучилась, а дали свиданку всего на два часа. А как мама уехала, так тут же все растащили, отобрали. Лучше бы она не приезжала. Хорошо еще, что вы избежали судьбы других “че-эСов” (членов семьи), хоть и вывели из Воронежа в 24 часа, и Орловщина вас приютила...

Сегодня первомайский праздник. Время идет, а мало что в нашем лесу меняется. Сосны, как и при Болотникове, по ложьки в рыжей воде.

Но солнце, все солнце; по-прежнему и дождь, дождь.

Мы знаем тут у себя, Европа вся под ружьем. Все в мире напряжено. А тут “на Шипке все спокойно”. Ночью мне снятся кошмары. И все одно: как будто вы с мамой бредете обратно отсюда болотной бесконечной дорогой, и люди по грудь в воде бредут вместе с вами, много людей, как будто поднялся целый народ. И ты уже устал, ты просишься к маме на ручки. “На ручки!” — кричишь ты. А сзади, в затылок, заходят какие-то самолеты, кладут на дорогу тень... В войну беда не бывает своя у каждого, в войну беда бывает на всех одна.

Война в мире и мир в войне. Как выдержать это, пройти

через это? В войну, говорят, все средства хороши, особенно в целях самообороны. Война, говорят, возбуждает умы, движет технический прогресс — не знаю. Но то, что опускает общество нравственно — это чувствую точно. Из игры война давно уже превращена в средство уничтожения народов, и в этом смысле самая страшная из всех войн, которые знало когда-либо человечество, — война, конечно, гражданская. Это — когда народ уничтожает самого себя, так получается, русских. Мы привыкли к слову “война”, произносим его с удивительной легкостью, ни чуть не задумываясь, подобно тому, как римляне принимали “коня Калигулы”, произведенного в сенаторы, как нечто само собой разумеющееся. Мы уже не вникаем в изначальный смысл этого слова, за которым стоит, как и прежде, “заговор императоров”, решившихся за счет народов устроить свои дела.

И только одна из всех войн, действительно, священна — в защиту Отечества. Тут уж, сын мой, все обиды в сторону, все разногласия в сторону, речь идет о сохранении не только тебя, твоей семьи, но и твоего народа. Сколько их — гуннов, скифов, сарматов — сгнуло, исчезло с лица земли, вычеркнуто Историей. Несмотря ни на что, знаю, ты растешь, ты вырастешь, сын, Патриотом.

Да, сын, еще одно наблюдение. О секретах и тайнах. Секреты, как правило, — бытовые, частного характера, они обычно недолговечны. И перестают быть секретами, как только кто-то кому-то их рассказал, и ведь секрет передается из уст в уста, пока не обойдет всех. Зато тайны особой важности хранятся многими и очень подолгу, может, даже и умирают. Не такой уж дурак человек, кому оказано было доверие, чтобы питать слабость к разглашению государственной тайны. Мне ребята тут, братья, поведали одну восточную сказку. Перескажу, как умею.

Великим было это древнее царство, в пределах которого никогда не заходило солнце. Велик аллах, но не менее велик был и шах Аббас — земной владыка, наместник аллаха на земле. Пока царство его процветало, Аббас был спокоен. Но вот что-то случилось с Солнцем, и неурожай в два-три года опустошили житницы, оскудели казну. В тревоге шах собрал свой диван — государственный совет. Решили: виновны соседи, запредельные страны. Выработан был хитроумный план их уничтожения. Но вот до великого Аббаса стали доходить вести, что соседям известен его план, и те уже перековывают орала свои на мечи. В гневе владыка уничтожил всех визирей, весь свой диван. А неутешительные вести все шли. Аббас уничтожил детей своих визирей, потом детей их детей. А вести

все шли. В неистовстве земной владыка стал сечь головы поданным всем подряд, надеясь в конце концов добраться и до разгласителя тайны. А вести все шли. И тогда шах Аббас обратил взор на прекраснейшую из прекраснейших — на собственную жену. И она, чтобы доказать свою верность, отрубила себе язык. А враги уже подступали к границам. Но некому было носить оружия, и прекраснейшая в глазах великого шаха была уже не столь прекрасной...

Так вот, сынок, когда вырастешь, женишься, не повторяй ошибок великого Аббаса. Не суди по внешнему признаку, смотри в корень не языка, а вопроса. Как видишь, маленькая промашка привела народ шаха к великой беде.

Мама наша стоит все время перед глазами. Видел в оконце, как уходила она от меня, все оглядывалась, оглянулась в последний раз — так и стоит передо мной. У меня такое предчувствие: больше вас никогда не увижу. Никогда, никогда... Ты жалея, никогда, никогда, никогда не расстраивай нашу маму, наша бедная мама... Прощай.

Иван, твой отец,

Письмо одиннадцатое

22 июня,
там же

Мой дорогой друг!

Тяжело после мамы, тяжелее, чем было. Боже, дай мне силы выдержать это... Во сне видел тебя уже взрослым. И, в самом деле, ты у меня теперь не только безропотный слушатель, но и верный мой собеседник, мой друг. И тоже как будто пишешь. Сюда мне. Письмо за письмом. Сначала письма твои больше похожи на записки. Слова в них короткие, как текст телеграмм. Но ты не отчаивайся, письма тоже надо уметь писать. Начни с того, что опиши весь свой день с утра и до вечера, расскажи по порядку, чем занимался. Представь себе, в этом нет мелочей. Потом уже переходи к размышлениям, выводам. Мы врозь сейчас, а с письмами будем вместе, вроде бы рядом, совсем близко.

Мне ты можешь говорить все, я отец, я вынесу все. Но хочу дать тебе еще один важный совет: в обществе, среди людей, имей выдержку, не утомляй всех долгими рассказами. Рассказы твои должны быть к месту, без отступлений. Люди не любят, когда их угощают разбавленным вином. Рассказывая, не хватай человека за пуговицу пиджака, не тискай руку, чтобы тебя дослушали до конца. Чем придерживать руку, лучше придержи язык.

С одним моим другом был такой курьез. Наш общий приятель женился, и мы были приглашены на свадьбу. Чтобы выглядеть поприличнее, жених попросил у меня единственный мой новый пиджак. И вот в разгар празднества мой друг полез через стол к жениху, начал что-то ему рассказывать. Говоря доверительно, он держался за лацкан его пиджака. Но вот стол покачнулся, ноги у моего друга разъехались, пиджак потянуло следом за уцепившейся рукой, жених наклонялся-наклонялся, и вдруг раздался треск ткани, пола отделилась от пиджака, оказалась в руке. “С-сволочь!” — побелел жених, вообразив все последствия. Схватил миску и накрыл капустой голову обидчику, завершив его падение наземь.

Вот так бывает, сын мой, когда рассказывают слишком долго и через стол, не рассчитав своих сил, да к тому же еще держась не за свой пиджак, а за чужой...

PS. Дописываю письмо значительно позже. Пилим лес, а тревога растет, мучает неопределенность. По обстановке, по лицам начальников чувствуем, происходит что-то серьезное, но что? И мысль направляешь на что угодно, только бы не думать о главном, иначе погибнешь. Режим сначала ужесточили, потом стало легче. Вчера даже показали кино “Свинарка и пастух”. Нелепица, про людей, что поют в такое время, влюбляются. А в общем-то хорошо. Но маме нашей, небось, не до смеха, когда она слышит, как шумит лес. Для чего нам его показали, это кино? Ослепительны лица, улыбки, музыка. Этой музыкой во мне оборвало какую-то жилу — “так встречаются люди в Москве”. Люди встречаются и здесь, среди сосен, в стоялой по грудь, ржавой болотной воде. Не понимаю только, зачем в конце фильма стали крутить киножурнал с песней, которую мы знали давно, еще по той жизни: “Мы — мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути”...

PPS. Дописываю еще позже. Дольше стали работать каждые сутки, срезали норму питания. Что-то происходит, но все-таки что? Лица тех, что над нами, холодны, непроницаемы. Что-то вроде бы знают, а боятся сказать.

Зачем я пишу эти письма? Вряд ли их кто-нибудь когда-нибудь прочитает. Но я пишу и пишу, не могу не писать, как не могу не дышать. Это стало моей потребностью, формой существования, мне надо высказаться, выразить себя, сбросить энергию. Зачем? Спросите, зачем звезда чертит путь по черному августовскому небу? “Зачем вы пишете? — спросили одного молодого писателя. — Для себя?” — “Чтобы спасти мир”, — ответил тот. — “Ха-ха, — рассмеялись они. — Это после Толстого и Достоевского?” — “Спаси вас, — не растерялся писатель. — Классики ничего не знали про вас”.

Я пишу украдкой и передаю письма тут одному вертухаю, он вроде мужик ничего, обещал вам их пересылать. Отсылает или нет, не знаю, но все равно пишу и пишу, не могу не писать, так легче, он мне и бумагу дает, оказался моим земляком, с наших мест. Оттого и уши не так набиваются ватой: наш лагерь самый лучший, мы должны им гордиться, отдать ему все силы, уже и отдали...

Вижу, сынок, как подрос ты, пошел в школу, уже пишешь и ты мне. И пиши, сынок, спасай себя и людей, как только можешь. Помоги ближнему устоять на ногах перед великими потрясениями двадцатого века. Пиши, сын мой, обо всем: что ты ел, как ты спал, что сказал человеку и что человек на это ответил, мне все интересно, все важно знать мне, твоему отцу, которого к тому времени, может, уже и не будет в живых.

На днях, говорят, бомбили такое же городище по соседству — стоянку первобытного человека, а ведь там были люди, в этом (зачеркнуто). Или все это кажется? И я в каком-то бесконечном кошмаре, затянувшись сне? Весь затянут предчувствиями, как скрипучими портупелями.

Береги маму, живи и здравствуй. Прощай же.

Иван, твой отец,

Письмо двенадцатое

(и последнее)

Глубокая осень,
действующая армия.

Мой друг!

Никогда не думал, что буду когда-нибудь под (вычеркнуто) — “колыбелью революции”. Ощущение великого города и среди этих болот и сосен. Ощущение причастности несет меня, как на крыльях. Партбилет не вернули, но оружие дали, и мы готовы смыть с себя кровью вину. Если люди победят в этой войне, они многое поймут. Это страшно — слезы на пепелищах, слезы детей, кровь ни в чем не повинных людей. Фашизм — это образ мышления, черное пятно его разрослось. У меня в руках винтовка, в кармане — патроны. Я стреляю в фашизм, понимаешь? Умереть за Родину — это совсем не то, что сгинуть где-то под (вычеркнуто). Я много не успел, многого так хотелось — дух не истрачен, а силы уже на исходе. Знаю, завтра в атаке я буду убит. Но ты, мой сын, кровинка моя, живи...

PS. Я строил завод в Воронеже, из его ворот, как узнал после, выкатывались машины с заводским знаком... в кругу буква “Ка” — “Катюша”... Как бы тут сейчас онигодились...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Мир однолик, но двойственна природа,
И, подражать прообразам спеша,
В противоречьях зреет год от года
Свободная и жадная душа.

Н.Заболоцкий.

I

Их выстроили в длинном, как кишка, коридоре — воспитатели именовали его рекреацией, а воспитанники называли и всегда будут называть “рек-реакцией”. Ева Власовна будет их поправлять, а они все равно будут называть и завтра, и послезавтра, и всю оставшуюся жизнь, ох, уж эти дети. А когда однажды в вечно сухой бассейн налили воды и она показала, как надо плавать, они опять же назвали Еву по-своему — “Ластовна”, и никто не спутал и не спутает завтра и послезавтра, и всю оставшуюся жизнь одну букву с другой, не назовет ее “Ласковна”, ох, уж эти дети. Она всегда все всем разрешала и не разрешала.

— Разрешите стать в строй, — подковылял к Еве полноватый белесый мальчик, уже почти парень Вадим Карцев — девятиклассник, из самых старших, из его, Егоровой, группы.

Тиганов Егор ничему не удивлялся, удивляться не приходилось: к чему со своим уставом лезть в чужой монастырь, хватит с него Бодракова. Здесь, однако, многие ковыляли, а то ходили с рукой по стеночке. У каждого неладно с конечностями или позвоночником. У одной девочки были жуть как коротки ручки-ножки при огромнейшей, как котел, голове. Но глаза-то умнейшие, смотрят в самую душу — никуда не денешься, болезнь Дауна, специнтернат.

— Становись, — строго сказала Ева Власовна Карцеву и обратилась к строю: — Дети, сейчас мы организованно идем возлагать цветы нашим дедушкам, погибшим в Отечественную. Сегодня отмечается день освобождения нашего села, и все Подшибякино идет возлагать.

— А как же я? — чуть не плача стоял в сторонке совсем маленький мальчик из “нулевого” класса, мальчик ходил вовсе никудышне. — Как же мне... возлагать?

— Займитесь, — кратенько взглянула Ева на воспитательницу.

Дети выстроились в колонку по четверо, подравнялись. Ева Власовна еще раз напомнила, что их интернат впервые выходит за пределы территории. Все село будет смотреть, надо не подвести. И колонна постояла-постояла, раскачалась и сдвинулась. Егор как воспитатель самых старших шел впереди.

— Раз-два, — вышагивала сбоку бодрая директриса. — Тверже шаг! Дети, зачем вы держитесь за руки, не держитесь... Раз-два... По долинам и по взгорьям...

— По долинам, — раздалась несмелые голоса, — и по взгорьям...

Для этого случая специнтернатовцев одели в одинаковую парадную форму. В этой форме они чувствовали себя неловко, потому взяли друг друга за руки, и никакие силы в мире не смогли бы сейчас разять эти руки, стиснутые чуть пониже запястья. Идти надо было не так уж и близко, на другой край Подшибякино, дети столько никогда не ходили.

Под знаменем и с барабанным боем прошагала стороной Подшибякинская средняя школа. Специнтернатовцы приободрились, попробовали потянуться за школой, но тут же сбились и совсем бы остановились, если бы из другого проулка на главную дорогу не вывернулся еще один интернат — их всегдашние соперники, “лесная школа” — дети с ослабленными легкими.

“Ослабленные” поднатужились и, обгоняя “спецов”, обернулись, закричали на Еву Власовну дружно:

— Медуза! Медуза Горгона!

И это на виду всех сельчан, всего Подшибякино.

— Хулиганье, — стиснула зубы Ева.

И тут сквозь специнтернатовцев, как электрический ток пропустили. Старшие увеличили шаг, включились в гонку, младшие и кто послабее стали отставать, строй стал рваться в куски, распадаться. Всяк ковылял теперь, как умел. Кто-то даже упал, его подхватили, поволокли за собой. Кто-то захныкал. Сердце Егорово сжалось.

И тут сами собой дети быстренько сообразили, как им двигаться лучше. Разобрались по двое, задние положили руки на плечи передним, и унылая, растянувшаяся колонна, взметая дорожную пыль, двинулась далее к поставленной цели. А солнце палило, и пыль хрустела во рту, оседала и на без того серой новой спецодежде специнтернатовцев.

— Что вы делаете? — бежала директриса назад вдоль колонны. — Уберите руки сейчас же!

Но легче было им отрубить эти руки, чем снять каждому с плеч товарища. Дети загребали ногами пыль, и пыль зависала облаком, и они чихали сами, и чихали воспитатели, чихали обочь дороги все подшибякинцы, даже сама Медуза Горгона морщила свой аккуратный носик и выразительно прикладывала к нему надушенный французскими духами незаметный платочек. А специнтернатовцы шли и шли заданным курсом, процессия двигалась. И, когда подошла к цели,

оказалось, все уже было кончено, и народ расходился. И дети расплакались.

Назад их везли на машине.

Все это так поразило Егора, что начисто вышибло из головы то, что и он теперь педагог. Или, может, он чего-нибудь недопонимает? Намаевшись с Бодраковым, он вообще отныне собирался жить по-другому, давать себе во всем окорот. И все же, все же... Как насчет счастья, ради чего, собственно, он и ехал сюда, к этим вот ребятишкам? Как насчет того, чтобы сделать их хоть на каплю счастливее, чем были они до него? Как ни уверял Лихопеков, что счастье нельзя пощупать, но оно все же конкретно...

И в самом деле, с год назад Ева работала в Ярищенской школе завучем. На правах “земляка” Егор зашел к ней домой — попросить, чтобы она разрешила Кузьке жить с ним, в его комнате. Кузька попал сюда не по “специальности”. Зачислили переростка неизвестно через кого, неизвестно, чему и учили. Кузька больше пропадал в кочегарке.

Евы дома не оказалось. Шустренькая старушонка, похоже Евина мать, узнав, что Егор Трофимович из Ярища, тут же сообщила, что вообще-то она лично живет у другой дочери, а тут так, на недельку. И сейчас же повела показывать дочерин дом и все вокруг дома. Из ее слов, Егор узнал, что на этом месте, возле бывшей районной “Сельхозтехники”, был не только пустырь, но была и просто-напросто свалка, и не только свалка, но свалка особая — химических удобрений. Ева сняла верхний слой до основания, создала новую почву, и все сама, собственными руками. И теперь тут все ухожено, выкрашено, все в цветах, полный порядок. “Странно, — удивился Егор, — женщина она, может, даже изящная, а прямо-таки ломовик, бульдозер какой-то, ей-богу, даже не верится”.

В конце коридора мелькнула девчушка, уже почти девушка, примерно, как и его питомцы, девятиклассница. Кивнула поспешно Егору, и нервный тик искажил ее миленькое Евино личико. И в этом была своя тайна...

Посещение Евиного дома не осталось для Егора бесследно. Оказывается, Ева обладает чудовищной силой, не совпадающей с ее действительной внешностью. Все в ней подчинено форме: белокурые, обесцвеченные химией волосы, сохранилась фигурка, хотя лицом она старше своих тридцати пяти. Выходит, соблюдает умеренность, да, в этой женщине есть воля. В ее одежде Егор отметил кое-что из того, что носят сейчас уважающие себя алатырские женщины, даже иные москвички. Вещи дорогие, импорт, по всему виду, Ева — человек с претензией. Цокает Ева по рекреации на своих каб-

лучках, не минует зеркала в красной комнате: зырь в него, окатит всю себя сверху донизу, вздернет верхнюю губку, зубки наружу, и пойдет себе дальше, довольная.

В Подшибякинской библиотеке Егор, наконец, отыскал в словаре, что такое Медуза Горгона. По древнегреческой мифологии — крылатое чудовище в женском облике, взгляд которого обращал все живое в камень. Было три Горгоны: Стено, Эвриалия и Медуза; Медузу — единственную из Горгон обезглавил Персей.

У Евы было много запретов, но немало и разрешений. Она разрешала, например, рвать огурцы с интернатовского огорода, яблоки из интернатовского сада, брать уголь из интернатовской котельной молодым учителям, “молодежному корпусу” — так Егор прозвал про себя целый табун девчат, выпускниц педучилищ и пединститут, недавно присланных сюда. Все они пережили здесь одну-две зимы. Да и сама директриса пребывала в должности всего второй год. Егору показалось, что она старается опереться на молодых, чтобы успешнее бороться с “корпусом стражей порядка” — так про себя назвал он опытных педагогов со стажем, с тем порядком, который оставил после себя прежний, ушедший на заслуженный отдых директор.

Холодом веяло от этих “стражей порядка”. Егор чуял это нутром и поневоле жался к тем, кто был помоложе. Так уж тут повелось: “корпус стражей” разыгрывал карту, строил здесь всю политику. Эти педагоги были родом отсюда или обосновались давно, жили семьями, переезжать никуда не собирались и потому зорко следили за тем, что касается нагрузки и иных привилегий, объединяясь перед малейшей опасностью извне, в данном случае от “молодежного корпуса”. “Молодые приезжают, наколбасят и уедут, а нам с вами что? Разгрести навоз, чистить Авгиевы конюшни”, — говаривал прежний директор. В противовес этому, по Подшибякино ходила крылатая фраза: “За вредность гребут четверть к зарплате, а сами же вредность и создают”.

По идее “стражей” возглавляла завуч Капитолина Ивановна, но роль лидера была не для нее. В лучшем случае она казалась мягкотелой, отзвучивой женщиной, в худшем — капала прежнему директору на всех и на каждого, сама же, в случае чего, была неспособна принять исчерпывающие меры. Тем более, что администрацию, как и весь “корпус стражей”, не так давно основательно потрясли: кое-кого, наконец, отправили на пенсию. На открывшиеся вакансии Ева и выписала молодых, создав в противовес “молодежный корпус”. Однако старожилы не думали сдаваться...

Все это Егор, вероятно, постиг бы и сам; время ему сэконо-

мила соседка — Осиповна, как она сама себя называла, повари-ха их интерната. Егору дали от интерната комнату — несуразно огромную, что тебе актовый зал. От комнаты этой все девчата дружно отказывались, попробуй протопи ее, стерву. Осиповна иногда приходила и разжигала Егору плиту.

Комната эта и в самом деле была залом, но не актовым, а залом судебных заседаний. И все это узкое, гулкое деревянное строение — дом, где разбивались сердца, здание бывшего Подшибякинского районного народного суда. В коридор необъятной длины выходило столько дверей, что у Егора не хватило духу их сосчитать.

Осиповна прояснила Егору Трофимовичу обстановку не только в специнтернате, но и во всем Подшибякино. Село знавало лучшие времена, когда было райцентром. Ныне оно было центром совхоза, и уязвленные амбиции подшибякинцев требовали естественного выхода. Таким выходом для всех подшибякинцев ознаменовалось начало борьбы за возвращение района. Подшибякинцы сплотились в этой борьбе, доказывая бесчисленными письмами в область, во всевозможные центральные органы, что бывший райцентр постепенно хиреет, заполняется малоценными, нетрудоспособными кадрами, теми же специнтернатами, а население бывшего Подшибякинского района сокращается, люди снимаются с якоря и отчаливают, скоро здесь будет голая степь. Одна из центральных газет разом перекрестила надежды на возрождение своей ироничной статьей “Быть ли Подшибякино столицей?” Это убило подшибякинцев. После нее загляни, бывало, в глаза любому — никакого просвета, вялость, сон и апатия. На работу ходит — надо же куда-то ходить, добывать средства к существованию, а спроси, зачем такое существование — только пожмет плечами, ничего не ответит. Даже скат от “Беларуси” не откатит с дороги в сторону, даже упавшую с воза доску не подымет, домой не оттащит — так и заездят, затопчут до неузнаваемости, а зачем она одна-то, лучше сразу упереть, сколько надо, откуда-нибудь с совхозной пилорамы или лесо-торгового склада.

Ева Власовна Кротова, новая директриса, походом своего специнтерната на возложение возбудила Подшибякино, летаргический сон его был прерван, муравейник разворошен. Какое-никакое, а все же событие, для Подшибякино и этого хватит. И подшибякинцы стали с интересом следить за тем, что же дальше-то будет в Евином интернате...

Егор никак не мог привыкнуть ни к своему новому положению, ни к этому Подшибякино. Стоял как-то, опершись плечом о телеграфный столб, а столб дрожал от громкоговорящего рупора на верхушке, от звуков прекрасной музыки — шестой сим-

фонии Чайковского, падающей в черноту позднего вечера. Егор тшился собрать в себе первые впечатления от своего обитания здесь. Приходило отчаянье: почему гусиную лужу посеред села даже ветер не морщит, даже пыль не сыплется с листьев за шиворот, когда проходишь садами. И так толст слой пыли на окнах, дверях, на штакетниках, даже на шеях, так черна пылью земля и так коротко людское дыхание — почему? Рано гаснут окна и на улицах нет прохожих — почему? Часто дерутся собаки, редко смеются дети... И Егор уносился мыслью в родную Тигановку, в Житень, даже в Ярище, перебирал памятью близких, и сердце переставало стучать, потом принималось наверстывать. В правом ухе от напряжения начинало попискивать — это вставал перед ним во всем своем обличи Бодраков; мелким бесом крутился перед ним этот черт, прохиндей их ярищенский, Бронька. И все здесь не свое, все чужое, и только Кузька связывал Егора с покинутыми местами.

Жить Кузьке в Егоровой комнате Ева не разрешила, Кузька обретался в своей “персональной” комнатенке, в которой уборщицы хранили ведра и тряпки. Да еще иногда складывали на подоконнике хлеб, купленный нарасхват в сельмаге напротив, переименованном на днях из магазина “Продукты” в “Товары повседневного спроса”, как будто от этого что-то изменится. Уж чего нет, так тому не бывать, сколько ни спрашивай хоть каждый день, повседневно, весь год до скончания века. А уж коли есть, так можно было бы обойтись и прежним названием “Продукты”, их от этого не убавится.

В тесном соседстве с тряпками, ведрами и кое-когда с подшибякинским хлебом, который, отдав все свои силы переименованиям, так и остался непропеченным, Кузька пребывал, ничего об этом не подозревая. Он был записан в “нулевой класс”, куда он забыл, когда и ходил, а ходил он, к своему и всеобщему удовольствию, в свою кочегарку. Кузьке нравилось, что у него есть “своя” комнатенка и “своя” кочегарка.

Для Егора было хорошо уже то, что можно прийти к Кузьке и, в сторонке от глаз, говорить-разговаривать с братом, когда угодно и сколько угодно, как, бывало, с ними мама и бабка Галля, выпрастывая все, что скопилось за день, и нисколько не боясь, что кто-то все это вывернет наизнанку, переврет и передаст кому-то. Пару раз Егор приводил Кузьку к себе, укладывал спать на диванчике. Но брательник сбегал и сбегал. И Егор махнул на это рукой: горбатого могила выпрямит, Кузька и дома скитался летом, где ему вздумается, ночевал по сараям... “Ономнясь” — что за странное слово? Вроде слышано с детства, а спроси — в точности и не объяснишь...

II

Из всех Ева выделила Клару Зарецкую — сильную, красивую девушку с институтским дипломом, выдвинула ее в профсоюз.

— Намечается день молодого педагога, — подошла Клара к Егору. — Может, что-нибудь скажете?

— Я? — удивился Егор. — Пусть другие говорят, мне бы пока больше слушать.

И однако задумался. Стал подчитывать литературу — по общей педагогике, по возрастной психологии, даже по медицине. Исподволь готовил слово, чтобы не быть застигнутым врасплох. Его поразило выступление в центральной печати ректора одного из педвузов, который сказал в открытую, что в стране вообще не готовят кадры для интернатов. Нет факультетов и отделений, нет специальных методик. Ни один выпускник не изъявил желания быть направленным в специнтернат — непрестижно, даже при двадцатипятипроцентной надбавке.

Слово созрело в Егоре. Но Ева выступила с такой пламенной речью, так все разложила по полочкам, что Егор постеснялся вылезать со своими доморощенными мыслями. Тем более, что многое из Евиной речи совпадало и с тем, что он думал. В самом деле, в интернате должна быть домашняя обстановка, которая бы расковывала детей. Сюда в педагоги должны идти те, кто способен, подобно врачу, дать клятву Гиппократу, а затем посвятить себя ее претворению. Хватит ли у тебя сил, воли, умения, жара душевного, чтобы отдать все это детям, часто нелюбимым, брошенным, полузабытым теми, кто их произвел на свет? Родители, разве же это родители, — вот против кого ожесточалось Егорово сердце. Но он все же сдержался, не встал, не произнес слова, оно однако как отпечаталось в нем, это его произнесенное слово... "Тоже мне, извините, родители, — пьете беспробудно, совокупляйтесь по подъездам, не думая ни о чем. И вот печальный результат пьянства вашего и "любви" — эти дети с перекошенными лицами, перекрученными конечностями, гипертрофированной головой. Вот печальный итог и вашей деловой активности, деловые родители! Это вы отравили безумной химией земли и воды, заразили радиацией атмосферу. И свалили все на шею другим, всего общества в целом, всего мирового сообщества, — воспитывайте! Вот он, ваш продукт, гримасы цивилизации, — эти дети, на которых нормальный человек не может смотреть без содрогания. Не реки северные, за годы репрессий переполненные вровень с берегами слезами людскими, вспять поворачивать надо, а человека вокруг себя самого, вокруг этих гримас, вокруг детских глаз, вокруг тех, кто

сеял и продолжает сеять эти самые слезы! Вот кого надо тащить за шиворот в его, Егорову, комнату — бывший зал заседаний бывшего Подшибякинского райнарсуда”...

Так думал Тиганов Егор, ложась в студеную, находудалую за день постель в своей нетопленной комнате, вновь и вновь прогоняя по памяти все перипетии только что прошедшего дня, когда собрались молодые педагоги из обоих подшибякинских интернатов. А за окном свистел жесткий ноябрьский ветер, раскачивал на столбе электрический фонарь, алюминиевую чашу громкоговорителя с музыкой Чайковского на все село, и то белые, то черные маленькие лебеди в диссонансе внешне, но в какой-то внутренне скрытой гармонии света и звуков, дня и ночи, усталости и одушевления, танцевали у него на потолке: туда-сюда, раз-два... по долинам и по взгорьям... три-четыре...

Вчера приезжала родительница — мать того мальчика из “нулевого”, который ходит совсем никудашне и оттого горько плачет, когда другие идут возлагать. Она была полупьяна, она была пьяна омерзительно, вдребезину! У нее здесь еще двое — в седьмом и четвертом, а всего у нее их тринадцать. Это на нее работают специнтернаты, для нее у всех граждан страны еще с войны и до сих дней вычитают “бездетные”. А она, уходя из дому к “козлам”, извините, для пилки дров, каждый раз привязывала к коечке сына, и вот в свои семь лет он почти не умеет ходить.

— Зачем тебе столько детей? — спросили.

— Для льгот, — смеется.

А сегодня этого мальчика, Васю, изловили почти у самого выхода: — Куда же ты? — К маме, — расплакался мальчик. И сегодня Капитолина Ивановна, завуч, писала родителям письма, среди адресов были и тюрьмы. Капитолина Ивановна вкладывала в конверты фото детей...

А иные родители мучаются весь свой век, приезжают, берут в руки топор или лопату, сделали для детей городок. А один сельский житель, не родитель — человек просто, каждый год переводит им деньги. Выращивает поросенка и продает, и деньги сюда на их счет, детишкам на молочишко...

Гремит жесткий ноябрьский ветер, завывает в застоялой трубе. С тем Егор и отходит ко сну. И его начинают трепать кошмары. Все одно и то же, одно и то же, одно и то же... Мальчик этот, Вася, рождается прямо на улице, и его привозят в больницу, и он все лежит в больнице, потому что в доме ребенка нет мест, и он все лежит, лежит, потому что в больнице его просто кормят, все лежит, все лежит без движенья, превращаясь в дебила. Потому что, если не брать ребенка на руки хотя бы два дня, он будет ходить никудашне, а если не брать неделю —

не будет ходить никогда... Раз-два, дети, почему вы держитесь за руки?.. А как же я, как же мне возлагать?.. Займитесь, кивает Ева Власовна воспитательнице... Я знаю, вы зовете меня Медузой Горгоной, какая же я Медуза Горгона, волосы мои, химически белые, разве каменные?..

А в субботу девчата устроили чай, пригласили Егора. Кроме Клары Зарецкой, в комнате жили еще двое — воспитательницы в младших группах, обе после педучилища. Пришли и другие, которые жили в этой комнате раньше. Сам собой продолжился разговор, затеянный на дне молодого педагога. “Ну со ”стражами порядка” — ясно, рутина. А вот Ева наша явно гнет не туда, не заметили? — начала Клара. — Твердит, дети у нас особые — с отклонением в движении, в любой момент могут быть срывы, запредельное торможение, нужен щадящий режим, без особой нужды посторонним нельзя входить в классы, дети на это реагируют болезненно, а сама что делает? По урокам стала ходить, без конца таскается...”

Егор был сбит с толку Клариными словами, но не подал и виду. Обычное среди женщин — внутренняя борьба, одна симпатичная не выносит другую, какая моложе; так войны, долго учили нас, вспыхивают из-за противоречий в пределах одной, а именно капиталистической системы.

— Это она со своих стружку снимает, чтобы чужим страшно было, — пошутил кто-то неловко.

— Ева выслуживается, — мрачно заметила Клара. — Карьеру делает за счет здоровья детей... Уроки как в обычной школе, да еще дополнительные занятия. Посмотрите, сколько наши дети гуляют. Могут ли они уединиться, побыть с собой наедине? Сплошь мероприятия. По-моему, Ева делает то, что знает, что у нее было в обычной школе. А между тем у нас нет психологической службы, не ведутся занятия по психологической неврологии...

— Завелась, — остановили Клару девчата и включили магнитофон — танцевальную музыку.

Уже на другой день, прямо в учительской, Ева выговаривала Зарецкой за “подпольное сборище”, за Кларины импровизации. И, к полному удовлетворению “стражей порядка”, закончила властно: были уроки нормальными в классах и будут, были дополнительные занятия после и будут, учебный процесс разрушать не позволим, как бы иные этого не хотели, ясно?

Егор присутствовал при этом разговоре и, по крайней мере, дважды задумался. Во-первых, кто бы так оперативно мог доне-

сти директрисе? Во-вторых, в Кларе увидел он самого себя в Ярище — отрицательный лидер. Та же бескомпромиссность, то же стремление больше свергать, чем строить; способность к созиданию приходит, очевидно, позже, а может быть, не придет и совсем, а пока, наверное, так: нет стены — они ее сделают сами, придумают эту самую стенку, чтобы, разрушая, биться в нее головой.

И Егор уже знал, куда примерно движется Ева Власовна. Надо же с кем-то ей делать дела, или, как она понимает, работать.

Все это происходило в высших сферах, но не смогло отвлечь Егора от его группы, от девятиклассников. Как классный руководитель он искал с ними контакты, не просто было искать с ними эти контакты — дети и уже не дети, взрослые и еще не взрослые, да еще с “отклонениями”, о которых прежде он и не подозревал.

У него было не много их — всего пятнадцать, но каждый стоил десятерых. А когда эти “гаврики” вместе? Они то боготворили его, бежали к нему каждый со своей болью, а то были готовы растерзать на куски: капризны, строптивы, порой не понять, что случилось, какая муха кого укусила. Анализируя всю эту машину, как Шерлок Холмс путем метода индукции и дедукции, Егор вычислил отрицательного лидера. Кто бы мог подумать, им оказалась девочка чуть выше табуретки, с крохотными ручками и несоразмерно огромной, как “пивной котел”, головой, с крупными, холодноватыми, навывкате, по-паучьи цепкими глазками, чем-то похожими на глаза Коршунова — его автобусного попутчика, а теперь жителя Волчьего Шляха.

Эта девочка поразила Егора еще при первом знакомстве: держась в сторонке, она заводила всех и наблюдала. И все подчинялись ей, она подавляла всех, она обладала властью. Излюбленным местом у нее была постель, излюбленным движением — одеялку до подбородка. Обычно на подушке, как тыква на грядке, лежала ее голова. И, проворачиваясь в орбитах, следя за всей комнатой сразу, глаза эти как бы вытягивались, повисали на шнурочке, скорее на проводе, и, словно отделяясь от лица, мерцали по углам комнаты воспаленно, таинственно, втягивали в себя всю информацию, — они должны были знать все о тебе, чтобы вычислить, как поступишь ты впредь... Голова на подушке, глаза на шнурочке; что сделал с ней комплекс неполноценности; это или толкает к распаду, или кует из живой плоти сталь.

Девочку, как и завуча, тоже звали Капитолина, но по фамилии Лобова, она была областная, из самого Орла.

Опорными у Егора стали в группе двое ребят — Вадим Карцев и Давид Мусрепян. Здесь вообще-то были все, кто откуда: один из Ямало-Ненецкого округа, а еще один — даже с Кам-

чатки. “Моя сборная страны”, — невесело называл Кузьке Егор свою группу.

Вадим с Давидом кое-когда приходили к Егору домой, в его “судейскую” комнату. Всегда вместе и всегда без предупреждения. С Вадимом Егор напилил на днях себе и девочкам дров, за что тут же получил нагоняй от Евы.

Первым сегодня ступил за порог Давид.

— Моя семья скоро переезжает к вам сюда, под Алатырь, — сияя, сообщил он Егору. — Мой отец катает асфальт.

— Как зовут твоего отца, не Самсон ли? — спросил Давида Егор. — Не работал ли твой отец вместе с дядей Тиграном?

— Самсон, — удивился Давид. — И работал вместе с дядей Тиграном... А откуда вы знаете?

— Все знаю про вас, — усмехнулся Егор.

А Вадим расхаживал по комнате, перебирал стопку Егоровых книг, в основном учебники биологии, остороженько пальцем трогал холодный чайник, смотрел задумчиво за окно. Наконец, произнес:

— А мне из дому не пишут. Я уже три письма послал, отдал директору.

— Еве Власовне? — подсказал Егор.

— Вы спросите у нее, Егор Трофимыч, — вздохнул Вадим, — почему мне не пишут?

— Завтра с утра первым делом, — пообещал Егор.

Так и лег в постель с этой мыслью, как бы не забыть. Среди ночи не поленился, поднялся с постели и, чтобы облегчить свою участь, черкнул на газетке: “Вадимовы письма”. И метнул взгляд по углам, нет ли Капиных глаз-колонок, должны быть, куда делись? Отделились и ушли из Егоровой комнаты к Еве... Капины — Коршунова глаза... Тук-тук-тук. Колонки. Запись и воспроизведение...

Утром Егор дождался Еву в проходе между спальным и учебным корпусами, она всегда являлась на работу именно с этой двери. Стенка коридора во всю длину была расписана яркими масляными красками. Сюжеты из русских народных сказок: Конек-Горбунок, Царевна-Лягушка, братец Иванушка. Эта стенка была Евиной гордостью, Ева всегда свою “стенку чудес” всем показывала.

Вот и сейчас только хлопнула дверь — зыр на стенку и дальше к зеркалу — зыр на себя, с головы до ног всю себя окатила, шапочку меховую поправила. Дерг-дерг своим аккуратным носиком.

— Опять эти з-запахи! — загремел по коридору ее директорский голос. — За детьми не смотрят, туалеты плохо вымыты! Борюсь-борюсь, говорю-говорю...

Тут и заметила Тиганова.

— Чего вам, Егор Трофимыч? — сменила голос она, зацокала впереди каблучками.

Следом Егор прошел в ее кабинет. Это тебе не Бодраковский мужлановский кабинет, хотя и при знамени в углу и цветных телефонах. Это кабинет женщины, себя уважающей и вообще много воображающей от имени тех, кто мог сюда к ней прийти, хотя приходили сюда к ней немногие, больше толклись в учительской. Естественно, все у Евы подобрано — от шоколадных штор до коричневого паласа, от мягкой мебели до цветного телевизора. Главным же предметом здесь, как и у Бодракова, был стол буквой “Т”. На тумбочке старого типа радиоприемник “Эстония”. Егор оглядел углы, нет ли Капиных глаз.

— Ну так что у нас? — едва войдя сюда, снова сменила тон на директорский Ева Власовна.

Егор вздрогнул, возвратил себя в Евину комнату. Она провела по лбу левым мизинцем и опять разбавила этот свой тон чуть заметной улыбкой.

— Про письма хочу спросить, Вадимовы письма, — прямо так и сказал ей без всякой политики Тиганов Егор. — Карцев Вадим волнуется, нет из дому ответа. Передавал через вас свои письма — целых три.

— Минуточку, — дернулась опять в загадочной улыбке Евина верхняя губка, и Ева загремела ключом в стальном сейфе.

“Тоже мне Монна”.

Достала целую стопку. Стала вертеть конверты. “Раз-два... по долинам и по взгорьям... три-четыре”, — застучало в висках у Егора. Наконец, она отложила одно. Принялась вертеть дальше. Отложила второе. И тут же третье.

— Вот его письма, — смотрела она на Тиганова Егора, как ни в чем не бывало. — Все три в целости и сохранности.

— Как... в целости? — не срабатывало что-то в мозгах у Егора.

— А так.

— И вы их не отослали?

— Кому! — покачала головой директриса. — На деревню к дедушке? Взгляните хоть, кому и куда пишут дети. Вот, смотрите, что написано: “Маме”. А ведь у этой девочки просто-напросто нет мамы, неизвестно, где ее мама. А девочка пишет... А вот написано, видите: “Директору”. Когда я спросила этого мальчика, когда он больше всех любит на свете, мальчик ответил: “Директора, потому что вы красивая”. И после взял и послал мне вот это письмо...

— Но ведь у Вадима Карцева есть родители, — не спускал глаз с директрисы Егор.

— Есть, — твердо сказала Ева, и верхняя губка ее от усилia приоткрылась, пока Ева клала письма обратно и закрывала сейф. — Есть, конечно. Но я не сочла необходимым. Разумеется, из педагогических соображений. Родители не хотят о Вадиме и слышать. Думаю, у вас, Егор Трофимыч, достаточно жизненного опыта, чтобы ответить мальчику.

И тут Егор заметил на верхней губке у Евы усики. Не замечал прежде, может, потому что светлые, а сейчас при боковом свете они сами заметились.

— Радиоприемник “Эстония”, — потрогал Егор полированную поверхность. — Он что, без колонок?

Ева взглянула на него удивленно. Егор поднялся молча и так же молча вышел из кабинета.

С неделю Тиганов Егор избегал Вадима. С неделю вертел в голове так и этак, соображая, как сообщить ему то, что сам знает, и правду сказать, и не сказать правды. Вадим остановил его в том же проходе, у Евиной “стенки чудес”.

— Ну! — впился он глазами в Егора.

Егор не отвел взгляда.

— Я все понял, Егор Трофимыч, — тихо сказал Вадим. — Она их не отсылала. Я написал отцу, чтобы он забрал меня отсюда. Она сказала вам, что он не хочет меня видеть, так, да? Она все врет, все врет!..

“Все врет, все врет, все врет”, — покатилося по длинному, как кишка, коридору.

“Раз-два... три-четыре, — застучало Егору в затылок. — По долинам и по взгорьям... Семь-восемь”...

Вот уж чего не ожидал Егор от себя, так это стать педагогом. Но то были пока только цветики, ягодки жди впереди. О случае Егор не смог рассказать вечером даже Кузьке.

А утром домой к Егору снова пришел Вадим. Один, без Давида. Присел у окна, сидел долго.

— Она хотела, чтобы я стал шпионом, — сказал Вадим глухо. — Доносил про ребят. А я отказался.

Тихо-тихо, высоко-высоко, где-то выше трубы начинало подвывать — собирается ветер, может, разгонит тучи или будет метель?

— Егор Трофимыч, вы не думайте, что вы, воспитатели, взрослые, а мы еще дети, — совсем тихо сказал, заметно волнуясь, Вадим. — Мы ведь все понимаем... иногда даже больше взрослых. Видите, какие у меня ноги? Я перенес три операции. Все выдержал, чтобы они были такие же, как и у вас...

Голос Вадима осекся. Егор отвернулся, чтобы не видеть Вадимовой слабости: мужчина есть мужчина, даже когда он подросток.

Егор вздохнул три раза подряд, да поглубже, чтоб очистить легкие. Как жить, где брать силы, чтобы говорить детям, людям всем правду, только правду, ничего, кроме правды, которую знаешь, когда промолчать, как сейчас вот, нельзя?

III

Егор питался в интернатской столовой, это было удобно, главное — группа на глазах, видишь каждого.

А на завтрак девочки отказались есть суп: суп на завтраках не едят, за девочками потянулись ребята. Егор мигом сообразил, в чем дело.

— Капа, не дури, — подошел он к Любовей Капитолине, которая сидела себе, как ни в чем не бывало, едва выглядывая из-за стола. — Какая цеце тебя укусила?

— А что ж она, — надулась Капа капризно и отвернулась.

— Кто она, в чем обида? — стоял терпеливо Егор у столика Любовей. — Может, вечером что-то случилось, не в мою смену?

— Егор Трофимыч! — застучали ложки о соседние столики. — Это все Зина-пузина.

— Ну, ребята.

— Зинаида телевизор вчера смотреть запретила, — загомонили все разом. — И в кино нас не водят... И в парк не пускают... Сиди да сиди... А мы уже большие...

— Спокойно, — поднял руку Егор. — С телевизором разберемся. Я с Евой Власовной поговорю. Но ведь есть-то надо? Что ты на это скажешь, Вадим?

— Надо, — пожал плечами Вадим и первым взялся за ложку.

Егор выпроваживал из столовой последних, когда в дверях появился Макаров — их интернатский врач. Длинный и тощий, как кочережка, с неиссякаемым зарядом оптимизма и безразмерным словарным запасом. Макаров считал себя вечным ски-тальцем, “морским волком”. Судовым врачом плавал на “торгаше”, где и привык создавать себе настроение не в меру часто и не в меру искусственно. От этого он, вероятно, и оказался раньше срока на суше. Как и тот морячок, что подвернулся Егору на “малине” в Алтыре, Макаров в “загранке” также питал слабость к красивым вещам. В свою очередь, и Ева, зная о том, питала женскую слабость к Макарову.

— Эй, на камбузе! — крикнул Макаров Осиповне голосом чуть, как и положено, с хрипотцой. — Что там сегодня у нас — макарены по-флотски?

— Ходят тут всякие, костями гремят, — заворчала под нос себе Осиповна, интернатская повариха.

— Жалоб нет, отравлений нет? — сыпал Макаров, как ме-

дяки из кармана на парапете в Неаполе. — Здоровы матросики, о палубу не расшибешь...

Заметил Егора — примолк: Егора он недолюбливал, особенно, когда Егор не согласился перепрофилировать свою “судейскую” комнату в макаровскую “кают-компанию”. И сейчас от “морского волка” пахло отнюдь не солеными штормовыми ветрами, ordinarily шибало земным, одинаковыми во все времена года и суток свойскими, антимонопольными запахами.

— Бассейн у нас будет когда-нибудь функционировать? — обратил Егор лицо свое к отставнику. — Дети ждут процедур.

— Это к береговому командованию, — брал Макаров на два румба правее отмели.

— Так бассейн же, морская стихия.

— Осиповна! Нет макаронов по-флотски — гони просто щи с мясом.

Осиповна поставила перед “волком” тарелку с дымящейся картошкой, прошла к двери следом за Егором.

— Ева-то, — огляделась она в коридорчике, — велела тебя не кормить. Пересчитайте, мол, пусть платит, как в совхозной столовой.

— Ну и пересчитайте, — пожал плечами Егор.

— Медуза эта, — перешла на шепот Осиповна, — нечего, говорит, ему экономить. Пусть на полную катушку платит и нам, и своим деткам в Орле.

— Это уж не ее дело! — вспыхнул Егор.

И тут кто-то мелькнул за стеклянной дверью: Давид.

— У, змееныш! — погрозила ему повариха. — Так и ловит каждое слово.

А на другой день, сразу же после завтрака, пропал Карцев Вадим. И прежде совершались побеги, но этот отличался особым нахальством. Постель Вадимова была сброшена на пол, разбит графин с водой, по “стенке чудес” через лебедей, несущих братца Иванушку в сказочные миры, гвоздем процарапана длинная жирная полоса.

Кто-то видел Вадима на автобусной остановке, — кинулись на остановку: Вадима не оказалось.

Кто-то заметил парнишку, который удалялся в сторону леса. Жители на краю Подшибякино подтвердили: да, видели паренька. Кабанков лес — дикая часть низкорослого лесного массива, еще его называют Кабанковым “урочищем”. И Ева распорядилась поднять весь личный состав специнтерната, поставила всех под ружье. Возбуждение охватило ребят, было даже радостно, Кабанков лес обычно видели только издали, в окна. Предстояла охота. Перебивая один другого, строя планы перехвата, охвата и захвата, окружения и взятия в плен, ис-

пользуя при этом арсенал, взятый из теледетективов, на глазах Егора дети превращались в зверенышей.

Побег случился на дежурстве Зинаиды Федотовны — напарницы Егора. Многоопытная Зинаида смекнула, чем все это может кончиться и тут же включила домашнюю заготовку.

— Это он! — кричала на Егора она директрисе. — Он выпустил группу, все им разрешает. Вадим ходил домой к нему, вот плоды его воспитания.

— Егор Трофимыч, — отвела Ева в сторонку Тиганова, — как это произошло?

— Не знаю, — Егор был тоже взволнован до крайности.

— Ну, хорош-ш-шо! — провернулась Ева на каблучках перед Егором, и ему показалось, что на голове у нее зашевелились, зашипели, закаменели кольцами змеи-волосы. — Вы, кажется, недовольны суммой, начисленной за питание? Мы вам ее пересчитаем.

Егор отвернулся и поймал взгляд Давида. Тот стоял — уже торчком — чуть в стороне. Егор сделал шаг к нему, и Давид угул голову и покраснел.

Охота проходила по всем правилам этого и поныне не вымирающего искусства. Сначала зверя обложат, затем попытаются загнать в угол, а уж как брать, дело покажет. Обязанности главного егеря Ева Власовна возложила на Макарова и лишь частично вмешивалась в руководство. Макаров сразу же указал на Жеребчиков Верх — березняк стоял отдельно от основного массива.

— Полундра, пацан должен быть там!

И предложил перехватить перешеек, чтобы не дать “этому противному пацану” махнуть в материковые дебри. А уж потом взяться за Жеребчиков Верх, двигаться с двух сторон, идти веером, развернутой цепью, отжимая пацана, как какого-нибудь дикого вепря, к открытому полю.

— Тут мы его и сцапаем, — закончил освещение своего планчика Макаров.

— Тут мы его и схватим! — возопили ребята.

— Коварная диспозиция, — съязвил Егор и заявил Макарову: — Извините, в такие игры я не играю. Если Вадим там, пойду и приведу его один.

— Так он тебе и дался, — ухмыльнулся Макаров.

— Однако я против, — настаивал Егор. — Против этой охоты!

А колонна уже выходила из парка. Вели за ошейник интернатского Самурая. Самурай прыгал, заискивал, вилял хвостом, изъявляя желание дать полную волю своим пробуждаемым ныне инстинктам. И детские голоса, вторгшись в березнячок, перекликались где-то.

Егор сидел на краю суходола перед непаханным полем и старался не слушать, не видеть, не осязать. Он знал, что Вадима здесь нет. Он обежал весь перелесок, окликавая Вадима. Вадима нет здесь, это точно...

Прислонясь к березе щекой, под припекающим солнцем, Егор боролся с собой, уйти ему или не уйти в тени. Он прикрыл веки: где он — в этом мире или уже в другом, придуманном кем-то? Гранью для него было это вот поле, сини над горизонтом, выжимаемые из земли последним осенним теплом... "Поле, усталое поле, ты хорошо поработало, можешь и передохнуть. Но отчего же тебя не вспахали под зябь, не освободили от сорняков? Сил у людей на тебя не стало хватать? Просыпаюсь ночами — думаю о тебе, за книгу сажусь — тебя вижу. С детьми говорю о тебе. Прервано дело мое агрономское, уничтожена цепь"...

Душа Егорова отделилась от него, переплыла грань, закачалась в своей невесомости — это лень, она жалеет нас с детства, мать всех пороков, всех человеческих бед, это над ней висит вечно дубина, — надстройка из философии, департаментов, тюрем, чтобы ее обмануть, запугать, но не тут-то было, лень всегда на страже своих интересов. Как ненавидит ребенка того, кто вслед за игрой подсовывает ему работу — на комбайне, под палящим солнцем на свекле... Далеко-далеко, где-то за гранью, на непаханом поле, в стайку сбились ребята — пятнадцать его интернатовских "гавриков". В руках у каждого, как у охотника, метательный нож. А ему надо к Стешке, она его ждет где-то у них за спиной, и он знает, как только он сдвинется с места, они начнут метать в него эти ножи. И ножи уже рассекают воздух со свистом так близко, что движением воздуха холодит ему тело; и он укрывает одной рукой сердце, другой — защищает глаза, чтобы видеть эти ножи, которые, не вонзаясь в него, скатываются к ногам, а он все идет... Как сплачивает охота, когда все вместе против кого-то... И глаз на шнурке отделяется, падает в яму. И все это там кипит, как в аду, и из всего этого вытягивается, тянется сюда к нему Вадимова рука...

Егор переступает назад длинную лунную тень и возвращается сюда, в этот солнечный мир. И эти ножи — просто ветер между березами. И детские крики внизу суходола. И в синей дымке, где только что была Стешка, уже росло, поднималось о земли до самого неба великое, неизъяснимо близкое лицо Берегини. Вглядеться — морщина совсем свежа, прорубило, овражило, ливнем по щеке Берегини. Егор почуял, как со дна суходола потянуло привычным островато-тинным, ракушечным запахом речки Алешни, и тут же донесся голос Макарова: "О дьявол, и тут его нет!" — "Вадима нет, я же тебе говорил"... Си-

дел Егор и думал: пора возвращаться обратно к себе в агрономы, не оставаться же тут навсегда с этой Евой, в Евином интернате...

А наутро все только и говорили о вчерашней охоте. Поздняя осень, предзимье. В лесу масса валежника. Как лихо горит этот валежник, когда его жгут. По спине Егора прокатило мурашками: “В России сгорел протопоп Аввакум, в Германии — книги...”

И Ева тут же сменила пластинку. Это хорошо, что вы провели экскурсию в лес поздней осенью. Столько часов на открытом воздухе, в левитановской атмосфере. А теперь, Егор Трофимыч, командирюем вас в Орел, Вадим ведь из вашей группы. Из достоверных источников знаем, парень — в Орловском детприемнике. Обратитесь — выдадут по нашему документу.

— Кстати, — без этого Ева была бы не Ева, — зайдете к своей бывшей супруге.

* * *

В Орел он приехал автобусом к вечеру. Сразу же направился к Миле. С явной мыслью проведать своих ребятишек, с тайной — может, оставят переночевать. Насчет гостиниц здесь было плохо, как и везде.

Вот Орлик, новый мост через Орлик, собор Михаила-архангела с золотой маковкой. Вот знакомый дом, привычная дверь. Клеенка голубыми цветочками, надорвана в правом верхнем углу. Но что-то здесь было не то и не так.

Бывшая теща — Милина мать — встретила Егора с удивлением. Смягчилась, стала, как всегда, вкрадчивой. Заскребло душу от ее откровений. Егор пил и не пил предложенный ею чай, в горло просто не лезло.

— Милечка вышла замуж, и теперь, я считаю, удачно, — поливала елеем бывшая теща, а сама зорко следила за изменениями на Егоровом лице. — Муж, правда, постарше Милечки, но хороший работник, спокойный, порядочный человек. У него умерла жена...

“У спокойных жены рано не умирают”.

— ...его оформляли за границу. Одно из неизменных условий — быть женатым. Сейчас живут в одной из стран Африки, хорошо зарабатывают...

“А дети? Что с Ивашкой, Устинчиком, черт побери!”

— ...собрали на кооперативную квартиру, собирают на “Волгу”. У нее были чеки, знаете, что такое чеки?

— М-да, немного. “Стерва! А что ребятишки?”

— Чеки — вроде рублей, дают тем, кто работает за грани-

цей. На них можно купить, что угодно. У нас в Союзе, в городах, где есть магазины “Березка”...

— Н-да, “Березка”? “А ты, милая, знаешь, что такое ”ономнясь“?”

— Миля ездила в Москву. Накупила всего. Вот дубленка. — Теща распахнула шифоньер. — Вот песец... А этот магнитофон тоже куплен на чеки, он какой-то особенной марки. И этот домашний бухгалтер — калькулятор, называется, помогает экономить. И вон то — журнал мод, Милечка теперь интересуется модами. А я хранительница их семейного очага,—подчеркнула гордо бывшая теща.

— Ага, очага. “Тут вкальваешь-вкальваешь... а эти съездят и в потолок поплеывают... Ну, дебилы!”

— Дети-то где мои? — вслух и грубо сказал, наконец, Егор.

— Дети? Ах, дети, — без пудры теща была некрасива, похожа на свою дочь. — Устинчика они взяли с собой, он же маленький. А Иван ходит теперь в нормальную школу. Крутился тут, убежал, наверно, к приятелю.

Все показала, больше, наверно, показывать нечего. А дожидаться, когда в другой раз Милечка с мужем привококут теще из Африки какой-нибудь бульдозер или отечественный “Беларусь” с плугом, чтобы срыть все это к чертовой матери, у Егора, извините, не было времени. Пора было определяться где-нибудь на постой. И только Ивашка продолжал держать здесь Егора.

И тут хлопнули дверью.

— Папа! — бросился сын Егору на грудь. — Я не спал сегодня... я знал...

И ушло в сторону все: и ты, теща, гребь чеки свои хоть бульдозером, и ты, Миля, лежи под своей египетской пирамидой; и все это перечеркнулось вдруг жаркой, длиной в полжизни, электрической полосой.

— Ивашка, Ваня, — вглядывался Егор в сына, ища и узнавая в родных чертах и себя. — Вот... привез тебе... тут. — И доставал узелок из сумки и совал его сыну, и сын прижимал узелок, не спускал глаз с отца.

— Ну, проводи, проводи его, — довольная, разрешила Ивашке старуха.

Они шли вдвоем до перекрестка. И ночной город валился на них обоих — огромный, таинственный, страшный. Гремел трамвай, вспыхивали за поворотом бегучие фары, самолет тянул над головой свои разноцветные миги. И зависала над ними огромная черная глыба неосвященного дома. Егор заслонил Ивашку собой и услышал, как колотит всего мальчишку, тот выскочил в легонькой одежонке.

— Ну беги же, беги! — подтолкнул он Ивашку.

IV

Ба, знакомые все лица! Начальником детприемника оказался капитан Галахов. Вот уж где не ожидал Егор Тиганов встретить своего старого знакомого.

— Вспомнили, что у меня высшее педагогическое да еще начинал в органах с детской комнаты, вот сюда и перебросили, — вел его капитан по вверенной ему территории. — А тебя-то каким ветром сюда?

— Питомец наш убежал, я теперь в специнтернате, — шел Егор следом за капитаном, разглядывая подростков, которые попадались им здесь, в закрытом дворе, сидели группкой под яблоней за дощатым столом, проносили мимо какую-то железяку. — Вот сюда к вам и направили.

— Сейчас дам команду — всех соберут, выберешь своего. А пока пройдем в кабинет...

Капитан Галахов в новой должности чувствовал себя, как рыба в воде. Свой рассказ Тиганову он начал с того, что здание это историческое — купца первой гильдии Позднякова, в подвале когда-то размещалась большевистская подпольная типография. Свою деятельность на поприще перевоспитания трудных подростков капитан ознаменовал открытием археологических раскопок в углу двора; здесь, по его вескому предположению, имела место стоянка первобытного человека...

— Историк, значит? — улыбнулся Егор, намекая на его высшее педагогическое и на опыт работы в карьере.

— Не говори, одни сплошные истории, — покачал головой капитан. — Народ боевой, заснуть не дадут. Одних с поездов снимают и сюда к нам — путешественники. Другие на краже попадают. Третьи просто так, шалаяй-валяй, беспризорничают. Пока разберутся, кого куда: одних — обратно в детскую колонию, других — на комиссию по несовершеннолетним, в школу, третьих — к родителям домой, они у нас тут кантуются. Мы их кормим, заставляем трудиться — они мне тут весь двор вылизали, здание раза три отремонтировали... А иные задерживаются, ни отца — ни матери. Ждем, когда их в детские дома оформят, в интернаты. Мы тут учим их, имеется учебный класс.

— И много таких?

— Ни много ни мало, а должность на четыре маленьких звездочки, — снял телефонную трубку капитан Галахов. — В соседней области, значит, больше, если там сидит человек с одной звездой, но покрупнее — майор... Лейтенант Вахтин! Дай команду на общий сбор. Да-да, в учебном классе. Скажи,

придет начальник с одним интересным человеком, побеседуют.

Сделали небольшую паузу.

— Пошли, — встал капитан Галахов. — Уже собрались, это они у нас мигом. В прошлый раз приводил им писателя, в позапрошлый — археолога.

Вошли в класс — все вскочили из-за парт и стояли.

— Садитесь, — сказал капитан.

Все так же мгновенно сели. Егор бежал по рядам глазами: мальчики и девочки, постарше и помоложе, совсем малыши. Умный взгляд и дебильный. Насмешливый, колючий и потухший, горестный. В модной куртке с иголочки и в сером заношенном ватнике. Но все одинаково настроенные. Глазки в щелочку.

— Кого вы любите, ребята? — бодро спросил капитан Галахов.

— Начальника, — хором ответили все.

— А не любите?

— Прокурора.

— Так прокурор тоже начальник.

Молчание.

— Вот, видали, какие они у меня, орлы... Эту вот мы сняли с поезда, попрошайничала. А у самой дома еды завались, мама даже в столовой работает.

— Я к тетке ехала, — заканючила девочка с грязной лентой в косичках и бросила неожиданно резко. — Что ж я буду голодная, что ли?

— А вот этот у нас воровал. Воровал, Петя? Ну, скажи, неужели стесняешься?

— На стреме стоял.

— Он на стреме стоял, пока взрослые магазин на сорок тысяч рублей чистили.

— Они деньги взяли, а тебе, Петя, что дадут?

— А мне — небо в клеточку... Ах, где мои семнадцать лет? На Большом Каретном. Где мой черный пистолет? На Большом Каретном...

— Петя у нас любит петь, — по-прежнему полусерьезным и полуироничным был капитан Галахов. — Мы Пете специально гитару купим. Петя знает всякие песни. А ну какие песни просила петь тебя мама? Ну какую больше всего любит на свете она, твоя мама?

Голова у Пети гнулась все ниже, ниже, выпирали лопатки. И вдруг Петя — этот длинный, тонкий парнишка в модной куртке с иголочки — вздрогнул, конвульсии сотрясли его тело, и все услышали его тонкий-тонюсенький, прямо-таки детский голос. Это рыдал он, гроза детприемника, всегда гордый и независимый Петр Артюхов. Глаза у ребят стали влажными.

— Ну хорошо, — вздохнул капитан Галахов. — Мы сейчас выйдем. А вы приведите себя в порядок.

За дверью Егор заявил капитану решительно:

— Я больше туда не войду!

— Ну да, — грустно сказал капитан. — Нас надо поить молоком, вредное производство.

Дальше Егор не знал, куда идти, где искать Вадима Карцева, и он возвратился из областного центра ни с чем.

А Вадим, оказывается, был уже в интернате. Его привела в группу чуть ли не за руку Осиповна, их интернатовская повариха. Эти два дня он прожил у нее дома, в комнате через стенку с Егором. Осиповна рассказывала, как Вадим прибежал к ней в слезах, ни за что не хотел возвращаться.

Осиповна — сердобольная, отзывчивая женщина — не раз привечала у себя интернатовских. Потчевала всякими вареньями и соленьями, которые она готовила вкусно, всегда в изобилии и которыми охотно всех угощала. Она умела создавать детям домашнюю обстановку, без чего иные уже не могли, катились неудержимо к нервному срыву. И если бы не Осиповна, делавшая все это в тайне от всех, сколько было бы таких срывов. Осиповна пресекала их в самой критической точке. Вот и с Вадимом. Она ждала дома эти два дня, когда сойдет с него, скатит, все станет на место, и он снова сможет жить там, где и жил. Когда же дело приняло серьезный оборот, она попыталась уговорить Вадима вернуться, это ей удалось только на третьи сутки.

Директриса налетела на Осиповну, как коршун. Кричала при воспитателях, детях, даже при Вадиме. Зловещая — ушла в свой кабинет. А через день собрала местком и с улыбочкой этак сказала, что у них в коллективе предстоит большое событие: проводы Осиповны на заслуженный отдых. Не возражаете? Никто, конечно, не возражал. Кроме Клары Зарецкой, она была членом месткома. Клара сказала, что надо бы спросить желанье самой Осиповны. Ева вздернула верхнюю губу, показав зубики — два белых коралла, и кивнула: хорошо, позовите. И тут же попросила местком утвердить подписанный ею приказ об увольнении кочегара Калиткина — напился на днях вдребезги и чуть ли не взорвал оба котла, оставил бы весь интернат без тепла.

И на доске объявлений появился красочный плакат: “Поздравляем Веру Осиповну Пеклеванную с уходом на заслуженный отдых. По этому поводу общее собрание — в 17-00. Явка всех обязательна”. Только тут Егор, как и многие другие из “молодежного корпуса”, и узнал, что зовут Осиповну “Вера”, а фамилия — “Пеклеванная”.

Не собрание предстояло, а панихида какая-то. Все ходили, как в воду опущенные. Осиповна еще сильная, здоровая жен-

щина, она хочет работать. А уж как умеет готовить в столовой и как привечать — свое, чего не хватает, из дому притащит, такой уж она человек. Но тут же прошелестел слушок, что Ева уже пригласила второго повара, из совхозной столовой, и тот уже являлся смотреть производство. Между прочим, тоже был “мореманом”, числился коком на рыболовецкой флотилии. Если такой же приверженец “истины в вине”, как и Макаров, то, извините, это уже морской экипаж. Обойдется Макаров и без Калиткина.

Стулья расставили во всю рекреацию. Сроду чего не бывало, коллектив собрался в полном составе. Пришли даже те, что работали внизу, в цокольном помещении — уборщицы и массажистки, даже кочегары. Даже изгнанный с позором Калиткин. Калиткин втиснулся в дверь, протянул на известный мотив:

— Сказал кочегар кочегару... Придете просить назад — не вернусь, Калиткины не возвращаются...

На него зашикали: тихо ты, чума болотная. Захлопнули дверь перед носом. И Ева Власовна взяла себе слово.

Дала историческую справку, напомнив, что Осиповна стояла у истоков специнтерната, активно участвовала в создании крепкого, здорового ядра. Охарактеризовала Осиповну и с точки зрения современности как добросовестную, настоящую труженицу, которая никогда не подводила и не подведет, это живой, исключительно яркий пример для остальных работников пищеблока, всех подсобных рабочих, а также всего обслуживающего персонала.

— Для чего ж на пенсию тогда провожаем? — подал кто-то голос из заднего ряда. — Может, ее оставим, если справляется?

Ева Власовна так сверкнула глазищами на говоруна, что у того отбило всякую охоту к словесным излишествам.

И все же, когда Осиповне уже вручили Почетную грамоту и подарки, на что Егор сдал и свои пять рублей, и Осиповна встала поблагодарить, прослезилась, Клара Зарецкая вскочила и заявила, что она не согласна, Осиповна могла бы еще поработать. Ее тут же осекли — и даже не сама директриса, а, как ни странно, воспитатели со стажем — “стражи порядка”. В гнетущей тишине завершилось это собрание.

“Молодежный корпус” держался особняком, девчата уходили из интерната все вместе, к ним примкнул и Тиганов Егор. Возле самых дверей Егора отозвал в стороночку Карцев Вадим, взволнованный до неузнаваемости.

— Чего это ты? — занятый совсем другими мыслями, удивился Егор.

— Я знаю, — Вадим был расстроен чуть ли не до слез, — Осиповну прогнали из-за меня. Это несправедливо, несправедливо!

После проводов Осиповны молодые сошлись в той же комнате у девчат. Егор сидел в сторонке, слабо вникая в смысл разговора: женщины есть женщины, что с них возьмешь. Однако Клара Зарецкая — думал он, — несомненный лидер, способна мыслить логично. Конечно, ей еще не хватает опыта, но, обладая малым, она интуитивно угадывает верное направление. Егор представил ее на месте Евы — получалось, Клара прямее, открытее, как ни странно, даже профессиональнее. “Просто так у них с Евой не обойдется. Нашла коса на камень... Клара и два белых коралла... Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет”...

— Вы посмотрите только, какая у нас в интернате казарменная обстановка, — говорила Клара. — Слежка, доносы, чуть что — наказание. Такса даже разработана Евой, что за что полагается...

— Девочки, девочки! — перебила Клару Тонечка Фирсова, эта моль, белорыбица, живет с Кларой тут в одной комнате. — Когда Ева сказала, что Осиповна последним поделится, жаль ее отпустить, я, верите, чуть не заплакала...

— Ты — артистка, — перебила Тонечку Клара. — У тебя слезы близко. Ты что хочешь, изобразишь. Ну-ка, Тонечка, изобрази Осиповну.

Тоня закатала рукава кофты, поставила руки в боки и, надув щеки, произнесла низким бархатным голосом:

— Доченьки, я сварила вам сегодня манную кашку.

Все забили в ладоши: правдоподобно, вылитая Осиповна, только лет подбросить да тела наесть, ну да это дело живое.

— Медузу, изобрази, Тонечка, Медузу!

— Ну ее, — отмахнулась Тоня. — Не интересно.

— Ну изобрази, Тонечка, Тоня, изобрази! Боишься, да?

Тонечка пошарила под кроватью, достала из недр старые Кларины туфли на шпильках. Всунула ноги, защелкала ими по полу к зеркалу. Зырь в него — приподняла верхнюю губку, показала два белых коралльчика. И дерг-дерг носиком:

— Эт-ти з-запахи! Опять ходят мимо! За туалетом не смотрят. Всех увол-лююю, рэспэтрэрэшу-у!..

Вошла в роль, расходилась, разбушевалась — швырнула шпильки в дверь, шапку чью-то хотела выкинуть в форточку — едва перехватили. Повалила на постель Клару и давай ее под бока, душить, щекотать.

— Ой, умора! — хохотали девчата. — Ну артистка!

— Ладно, девочки, посмеялись, и хватит, — остановила вакханалию Клара. — Завтра мне в шесть ноль-ноль подни-

маться, в полседьмого предстать перед очи детей. И тебе, Тонечка. Не то Властовна нам с тобой такое изобразит!

Эту неделю Егор работал тоже в первую смену. Поднимает с постели ребят, а сам нет-нет да и вспомнит Кларины слова: казарменная обстановка. А на окнах — занавесочки, на шкафчиках — цветы бумажные, сами ребята все делают, соревнуются группы. А все воскресенье просидели на подоконнике, хотя кино рядом...

— Подъем, ребята! Пора подниматься.

И к девочкам. А у девочек — “подушечная война”. Егор вошел, а они — ноль внимания, продолжают швыряться подушками.

— Девочки, вставайте.

— Не встанем.

— Вставайте, девочки!.. Не то сбегая за ведром, окачу ледяной водой — как пробки у меня повываете.

— Ой-ой! — в притворном ужасе закрывают все они глаза одеялками.

Егор хватается за ведро.

— Ладно, встаем, — с ленцой подает голос Капа. — А вы, Егор Трофимыч, выйдите.

— Ах, да, — соображает Егор.

Не интернат — девичник какой-то, сплошной женсовет. Воспитатели — женщины, воспитанницы тоже женского рода, а еще медсестры, массажистки — все женщины. Из мужчин в интернате только врач Макаров, да Нефедов, новый повар, да еще двое в кочегарке, ну и он, Егор, сам так считает себя — “чудо гороховое при педагогике”. “Много знать будешь — скоро состаришься”, — бросила как-то Ева Кларе Зарецкой, чтобы слышал Егор.

Глаз у Егора востер, деревенский. Вон откуда увидел повозку у магазина, и кого возле повозки? Боже, Стешка! Кинулся в спальный корпус окно открыть, разглядеть получше — не открывается. Со второго этажа через три порожка — в парк, через парк — к магазину, а той телеги и след простыл. Стоит телега, но совсем не та, и молодая возле телеги неизвестно чья. Не Стешка, ничего похожего, как подменили. Огляделся вокруг Егор: где же Стешка-то — нет Стешки. Так и не понял: Стешка то была или не Стешка? Если бы Стешка, разве бы так быстро уехала?..

— Ну, и как ваш театр? — прошла близко и возвратила Егора в этот мир Ева. — Артисты! Роли только вот артистам не по зубам.

— А что ж, по зубам за это артистам?

— Злые, нехорошие взрослые дети, — улыбалась Ева одними глазами.

Стешка была в Подшибякино. Но, исполнив заветы, переговорив кое с кем, в сердцах вожгой ударила лошадь, телега нырнула за магазин на проселок, заросший раkitником, и была такова.

Два дня отходила Стешка от этой поездки. За пустяком ездила — за голубой масляной краской, какая была и в Ярище. Матери так и сказала: ездила, мол, на Ярище. Да только мать не проведешь. Лошадь вернулась приморена, грязь на колесе с рыжеватинкой, в Ярище такой земли нет.

Стешка не спускала девочку с рук. Стешка назвала ее Полинкой, в честь своей житеневской бабушки Прасковьи — Полины. “Полина Егоровна”, — так записали Стешкину дочь в сельсовете. А фамилия что у матери, что у отца одинакова — “Тиганова Полина Егоровна”.

Стешкина мать отнеслась к рождению внучки спокойно. Зато Петр воспылал к Полинке любовью, рассчитывал, может, через этот живой комочек пробить стежку к сердцу матери — Стешки. Из летней кухоньки Петр переселился в теплую, зимнюю. Ходил без конца через сенцы в спальню к ним, то пряник Полинке принесет, то бумажного зайчика. “Да она же еще ничего не берет, — улыбалась настороженная Стешка. — Хватит тебе дверью хлопать-то, хату выстудишь. Полинка ночью опять чихала”. И пристыженный Петр уходил, чтобы вскоре появиться опять.

Побежала Стешка в магазин — мыльца купить, мыло кончилось, а Полинку надо купать. Прибежала, а там, как всегда, народ — ждут, может, чего-нибудь привезут. Бабы вроде не смотря на Стешку, а сами одна другой:

— Видали, завилась гулена. Произвела дочь на свет божий от Ивана Ветрова. А в сельсовете записала от Егора, от агронома ярищенского.

— Ну, девка! То Петра притащила с великой стройки, а то теперь девку из Житеня. Мало ей наших ребят, оболешевских. Венька Бахтин до сих пор по ней сохнет...

Стешка было вспыхнула: “Какое вам собачье дело”. Но сдержалась, стояла и слушала, вроде не про нее. Взяла мыла да деру, ноги ее больше в магазине не будет, пускай в магазин ходит мать.

Уж на что доярочки, с кем работала на ферме, и те сперва отвернулись. Пришли на Полинкины смотрины только к концу третьей недели. Постояли-постояли у порога, повздыхали-повздыхали о сиротстве людском, сунули подарок за шифоньер конверт для новорожденной — и смылись. Стешка тут же этот конверт в печку бросила — обойдемся.

И только через месяц стали подружки захаживать к Стешке по одиночке. Оглядчиво, одна по другой. А вскорости так зачастили, так Полинка понравилась, что отбою не стало. На ферму бегут — сюда к ним с Полинкой сначала, хоть на минутку. С фермы возвращаются — не домой сразу, а тоже к Стешке. Засидятся, спохватятся, что же мы, дуры, сидим, дела-то дома не делаются, и опять сидят. Такого Стешке понаговорят — как купать, пеленать, когда чем кормить, — только слушай, целая академия. Каждая про свой опыт, своего ребеночка, как и что у самой было, чем болела, на что был аппетит. Так расходятся, раскипятятся, словно сами рожать собираются, одна свое советует и другая свое — никакого согласия, только Полинка всех и умиряла. Подаст голос — все разом притихнут.

— Вот басок-то, — скажет кто-нибудь. — Как у отца.

— У отца не басок, — улыбнется значительно Стешка. — Жидковат у отца нашего голос.

И опять все молчат. И начнут расходиться. А Стешка как с утра улыбнулась Полинке, так и ходит весь день, улыбаясь. Спокойнела, округлилась, стала, как все, одним словом.

За что только упорствовали перед Стешкой подружки, так это за то, что от чужого — ребенок-то, не от своего, оболешевского, вон сколько их бродит, своих, лоботрясничают. Ладно вам, есть кому упрекать! Будто сами все замуж повыходили, куда хотели, тоже иные ведь привезенные, из чужих деревень.

— Коблы — мужики, — заикнется какая-нибудь, но тут же осечется под суровым Стешкиным взглядом.

Это дело такое, напомнить обо всем таком боязно, вдруг молоко у Стешки перегорит, чем дитя кормить? И сама Стешка старалась не думать, что будет дальше у них с Полинкой. Из-за Полинки не думала и про Егора. А он возникал перед ней, все стоял — сук дубовый, не опадал до утра, не выветривался. Из слов бабушки Прасковьи она много знала про Егора, особенно про его нелады с Бодраковым. Так оно, может, и лучше, что скрылся Егор, Бодраков опять затевал ведь что-то против него. Стешка и в мыслях ни разу не упрекнула Егора, даже когда было особенно тягостно. Сама виновата, не удержала. Надо же было ляпнуть такое, как только у дуры язык повернулся.

А Полинка росла. И уже начинала гулить. В бессвязных звуках ее Стешка ловила смысл и тогда, возбужденная, призвала в свидетели мать:

— А ну, иди послушай, Полинка-то говорит уже, слышишь? Па-па... ма-ма...

— Рановато еще, — обтирая руки о передник, подходила серьезная мать.

Мать таилась, не говорила Стешке про то, что было извест-

но самой, чем между собой перебрасывались полегонечку ярищенские бабы с оболешевскими. Девочка растет пока ничего, хорошая. В роду Шешкином пятен нет, а по отцовской линии не совсем все ладно: каков младший брат у Егора, видали? А двоюродный дед и вовсе в психобольнице закончился. Так что зорче глядите за девочкой, кабы что-нибудь не переломилось. Бабка — Шешкина мать — и глядела за внучкой, все приглядывалась, обмирая, не спала ночами, изболелась вся, кто их, слезоньки-то материнские, усчитает, когда у дочки — твоего дитя — складывается все не по-людски. Правда, в городе, говорят, сейчас таких много, город идет впереди, и пускай идут, пусть живут, как знают, на то они городские...

Заметила мать, Шешка маяться стала. Ходит места себе не найдет. Примется вдруг стирать, когда и стирать-то не надо, все пеленки давно перестираны, высушены матерью — готовы, только бери. Или возьмется полы мыть. А полы уж помыты. Ни пылиночки — ни сориночки. Ведь ребенок грудной в хате, бабка разве не понимает? Или кашу станет варить — кашу можно, кашу будем варить вдвоем, бабке тоже ведь интересно.

— Я тебе платье купила, — сказала она дочери.

— Да ладно, — Шешка даже не обернулась.

Когда за завтраком Шешка заговорила о краске — голубой масляной, мать ее насторожилась; чего это она? Зима на носу, красить вроде ничего не собирались. А когда Шешка заявила, что краска такая появилась в Ярище, и ей надо туда за краской, мать кое-что сообразила, но ничего, сказала: езжай. И когда на тележных колесах увидела грязь рыжеватую, утвердилась в догадке: дочка ездила далеко, а куда — и сама когда-нибудь скажет. Не говорит — значит, что-то не вышло, ходит сама не своя — значит, дело неважно. И матери тоже стало нехорошо, еще хуже, чем было. Надо в Житень сходить, мамку проведать — Прасковьюшку, Берегиню.

В доме Трофима Тиганова незаметно, но все переиначивалось. Тоська — это тебе не Устинья. Та, первая жена, была у Трофима кроткая. А эта бой-баба, с характером, мигом в шоры взяла мужика. В рюмку — не помнит Трофим, когда и заглядывал. День ото дня, от недели к неделе исчезало из дому все Устиньино, заменялось иным, Тоськиным. И только в Трофимовой памяти кое-когда восставала Устинья, смотрела в него то укоряющим, то ободряющим взглядом. Но Тоська была на страже, тут как тут, сейчас же подлетала к Трофиму: тебе что, делать нечего?

А дел у Трофима и в самом деле стало невпроворот. То сел, бывало, на трактор и паши, за себя одного отвечай. А то теперь у него система торговли, конечный этап распределения. Со всех сторон на этот этап кидаются, так сразу и черти в нем не разберутся. Спасибо, Тоська помогает, башковитая баба. Тоська-то на эту работу его и толкнула, когда в их местности от райпотребсоюза открывали заготовительный пункт. Ты, — кричит, — рабочий контроль, тебя должны взять на работу. И взяли.

Конечно, это тебе не магазин, но и заготовителю надо вертеться. И возле Тоськи, и по двум своим сельсоветам. Конечно, крестьяне сами несут излишки на пункт, но и ты не зевай. А ну — покрутись по крестьянским дворам, если хочешь не просто есть хлеб, но хлеб с маслом. Крестьянская продукция — дефицит. Алатырю продукцию только давай. Все эти овощи, фрукты, мясо и шерсть, и прочее. И все надо перехватить, чтобы не на алатырский рынок ушло, а к нему на пункт. И крестьянину как-никак легче. Вот и мотался Трофимов “Москвич” по округе, захватывал даже соседний район. Лишь иногда оставалось для души какое-то времечко, но тут же наваливался отец на него — Решетовский, только лицо у него, непонятно какое — не сохранилось ни одной фотографии. А Коршунов живет теперь рядом тут, в Волчьем Шляхе. Если бы не этот Коршунов, жизнь у них с Егором была бы другая...

Тоська не сразу переселилась к Трофиму, долго еще жила на два двора. У Трофима все переделает и к себе бежит. Тоже полы помоеет, перетрет посуду, поросенка и кур накормит. И сидит, посиживает у оконца, пока Трофим не зайдет за ней:

— Ты что домой не идешь?

— А я дома.

— Иди. Хата не топлена, без тебя ведь нахолодала.

Пойдут вместе. Тоська и у Трофима мигом все переделает. А живность Тоськина — поросенок и куры — были только предложением у Тоськи, чтобы не бросать свою хату. “С чужой худобы и посеред грязи слезешь, — раздумывала Тоська. — А ну как выгонит — куда пойдешь, если хата своя завалится?” Трофим, в отсутствие Тоськи, взял и зарезал ее поросенка, а Тоськиных кур перетащил в свой курятник.

— Где поросенок? — надвинулась на Трофима вечером Тоська с половником.

— В Алатырь отвез, в столовую. Вон деньги в серванте.

— А куры мои?

— Были твои и мои, а теперь наши, поняла? В курятнике куры. К петуху подсадил, лучше будут нестись.

— Ну вот что! — сделала Тоська решительное заявление. — Раз новая жизнь, так новая. Зови меня теперь Тоня.

— Тоня!? Это в честь чего?

— Люди пусть зовут, как хотят. А ты дома — Тоня.

— Ты что, сбесилась?

— Такие слова не употребляй. Зови меня Тоня! Антонина, и все.

— Ладно, как хочешь. Тоже мне, новорожденная!

— Новорожденная, да не я! Знаешь, что люди говорят? Ты — трижды дед, у твоего сына Егора еще и дочь родилась... Да, в Оболешево, а где же еще? Съездил бы, дед, посмотрел внучку, ведь не чужая.

— Внушка родилась? Вот дела. Хорошо, собирайся, Тоська... Тоня, Антонина... Едем завтра же.

Разложил Трофим на столе свою бумаженцию — торговую документацию: кто и с какого населенного пункта продал ему в текущем месяце сколько какого сельхозпродукта, кому сколько уплачено и куда в Алатыре данный продукт направлен. Давно уж сидит Трофим, обхватив голову, и не видит никаких цифр. Тоська позвала его:

— Петрович, иди-ка ложись, завтра рано вставать.

И еще позвала через какое-то время. Трофим не ответил, весь захваченный мыслями теперь уже о своем старшем сыне Егоре. Нескладная получается жизнь у Егора. Мыкается по белому свету: из города — в деревню, из деревни — в бывший райцентр. С одной женой нажил двух детей — не живет. С другой — не понятно, кто она ему, — не живет, а детей пускает на свет. Ну нажал Бодраков — понятно, у него хватка медвежья, жалости нет никакой, так что, сразу бежать? Жизнь пошла грубая, крутая. Коршуновская. Опыта сколько надо, какого внимания-понимания, чтобы знать, что надо делать сейчас, и куда все это вывезет?..

— Трофим Петрович, — вышла из спальни, сладко потягиваясь, Тоська — Тоська — Антонина. — Ну чего расселся со своими бумагами? Не горит ведь, после просмотра, ложись.

И присела рядом. Положила руку ему на плечо, прилегла мягкой щекой.

— Я говорю, Егор-то наш ай характера не имеет? — сказал Трофим медленно, как бы раздумывая. — На баб больно падкий. А сам думал: рассказать ей все же про Коршунова или не рассказать?

— Не сказала бы, — усмехнулась Тоська. — Правда, до отца ему далеко.

— Я говорю, сразу бежать ему надо, от Бодракова-то, — перевел Трофим разговор. — Может, мы чем-нибудь ему помогли бы, а? Нас тут все-таки много, Тигановых.

— Да что толку, — шелкнула Тоська шутя его по уху. — Род большой да кто куда, собирать начни — как иголки в сене.

Вишь, жизнь какая, что по радио говорят. Всем в кулак собираться надо. Стало быть, и роду всему нашему Тигановскому. Чтобы крепче стоять.

— Умница ты, голова, — ушипнул игриво за бок бабу Трофим. — Да пока еще ничего, стоит крепко, видала?

— Дуррак, — засмеялась Тоська.

И пошли оба спать.

В Оболезево Трофимов “Москвич” въезжал в полдень. Стешкина мать, взглянув в окно, глазам своим не поверила. Только и успела вскрикнуть:

— Ой, кто к нам приехал! — И бросилась в сени.

— Кто же там? — откликнулась Стешка, она была в спаленке, как раз кормила грудью Полинку.

Дверь распахнулась, в просвет между занавесями Стешка увидела — даже привстала вместе с Полинкой — отца Егора, Трофима Петровича.

— К родичам вот прикатили, — загремел Егоров отец прямо с порога. — Внучку свою посмотреть.

— Проходите, проходите, дорогие, — суетилась Стешкина мать перед Тигановым Трофимом и женой его Тосей. — Проходите, присаживайтесь, всегда рады, милости просим.

— Ну-ка, где она, наша Егоровна? — не успокаивался отец Егора Трофим.

— Где Полина Егоровна? — поддакивала в тон ему Тося. — А ну выходите, выносите ее, поглядим.

— Мы сейчас, — заканчивала поспешно кормление дочери Стешка. — Мы идем.

— Кормит грудью, — по-свойски сообщила Трофиму и Тосе Стешкина мать. — Сейчас выйдут.

Стешка вынесла Полинку прямо в пеленке, голые ножки болтались по воздуху. Стешка стояла перед всеми, зорко глядявываясь в выражение глаз Егорова отца.

— Дочка, — шагнул к ней Трофим, — ну-ну, покажи-ка нашу красотку.

И Стешка приоткрыла пеленку, и Трофим с Тосей наклонились над спящей Полинкой.

— Вылитый Егор, — заключила Тося.

— Вылитый, — подтвердил Егоров отец. — Полинка? Полинка.

И тут что-то потекло по простыне, по рукам Стешкиным, закапало на пол.

— Салют дает, — замотал головой Тиганов Трофим. — Дед

пришел, деда чует, а как же, — гордо откинул он свою мучнистую голову и огляделся. — А то все мрут да мрут старики, все таскают на кладбище, Полинка рождается нам подопрет, подопрет — самая младшая теперь в роду Тигановском.

И метнулся в переднюю, где на конике лежали принесенные ими с Тосей подарки, за которыми Трофим смотался сегодня в Алатырь. Выхватил побыстрее из сумки самый большой апельсин и к Полинке.

— На-ка, на-ка, внучечка, — совал он круглое оранжевое солнце туда в пеленки.

— Да она еще ничего не умеет, — так и сияла Стешка.

— Хорошая девочка, хорошая девочка, — притрагиваясь к краю пеленки, обрывисто, толчками, совсем, как Егор, смеялся Тиганов Трофим.

— Ничего, мамка съест, — несла Тося сюда из передней апельсинов целую сумку, — а дочке пойдет на пользу.

— Ой, да что ж я стою-то! — всплеснула руками Стешкина мать и хотела было броситься на кухню, как отец Егоров, сдвинув брови, спросил:

— Ну, а этот хамаидол здесь был?

Все поняли, о-ком речь. И день померк.

— Ладно, — оглядывал Трофим посмурневшее общество. — Я сюда его пригоню!

Полез Тиганов Трофим на потолок, куда в деревянный ящик из-под немецких батальонных мин положил для лучшей сохранности письма Решетовского, а писем — нет! Трофим туда-сюда — нет, да и только! Кто бы это мог взять их, для чего? Сжался Трофим, может, Егор наведывался тайком?

В тот же день Трофим побывал в Подшибякино. Подшибякино — это село, куда ему до Алатыря. Трофим нашел сына в специнтернате. Отошли в уголок парка, подальше от всех, — отец и сын.

— Что ж ты, стервец этакий, чужих воспитываешь, а своих бросаешь? У нас в роду таких не было.

— Миля за границей, вышла замуж вторично, — опустил Егор голову перед отцом. — Устинчик с ней, и Ивана Миля мне не отдает.

— Я не про ту, та не пропадет, — ел отец глазами Егора. — Я про другую. У тебя в Оболешево дочка...

— Это не моя дочь.

— Как не твоя?

— Стешка сама мне сказала.

— Дураки! Молодые, жить не умеете, — говорил отец уже мягче. — Лично удостоверился: вылитый ты, Егор. Твоя копия, нашего рода.

— Точно? — оживился Егор.

— Вот что, дорогой, — на строгой ноте закончил политбеседу отец, — чтобы в ближайшее время был в Оболешево! Иначе, ты меня знаешь, ремнем всего исхожу. Не посмотрю, что детей у тебя больше, чем у меня, я дурь из тебя вышибу, понял меня?

— Понял, — смотрел Егор мимо отца.

— А письма Решетовского где, ты взял?

— Письма? — удивился Егор. — Не-е-ет, не брал никаких писем.

* * *

Ничего себе наследство досталось Еве от прежнего директора. Каленым железом собиралась она выжечь прежнюю скверну. Но не все получается, как задумывается, чаще боком выходит. В конце концов в специнтернате создалось такое напряжение, по Евиным словам, даже “революционная ситуация”, а все они — “родимые пятна”.

После собрания директриса сменила тактику. Вызовет к себе Капитолину Ивановну, прочитает нотацию, чтобы та, в свою очередь, пустила Евины идеи вниз по инстанции. Завуч, в свою очередь, вызовет старших воспитателей, учинит разнос им, наставникам, чтобы те, в свою очередь, прижали хвосты молодым. Уловив ветры сверху, наставники повеселели: слова у Евы одни, а дела другие. И “корпус стражей порядка” воспрянул: все возвращалось на круги своя...

И все же не это главным было сейчас для Егора. Главным сейчас было то, что у него росла в Оболешево дочь, “вылитая копия”, может быть, именно ей суждено стать самым близким ему на земле человеком. Стешка тогда обманула его, зачем? Попробуй вникни в женскую душу. А тут еще и отец вылез с письмами Решетовского. Кто бы это мог все устроить — Тоська? Да, но какой смысл? Из ревности, вредности, передать Коршуну за деньги?

И Егора потянуло назад в Оболешево, Житень — Тигановку. Что-то в нем заострилось, переломилось надвое; это, подшибякинское, сжалось, сделалось маленьким, а то, оболешевское, росло, разрасталось, менялось во времени...

В такой момент и встретилась в коридоре Ева. Директриса сделала плавный, прямо-таки балетный круг, однако без улыбки, даже как-то сожалеючи сказала:

— Егор Трофимыч, и вы там были. Некрасиво-то как! И как старший не одернули их.

— Где я был? — с трудом понимал Егор директрису. — У Зарецкой?

— С них, как говорят, взятки гладки, — голос Евы снова был медоточив. — А вот ты мужчина, мы с тобой все-таки земляки, из Ярища... Хотелось бы просто поговорить с вами, Егор Трофимович, не как директору, а по-человечески. Завтра, пожалуйста, в кабинет ко мне, буду в двенадцать. Заметьте, ровно в двенадцать! А то вы имеете привычку опаздывать, особенно утром, к подъему...

Ровно в двенадцать Егор входил в Евин кабинет. Все было здесь, как всегда. Так, радиоприемник "Эстония" на месте, а колонок к нему как не было, так и нет. Глаза на шнурах не висят по углам? Не висят. Ева прошла с ветерком, села не в директорское кресло, а поближе к нему, совсем близко. Наклонялась все ближе, обдавала горячим дыханием:

— Ну и как она тебе кажется, ничего?

— Кто?

— Зарецкая.

Он: "А Макаров тебе? Куда своего мужика денешь, эмансипация!"

Она: "До Макарова тебе далеко, мелко плаваешь. Тот, по крайней мере, мужик".

— Ничего. А что? — и все натянулось в Егоре, ошибаться было нельзя.

— А та... артистка? Что меня там изображала? — исподнизу как-то заглядывала Ева в лицо Егору.

Он: "На откровенность вызываешь? Запрещенный прием".

Она: "Сидит, взвешивает, ценит. С женщиной дело имеешь, не с Бодраковым".

— Изобразила похоже, — ответил Егор.

— Похоже? Какая же я Медуза? — обида прозвучала в Евином голосе. — Если уж братья за греческую мифологию, то скорее я Ниобея. Мать многих детей, наказанных богами за чрезмерную гордость матери. Ниобея окаменела от горя, от материнских страданий.

Он: "Ага, она трагедийная актриса! Лицедейка похлеще Фирсовой Тонечки. Но... переигрываешь, дорогая, нет молодой непосредственности".

Она: "Много ты понимаешь, молоко на губах не просохло. Судишь о женщинах по жене своей, по любовницам".

— Верно, страдания облагораживают, — сказал Егор, подразумевая лучшую из женщин, которых когда-либо знал, — житевскую Березиню. — В страданиях люди становятся добрыми.

Эти слова Егора Ева пропустила мимо ушей. Думала, как и к чему подвести ей разговор.

— Разве же это работа для женщины — директор специнтерната, — вздохнула она после паузы. — Это же только в пресе так: мать большой семьи, обогрела детей. А ведь сюда мужика нужно, битюга! Держать на плечах такую махину. Детей, да еще таких, педагогов, весь баланс, чтобы все это крутилось, чтобы шестеренки работали, не вцепились друг в друга. Ужас какой-то, стеклянный зверинец.

Он: “Зверинец? В котором чувствуешь себя львицей”.

Она: “Тоже ведь не святой. Знаем вас, мужиков. Клара возле тебя закрутилась или ты возле Клары — мы еще поглядим”.

— Не директор, а выбивала какой-то, — в голосе Евы был явный минор. — Ездишь, выпрашиваешь, умоляешь, на колени становишься, а ведь есть разнарядки, государственное обеспечение... Посмотри на это здание — бывший райисполком, бывшие кабинеты — ну где проводить ребенку психологическую разгрузку?.. А дети у нас какие — от трех лет до десятого класса. И на руках носим, и замуж выдаем. А абитуриенты какие, кого берем с улицы? А что за семьи, бог мой! Приезжают дети с каникул и матом, как... в кочегарке. А повара смеются...

— Ну Осиповну вы не берите, — сказал Егор твердо. — Осиповна — человек.

— Челове-ек?? — Ева даже изменилась в лице.

В глазах ее мелькнуло что-то бесовское. Как у Капы, тоже глаза на шнурочках?

“Тик-тик, так-так, — перестукивалось в мозгу у Егора. — Или вписывайся, братец, в орбиту, или вылетай к чертовой матери, пополняй скрытую безработицу”.

— И вот я несу эту ношу, заставляю, чтобы и другие несли, уже без всякой рисовки, на весь кабинет, сказала Ева Власовна и встала. — А вы, Егор Трофимыч, не хотите мне помочь.

— Хочу, — поднялся Егор. — Везу, но свой воз. Может, мне не хватает профессиональных знаний и опыта?

Он: “Сильная баба. Ломовик, меряет всех по себе. Почву на своем приусадебном всю сменила — старую вывезла, новую завезла. Куда до такой ее мужику”.

Она: “Ерепениться будешь — сотру”.

— Ну вот и хорошо, что мы поняли друг друга, — читала Егоровы мысли Медуза и разулыбалась, сделалась прежней, а глаза словно шторкой задернулись. — Я тут кое с кем посоветуюсь и в ближайшее время проведем педсовет. Необычной такой, в непринужденной обстановке. За чашкой чаю. Поговорим, Егор Трофимыч, со всеми, как вот с вами сейчас, по душам.

Он (в последний раз, уходя): “С загадкой баба, вернее, женщина. Что же держит ее, как гвоздь? Самолюбие, неудовлетворенное тщеславие?”

— Хорошо, Ева Власовна.

— Желаю успехов.

“Тик-так, так-тик, — вышел Егор из Евиного кабинета и вздохнул троекратно. — В ближайшее время ехать в Оболеншево не придется”.

И плюнул с досады под стенку, где еще висело объявление о проводах Осиповны на заслуженный отдых.

Вскоре это объявление было заменено на не менее красочное — о педсовете. Через завуча Ева запустила свою пропаганду: соберемся, выговоримся, выскажем друг другу претензии, очистимся и обновимся. “Это Ева от Осиповны очищается”, — рассудили на первом этаже все от кухни до кочегарки.

Готовились к необычному педсовету, как к празднику. Ждали от него перелома в их обыденной, не богатой событиями жизни. С работы домой поскорее, к детям, на огород, к корове и поросенку. И так каждый день, целые годы. То, что было в надеждах, уходило куда-то, как сон, из не ими прожитого и пережитого, и возникала зависть к тому, у кого еще хватало сил на надежды, и к молодым, у которых все, естественно, впереди. Да копилась злость на телевизор, извергающий “красивую жизнь” где-то в больших, благоустроенных городах и столицах, отчего жить в каком-нибудь Подшибякино становилось еще невыносимее. Педсовет что-то изменит им, откроет заросшие горькой пылью дороги друг к другу, скрасит одиночество, в сущности каждый и мучается ведь от одиночества...

Коренных, из местных, в эти дни как подменили. Они носились со своим, каким-то особенным тортом, который они собирались испечь у Капитолины Ивановны, молодым без конца давали советы: как приготовить простейшее — хрустящий “хворост”, печенье с корицей, миндалем, орехами и еще бог знает с чем, чуть ли не с помидорами.

Егору вспомнился Бодраковский “чай с огурцами”, и он улыбнулся: молодым все равно не печь, отчего же не принять советы. Активисты предложили скинуться по трешке на чайный сервиз общественного пользования, ведь и на будущее пригодится, мало ли что. Но тут уж Ева показала себя: в магазин послала завхоза, и тот притащил из “Товаров повседневного спроса”, на показ всем, чешский сервиз — фарфоровый, розовый, с перламутровым отливом. “Была не была, — махнула рукой на возможную ответственность Ева Власовна и велела сервиз приобрести за казенные средства. — Вещь. Не на год купастся”.

Вот, наконец, и педсовет. Молодые пришли и уселись кучечкой, около Клары. Коренные, какие постарше, пришли и расселись вокруг своей Капы — Капитолины Ивановны, завуча,

что мухи около торта. Сама же Ева вытащила столик на середине рекреации, пригласила к себе мужчин — Макарова и Тиганова, которые (улыбочка в зал, как из журнала; губка за зубки не зацепилась) в нашем уважаемом женском педколлективе, вроде как ископаемые". И "чаепитие" началось.

Ева поздравила всех присутствующих с праздником: педсовет совпал с днем рождения одной воспитательницы, из местных. И воспитательница эта встала и принялась обходить столы, класть от себя лично пирожки, конфеты, соленые огурцы, помидоры. "Как на могилки кладет", — пырнула Фирсова Тонечка. — "Сиди, дура", — одернула ее Клара.

— Огурцы-то зачем? — снисходительно, с высоты своего положения, замечала имениннице директриса.

— А ничего, вкусно, — с хрустом откусила Клара Зарецкая огурец.

За Klarой и остальные потянулись к тарелкам, у девчат был всегда аппетит. В столовой питаться они не питались, Ева разрешала питаться только двоим — опять же Макарову, ну и Тиганову. Но у Макарова здесь на селе отчий дом, зачем ему постоянная столовая, разве так, для разминки. Выходит, из преподавателей питался в столовой только Тиганов Егор, но и Егор сейчас не отказался от пунцовых, пузатых, ядреных таких, хоть на выставку, помидоров.

Чай был тоже хорош, без мух, конечно. Но со слоном на пачке, говорили, индийский. Может, и грузинский под видом индийского, но слона с бревном нарисовали — хочешь верь, хочешь нет, дело твое. А в общем чай всех взбодрил, оживил. И все вокруг, а не только сервиз, чашки розовые, показалось Егору в розовом свете. Все бы хорошо, да письма вот Решетовского — эти не меркли, торчком стояли в душе. Ну да про это потом, разберемся. А пока выпили по первой, и Ева Власовна встала:

— Кто хочет высказаться?

Высказываться, конечно, никому не хотелось, каждый хотел просто пить чай и говорить просто. Но что делать? Начальству нужно, начальство всех, очевидно, для того сюда и собрало. Капитолина Ивановна, не выходя из-за столика, в положительных красках нарисовала картину успеваемости, работу отдельных педагогов и всего интерната.

После завуча все за столиками заговорили о ребятах, о своих группах, о чем же еще? Женщины есть женщины, что с них возьмешь, не будут же они говорить о футболе. Иные так увлеклись, что стали даже смеяться и переходить от столика к столику, совсем упустили Еву, а зря.

— Товарищи, товарищи, — покачала головой укоризненно директриса. — О чем мы с вами говорим, вы только послушайте.

О каких-то колготках. Скоро и до песен доберемся, песни мы будем петь дома. Для чего мы собрались коллективно, как вы думаете? Поговорить о главном в непринужденной обстановке, а главное в нашем нелегком педагогическом труде — это дело, наша работа, возможность сосредоточиться на недостатках. Капитолина Ивановна — добрый человек, мы ее понимаем. Но ее выступление не ориентирует на завтрашний день... Давайте откровенно, начистоту, как на духу, перед всем коллективом (а чего нам скрывать?) поговорим каждый о себе. Есть ведь у каждого отдельные пятна? Есть. И их надо выводить. Ну уж если не каленым железом выжигать, я против таких выражений, то во всяком случае избавляться надо. Вот об этом и давайте...

И присела — посмотрела направо на Макарова, налево — на Тиганова Егора, ну как? И все перестали пить чай. И тут Егор впервые заметил, что глаза-то у Евы зеленые, с сумасшедшинкой.

— Ну вот вы, Зарецкая, — поднялась эта зеленая фурия, — вы, например, вы член месткома. Поделитесь-ка, как вы, молодые педагоги, проводите свободное время. Магнитофончик культурно крутите, роли разыгрываете. Расскажите коллективу, коллектив все знает и ждет.

— Чего рассказывать-то раз сама... сами знаете, — не вставая, развязно сказала Клара Зарецкая. — Ну изобразили вас, какая вы есть. Как вы утром в школу приходите... Тонечка, ну-ка изобрази.

— Я думаю! — испуг искажил Евино лицо. — Я думаю, незачем нам сейчас смотреть художественную самодеятельность. Всякому овощу, — кивнула она на соленый огурец, который Клара все еще держала в руке, — свое время. Дайте себе оценку...

— А вы не ехидничайте, — уже совсем грубо сказала Зарецкая. — Ем вот огурец — ну и что? Я все-таки педагог, между прочим, с высшим образованием.

И села. Получилась длинная пауза.

— Ведите дальше, — сделала знак директриса Капитолине Ивановне.

А чай между тем простывал. В дверь уже несколько раз совался кок, этот повар Нефедов, взятый Евой из совхоза на место Осиповны:

— Ну нести самовар?

— Да погоди ты, чума, — каждый раз делала ему отрицательный жест Ева Власовна.

Капитолина Ивановна повторила прописные истины. Потом подняла одну воспитательницу, другую — из местных, из “стражей порядка”, все народ подготовленный, знающий. За годы, что жили тут и работали, эти люди всего навидались. И

опять за столиками было взялись за чай, застучали чашки о блюдца, но тут уж сама Ева Власовна не выдержала, подсказала ведущей, чем закончить программу:

— Капитолина Ивановна, вы бы Зинаиде Федотовне предоставили слово, пусть расскажет про старшую группу.

— А чего рассказывать? — вскочила, как того и ждала, Зинаида Федотовна. — Одна работаю, Егор Трофимыч все равно, что пустое место. Без опыта и педагогического образования...

И сходу давай валить на Тиганова все, что можно и невозможно, о чем Егор даже не подозревал, что так можно, все запомнила, в тетрадочку записала, а теперь выносила на суд общественности. Воспитатель, называется, воспитывает вроде по Макаренко и Сухомлинскому, а распустил группу своими разрешениями, дальше некуда. И что же в группе у нас получается? Я запрещаю — он разрешает, он разрешает — я запрещаю. Проводит, между прочим, беседы о будущей супружеской жизни...

— Чего плохого-то, не понимаю, — подала реплику Клара Зарецкая. — Шерстью обросли, давно пора ввести курс сексологии. Девицы взрослые, а мы все за детей их считаем.

— Да они тут у нас все переженятся, — ошетинились “стражи”. — А кто отвечать будет? Егор Трофимыч — агроном, с него спрос короткий. А вот куда, скажут, смотрели опытные педагоги, со стажем и тоже с высшим образованием?

— А мы тут не полиция нравственности, мы — воспитатели...

И пошло, покатило. В конце концов, “стражи” дружно набросились на Егора. В самом деле, ни педагогического образования, ни необходимого опыта. Допустим, ему в какой-то мере простительно, но ведь ни чутья, ни такта, сплошные ошибки, а это ведь дети, не кукуруза, это овес с кукурузой каждый год сеют и не каждый год убирают, а в детях сеют разумное, вечное навсегда, на всю жизнь, и мы не имеем права экспериментировать на хрупком детском организме, ни одного неосторожного шага, ни единого лишнего слова, это же дети — цветы нашей жизни, а он ходит по ним в сапогах...

Зажужжала веялка, заработал отлаженный механизм. Молодых подмяли, и каждый вздохнул облегченно: слава богу, кажется, мимо меня, пронесло. Егор был ошарашен: да, это тебе не Ярище...

Расходясь с “чаепития в Мытищах”, уже на лестничной площадке, в полуметоте приближались к нему иные оглядливо, касались Егорова плеча:

— Привыкай, Егор Трофимыч... искупали в купели...

На выходе из интерната Ева Власовна отчитывала при всех Клару Зарецкую:

— Что с того, что у тебя родители — педагоги? Устой под-
рывать не позволим.

— Дровец бы лучше привезли. Что ж нам околевать, что
ли, от холода? Весь забор уже спалили.

— Хорошо, в лес с завхозом поедете. А за забор из зарплаты
вычтем! Вот так.

С того “чаепития” этот чешский сервиз и пылится в каби-
нете директора. До лучших времен. Пока скорее всего не выцвет-
ет этот фарфор бесценный — розовый перламутр.

VII

День и ночь в интернате и в интернате. С такой работой ни
свежих людей, ни явлений природы не заметишь, одна только
тебе педагогика. И Егор пригласил здешнего старожилу, чтобы
тот провел их по Подшибякино, по достопамятным местам. А то
живем и не знаем, где живем, что тут было-происходило, все
думаем, что кукурузу сажают вместе с овсом.

— В этом доме, дети, после войны был районный земель-
ный отдел, райземотдел, райзо, — как журавль, вышагивал по
улице старожил Орестеев. — А потом тут было производствен-
ное управление парткома, после — производственное управле-
ние райисполкома. До райсельхозуправления, дети, мы уже не
дожили...

— Что это — разные учреждения? — полюбопытствовал
Карцев Вадим.

— Одно.

— Интересные дяди.

Еще бы! Только на этой конторе, если брать аграрный воп-
рос, мозги повывихиваются. Называется это “привычный вы-
вих”. До того привыкли, что все в одном и том же месте
вывихивается. В одном и том же, в одном и том же. Замети-
ли, как в самый главный доклад на каком-нибудь Форуме старают-
ся теперь вставить слова, какие короче, чтобы, кому надо, легче
было концы договаривать. Зато новые названия на вывесках на-
столько стали растягивать, что, если ты зимой в очереди за ка-
ким-нибудь дефицитом, — не достоинься, ноги замерзнут,
побежишь греться в магазин, где стеклянных шубеек навалом, а
сущность одна: чтобы завтра зарплату выдали, только тогда
умом домотаешь до конца километровую вывеску. И вот что
наглядно: наш рост нам на буквах показывают. То — “рай-
зо”, чего там — пять букв, какой урожай — урожаишко. А то —
такая “гармошка”, что, если судить по количеству слов, у
нас элеваторы ломаются, зачем покупать у кого-то, пора про-
давать и самим, еще чуток поднатужимся, поколдуем над вы-

веской и — догоним и перегоним, так-то у нас в Подшибякино...

— Ну и абориген, — усмехнулся Егор. — Орестеев этот, патриот местного значения”. И хоть на время отвлекся Егор от этого педсовета. Ибо после такая тоска навалилась, хоть стой, хоть падай, хоть волком вой. Ну, люди! Когда Данко вытянул свое племя из бурелома, соплеменники ему же и плюнули в рожу. Ну, Ева! Длинные мысли, короткие волосы...

Вчера девчата ездили в лес за дровами. И Егор зашел к ним, когда старые, тяжелые плахи были выброшены из кузова. В простом клетчатом платке, обкрученном вокруг шеи (наверно, взяла у Осиповны), Клара раскраснелась, разгорелась, — крестьяночка. Интернатовская машиненка чихнула пару раз и задом-задом выбралась со двора. Под пристальным взглядом Егора Клара приоткинулась спиной на поленницу, дунула ввысь с лица прядку волос:

— А что, Егор Трофимыч, не закрутить ли нам с тобою романчик? На зло Еве, пускай побесится.

— Закрутите, закрутите! — аж запрыгала рядом Тонечка Фирсова. — Мы вам свадьбу сыграем.

— Ему нельзя, он женат, — строго сказала Клара, а в самой черти играли. — Да мы и без свадьбы... Представляю, что будет! Ева из своего сервиза будет глотать валерьянку.

— Давайте подарим ей самовар! — засмеялась эта артистка Фирсова Тонечка. — Пусть глушит валерьянку из самовара!

Вот и направился Егор после аванса в “Магазин повседневного спроса”. Повседневного много нужно чего, но купил Егор то, что было: пряников да конфет без бумажек, да взял пару банок консервов “Завтрак туриста”. Постучался к Кларе и прямо на стол бух ей все это добро. А на столе уже все то же самое — товары ихнего повседневного спроса, потому как ничего другого нет, хоть спрашивай, хоть не спрашивай. Клара вышла из соседней комнатки в легком домашнем халатике. Села на табуретку. Уставилась в Егора, не сморгнет глазом.

— Чего это ты? — забеспокоился Егор.

— Не видишь, брови навела, губы накрасила. Влюбляю тебя.

А сама с ножки этак халатик в сторону и ножкой давай табуретку раскачивать.

— Хватит дурить-то, — усмехнулся Егор. — Лучше еду готовь. А то я сегодня в столовой уже не обедал. Из солидарности.

— Вот видишь, просыпается классовое сознание! — оттолкнула Клара от себя табуретку. — Мы из тебя, Егор, сделаем человека, Ева будет нам благодарна.

Сидели и ели с Кларой. Двумя ложками из одной банки. Ужинать пора, а у них все еще “завтрак”, хоть они и не “туристы”, но тоже ведь ни кола-ни дрова, все богатство — зарп-

лата. И тут ложки встретились, Егор задержал свою, поднял голову.

— А ты красивая, — сказал он ей.

— Да?

— Ну да.

— Педагоги не должны быть красивыми, они должны быть коммуникабельными, — смотрела Клара в окно.

— Знаешь, Егор, — тихо сказала она, слезы стояли в ее непривычно темных глазах. — Мне кажется, я здесь не выдержу. Сколько надо за диплом отработать — три года? Не выдержу и сбегу ведь.

— Я думаю, Ева делает это нарочно, — сказал так же тихо Егор.

— Что нарочно?

— Ну прессинг... создает, молодых выживать стала. “Стражи” ее замечательно поняли.

— Зачем им это?

— Ты же из семьи педагогов. Подумай.

— Егор, — дрогнули Кларины плечи, — давай сбежим отсюда?

И тут затопали в передней, ворвались девчата — молодые педагоги.

— Объяснение состоялось! — провозгласила с порога Тонечка Фирсова, но, увидев подругу, кинулась к ней на грудь: — Что с тобой?

— Со мной? Ничего, — смеясь, утирала Клара ладонью мокрые щеки.

А через пару дней Егор услышал случайно, как распиналась в рекреации Ева: Клара с Фирсовой комнату свою превратили в вертеп! К ним ходят парни со всего Подшибьякино, представляете кто — механизаторы, кто же еще! Сидят допоздна, гоняют туда-сюда этот дурацкий свой магнитофон, угощают парней похабными пленками. “А не хочешь, — впервые так зло о Еве подумал Егор, — чтобы на мотоцикле въезжали на сцену и вылетали в окно?”

“Вход строго запрещен” — было начертано на двери котельной. Но это для умных, а на дураков это не распространялось. Егор толкнул дверь и вошел.

А накурено-то, хоть топор вешай!

Здесь собирался клуб избранных, своего рода “клуб вольных каменщиков”, или подшибьякинский “клуб кочегаров”. Делу этому нигде не учили, кочегаров готовила жизнь. Тех, кто сейчас кочегарит у Евы, и тех, что откочегарились уже: были изгнаны в разные сроки.

Оттого что котельных в Подшибякино развелось великое множество, должность кочегара была дефицитом. Кочегары “кочегарили” по госучреждениям, вернее, ходили по кругу: тут уволили — объявляйся в соседней котельной, уволенного из соседней котельной оформляли в позасоседней, а из позасоседней оформляли опять же в первой. Дьявольский круг...

Тиганова принимали здесь за своего: Егор приходил сюда греться, а заодно и проводывал Кузьку. При появлении Тиганова-старшего Кузьке, брату Егора, тут же вручили лопату: пошвырайся-ка, наш хороший, а мы, идиоты, такие-сякие, пока посидим, поговорим. Вот и сейчас, захватывая грабаркой шуршащие черные камешки, Кузька открывал топку и швырял резко их, куда подальше, в зияющий зев. Красноватые отблески перебегали по Кузьке — чумазому, отполированному до блеска, словно отлитому из металла. Кузька без конца улыбался, показывая свои белоснежные зубы.

Слабо светила лампадка. Этажи над головой, каменная громада. Кабинеты, учебные классы, сухой бассейн — никак не наполнят водой. А через стенку хоть морозы трещи, хоть метели лепи. Но тут — тишина. Гудит только топка.

— Как в бункере, — произнес кто-то и добавил: — У Гитлера.

Это Сеня — Семен Курноскин, единственный сейчас штатный работник, остальные двое уволены, но и они присутствуют — неперемные члены.

— Чего не хватает? Бутылки, — начал один.

— И Евы, — заметил другой.

— Кому, Гитлеру? — ухмыльнулся третий — Бухтин, предшественник Семена по этой работе.

— Не шути так мрачно, — набросились все на Бухтина. — Тебе что, ты свое уже сказал, а Сеня рискует, Сеню жалко.

— Себя жалко. Нам же, в случае чего, негде будет приткнуться, — констатировал Бухтин, он умел смотреть правде в глаза.

— А что, наша Ева как Ева, — лебезил, заступаясь за свою начальницу, Сеня. — Не выросла та яблоня, чтобы черти ее не точили.

— Не черти, сколько раз говорить, подхалим, а черви.

— Так она же не слышит. И потом с завтрашнего дня у меня непосредственный вот кто — новый завхоз! — кивнул Сеня в угол. Только тут Егор и заметил еще одного человека — вот как, тот старожил, что водил их по Подшибякино, по фамилии Орестеев. — Прогоняет Ева того дурачка, что сервиз купил, продолжил Сеня движущую его мысль, — а ставит вот этого. Но нашей Еве червоточинка не в укор.

— Ну вот, нашел уже и червоточинку, — засмеялся ехидный Бухтин. — Все помнишь, как она тебя выходного лишила?

— Ну черт с вами, слушайте! Только совсем не про это, а про другое. Так, исполняется, как говорится, впервые...

Жил-был на свете мужик молодой, без бабы, один. Никто не шел за него, даже противный, смертью изо рта пахло. ("Как у Коршунова", — тут же мелькнуло у Егора). Ну как мужику без бабы? Пошел он к врачам, сделали они ему операцию: вытащили ребро, сделали ему бабу. На, говорят, тебе копию. Тоже даже противная. Вот живут они вдвоем в поселке своем, а ей это не нравится. Давай, говорит, дальше двигай, в райцентр. — Так в городе без прописки нельзя. — Проверни. — Ну он где подмазал, где кому голову сшиб, в общем стали жить они с бабой в райгородке. А ей этого мало, какой же, говорит, это рай. Давай, говорит, двигай в город, какой посерьезнее. Двинул мужик в город, какой посерьезнее, то есть покрупнее, — опять где подмазал, где кого с места толкнул. Только денег да сил ушло на это побольше. Перебрались с бабой они в город, какой покрупнее. Только баба опять нос воротит... Ну а дальше-то что? Дальше только столица. А столица — это крепость, ее просто так, за здорово живешь не возьмешь. Много надо чего — талант или прохиндейство великое. А у мужика один ветер, доннер — веттер, в кармане. А баба свое требует: штурмуй столицу, кричит...

— А райхстаг, Сень, зачем Гитлер поджег? — неожиданно спросил отставной коچهгар Бухтин, очень уж любил он эти самые неожиданности.

— Рейхстаг? — запнулся на момент Семен, боковые ответвления не входили в прямой ствол его повествования. — И при чем тут, понимаешь, рейхстаг?

— Нет, ты скажи, Сень, ответь человеку, — сгрудились все, интересно, как же Семен будет выкручиваться. — За рейхстаг скажи! За какой Димитрова-то судили.

— Ах, рейхстаг! Рейхстаг Гитлер в карты проиграл. Кому? — возникает законный вопрос. И, естественно, дается законный ответ: самому же себе! Он, паразит, уже тогда любил тасовать карты... международные... Да вы не перебивайте, дайте мне про того мужика-то закончить.

— У какого баба из ребра?

— Ну да.

— Ну так что, попал в столицу мужик?

— Попал. Чего ни сделаешь, чтобы бабу свою ненасытную удовлетворить... Хоть и попал он в столицу, да на самое дно. Воровать стал, мелким бесом крутиться, генералам прислуживать. Сам большим человеком так и не сделался... Всю жизнь полома-ла она ему, не баба, а змей... И кто же, в конце концов, была она, его баба? — спросите вы. — И почему он так ее, сучку, слушался? — огляделся Сеня, довольный собой.

Пауза. Только слышно дыхание кочегаров. Да огонь в топке бьется.

— Да, кто такая? — зашевелились ребятки, про это Семен еще не рассказывал. Интересно все же, чем заканчивается жизнь у тех, что отрываются от пуповины.

— А вот кто... Баба из ребра того мужика, у какого изо рта смертью пахло, — замер Семен от удовольствия, — была его... Злость, Злоба! Вот как после он на людей ополчился, ненавидеть всех подряд стал. И, чтобы не пропасть, взял мужик и вернулся обратно к себе, куда? В Подшибякино. На исходные рубежи. И доволен теперь, топит печку. А баба что? Баба в столице осталась...

— Ты это, Сень, Курноскин Семен, — вроде как проснулась, загомонила вся кочегарка, — ты это не больно, лохматый, не больно топи, не то котел взорвешь — взлетим к чертовой матери... Откуда ты это про мужика без ребра — из довоенной энциклопедии?

— Это я вам про дядьку свою, материного брата, — вздохнул Семен до свиста в легких и стал лопатой отгрести уголь из-под котла. — Баба его в столице живет, в моток мужика загнала...

Кочегары молчали. Пламя в топке клокотало вовсю. Кузька отбросил грабарку в угол, стоял, улыбался бессмысленно, — бесплатная рабочая сила. Егор опустил голову: "Вот тебе и Семен!.. Это по Демокриту, кажется, Зло вырастает из Добра, когда надлежащим образом не умеют пользоваться Добром. А у нашей Евы все куда проще..."

Заснул Егор поздно. И снилось ему то же самое — бесконечный, один-единственный и такой разный сон про Берегиню. Так зрима, так явственна была она, та Берегиня, в своих все тех же светящихся облаках, и шла она полем и вся по грудь в колосках, в колосках — кормилица, житно-пожитная женщина, и поле хлебное — это уже его, Егорова, комната, и уже не комната она, а зал заседаний Подшибякинского райнарсуда. И четкими, выстроенными рядами идут сюда крысы, крысы, крысы, все вылезая и вылезая из нор. Хвостатые, долгоносые, во фраках, с вытертыми задками. И комната растягивается, как резиновая, и они все входят и входят, и садятся, как и шли, на скамейку, четко выстроенными рядами. И является судья в пунцовой средневековой мантии, с посеребренными колесиками и винтиками на груди, и сам в парике. И сходит со своих светящихся облаков вместе с полем сюда она, Берегиня, и садится рядом с мантией,

и еще неизвестно, кто рядом садится. И тогда пунцовая мантия спрашивает, злясь как бы, уже не Березиню, а ту, другую, житеневскую женщину:

— Собирала колоски?

— Собирала.

— А на каком основании?

— А на основании голода и сострадания к детям.

— Это не основание! — еще более пунцовеет средневековая мантия.

— Молжет, на основании Среднерусской возвышенности?

— Bravo! Десять, — хлопает в ладоши пунцовая мантия, складывая пальцы в единое целое, как монолит, отдельные пальцы всегда должны быть в монолите под влиянием коллектива, и тогда рука уже не подведет — рука руководящая.

И пунцовая мантия показывает Березине руководящей рукой на дверь. И крысы аплодируют хвостами, хвостами. И вот хвосты эти срastaются, срastaются — от соприкосновения, обездвиженности. Получается пук такой, букет из хвостов — “крысиный король” в лице того, Семенова, мужика без ребра.

— А я не согласна, — шевелит Березиня немymi устами. — Мы судим ее всего втроем и по законам военного времени, а войны уже нет, война давно кончилась. А ведь нас когда-то судили двенадцать апостолов.

— Дайте им обем святой воды, — приподнимается мантия, — и отправьте их в камеру — в будущее, в третье тысячелетие.

— Я не святая, мне надо быть в настоящем, — шевелит устами та, другая, житеневская женщина. — У меня дома стирка, дети не кормлены, а мыла нет, как быть?

Но мантия делает знак, и Березиня с женщиной приподнимается к потолку, и женщина висит тут над потолком, а Березиня, легкая, бестелесная, сквозь потолок устремляется в непонятно какое высокое, светлое небо. А поле Березинино остается, поле и колоски. И Березиня ниткой делит хлебец сухой на тридцать тысяч детей...

Егор очнулся и долго лежал неподвижно, ощущая свой позвоночный столб, а в нем прямо-таки журчание от переливания спинно-мозговой жидкости, неужто размягчение мозга? Глупость, только дай себе волю...

— Комнату надо сменить, — сказал он вслух сам себе.

— Не комнату, а голову, — тут же себя и одернул.

Хватит быть на подвесе, как поезд на магнитной подушке. Что ж ты теперь будешь казнить, что ты не божьей милостью педагог, а где они божьей милостью? И вот в чем парадокс: в интернате дети, словно птенцы в гнезде, привыкают разевать клюв, и этот рефлекс остается, дети становятся взрослыми и де-

лают то, чему научились в гнезде. Они, такие, ему попадались в Орле и Алатыре, у них, таких, два пути: в борьбе за жизнь заболеть рано и, сойдя на нет, умереть или приспособиться, ехать годы на сострадания. И если кому-то дают, у кого-то ведь забирают? И как все это соединить?..

VIII

Бодраков вызвал к себе Фому Фомича, особое значение при этом имело то, что когда-то Фома был в госрыбнадзоре; они о чем-то пошептались напару, вскоре Ярище облетела новость: на свою “малую” родину едет знатный земляк Пересухин, подготовим Маршалу достойную встречу.

Аврально мылись полы в конторе правления, белился Ярищенский клуб. Даже бульдозер из города вызвали — наконец-то зарыли яму перед Бодраковскими окнами. В райкоммунхозе одолжили поливальную машину и, чего сроду не видывалось, сбрызнули ярищенские “променады”, превратив их в сплошную грязь. В довершение ко всему, вычищая свой несгораемый шкаф, Бодраков с удивлением обнаружил там пустую бутылку и вышвырнул вон — выдохлась, стерва. Вместо этого из сельмага приволокли пять полных ящиков. Подвалили для столовой теленка, да для такого дела не жаль, если потребуется, и поросенка, и даже коровы...

Однако Маршал недоехал до Ярища. Маршал наел в городском ресторане на рупь двадцать пять, зато после начальство списало на несколько тысяч. Вместо Маршала в Ярище нагрянула орда в составе двадцати пяти человек. К ним присоединился также и свой ярищенский комсостав. И, заполошно трезвоня автомобильными голосами, давя зазевавшихся кур, индоуток, гусей, так что из-под колес только перья летели, почетный кортеж из “Волг”, “Рафиков” и “Москвичей” рванул по главной, уже подсохшей, ярищенской улице к речке. Ярищенцы шарахались, спинами вдавливались в штакетники...

А Фома Фомич уже подгонял к причалу моторную лодку. Самолично наловил рыбы, наварил ухи целый котел. И усидели совместно все ящики, расшвыряли по лугу кости обглоданные. Моторная лодка летала туда-сюда с нескончаемой песней про Стеньку Разина, берега раздражались от этого. Наконец, “казаки” перевернули лодку эту, едва не утопили. Да что она, лодка-то, лодку вытащат — женщину, что с собой привезли, едва не отправили к рыбам, как разинцы некогда персиянку...

— Что же ты делаешь, капитан? — отозвал Лихопеков в сторону Бодракова.

У самого не было с утра маковой росинки во рту, но садить-

ся за “достархан” Лихопеков не соглашался, маневрировал между речкой и берегом.

— Люди нужные, — разводил руками раскрасневшийся Бодраков. — А то Бронька уже не пробивает ворота, Бронькиных сил не хватает.

— Ты как хочешь, а я как знаю, — сказал, как отрубил, Лихопеков и уехал в Ярище.

После той “ушицы” Бодраков до того обнаглел, что в Алатыре, стали поговаривать, признавал только первого, сам Старик лично интересовался Бодраковым. А Лихопеков после работай с народом, натыкайся в райцентре на врагов Бодраковских. И вот люди стали помаленьку тикать из Ярища. А потом вошли во вкус, до того всем понравилось, что животноводческий комплекс построили, а тот стоит полупустой, штатов нет. Штаты доярок, телятниц заполняли за счет дальних ферм. А Бодраков понимать ничего не желал. Наконец, терпение лопнуло и у Лихопекова: принял решение рассчитаться. Да ребята алатырские, в кабинетах, какие попроще, не посоветовали: поезжайка, говорят, на время куда-нибудь, смени обстановку. Мы-то в курсе, а для Бодракова ты вроде сбежал, пусть покрутится, пообщается с массами, а мы понаблюдаем...

— И вот я у тебя, — сидел Лихопеков в Егоровой комнате и чай пил вместе с Егором.

И сам Лихопеков, и его описание обстановки в Ярище обрушились на Тиганова Егора таким образом, что Егор смотрел на Лихопекова, и даже не верилось: неужели перед ним Лихопеков, — пытит себе, как ни в чем не бывало, и, как ни в чем не бывало, тянет из алюминиевой кружки с ним рядом чай. “Трактор ехал вчера через парк, — мелькнуло где-то в Егоре, — и переехал елочку, росла отдаленно, отдельная. А на ту, что под неохватной березой, на ту не покусишься, та растет”...

— Житень вижу во сне, — сказал Тиганов Егор, — и тетку Прасковью.

— Поблизости тут кордон... Желтые Воды, — с трудом подыскивал слова Лихопеков. — Лесником на кордоне Мишка Нехаев, когда-то вместе работали.

— Лесниками?

— Был такой зигзаг в моей биографии... Так что, — выпалил Лихопеков, — не рвануть ли нам с тобой на недельку к Нехаеву?

— А что, идея! — загорелся Егор. — Возьмем с собой одну девушку. Ей тоже надо сделать... психологическую разгрузку.

— А как же работа?

— Мы ее украдем.

— Работу?

— Девушку!

— Ну ты даешь! — ожил, задвигался, прямо-таки помолодел на глазах Лихопеков.

— Я мигом! — полетел Егор к Кларе Зарецкой.

Никогда, пожалуй, не запрограммируешь жизнь до конца, вся она цепь очевидных причин, и, как айсберги, от них — параллельные нити непредсказуемых последствий. Егор сам привел Кузьку в “нулевой” класс, но Кузька тут же сбежал обратно к себе в кочегарку, там он чувствовал себя хорошо, и никакие силы на свете не могли вытащить его оттуда, даже Егор.

И Клара ушла из интерната, вернее, взяла свои отгулы вместе с Егором. Втроем и объявились они в Желтых Водах, на кордоне у лесника Мишка Нехаева.

Нехаев был не Мишка — просто медведь. Как облапил да как приподнял Лихопекова, так лихопековские ботинки на метр от земли и оторвались, замотались в воздушном пространстве. А после Мишка хоп на сук Лихопекова — сиди да, смотри, не свались, гляди, ветрогон.

— Сними, леший, — взмолился тот.

— Не снимайте, — бегала Клара вокруг дерева. — Пусть посидит.

— Единственная среди нас, — басил желтоводский медведь, — единственная не разрешает.

Кордон Мишкин находился в истоках Чарусы. Какое озеро, какие места! Окна смотрятся в черные воды, с того берега тянутся сюда белостволы березовые и сходят на нет, пропадают в черных водах где-то на середине. Черные воды заставляют каждого переходить на шепот, русалочки места. “Действует?” — усмехнулся Нехаев и увел за дом к сосновому срубу, в квадрате которого еще плавали листья, светлой водой родника шевелило донный песок. Отсюда Чаруса устремлялась в леса, чтобы, пройдя через вырубку и буреломы, отдать себя, свою долю другой речке Зуше, а та — еще более крупной Оке, а уже та, собрав все окрест, передать себя в конце концов Волге — матери всех русских рек, седому и древнему Каспию.

— Ого! — наклонилась Клара и шлеп-шлеп ладошкой себе по щекам.

— Легенда такая, — улыбался Нехаев. — Сполоснешь лицо этой водой — станешь красивой.

— Ей-то зачем? — сказал Лихопеков с нескрываемой грустью. — Она же и так красивая.

— Разве?

Это сказала Клара. И пятна, заметил Егор, пошли по ще-

кам Лихопекова. Егор оставил их вдвоем, а сам, вслед за Мишкой, спустился к Чарусе.

В честь праздника подняли на крыльце “государственный” флаг своей республики. Все должно быть, как и во всей стране, протянувшей свои параллели и меридианы через материк, в том числе и через желтоводский кордон. В телевизоре плыли корабли, мелькали столицы, села и города. Настроенные на одну волну, друзья сидели плотно друг к другу, на общей скамейке, и кто знал, что даже это все временно: не только они тут втроем, их содружество, но даже и то, что дотоле не вызывало сомнений, о чем говорили, показывали сейчас в этом праздничном телевизоре.

Мишка извлек шампанское — братцы, лесное шампанское! Травы его настояли, травы и будем пить. Видел Егор Михаила, видел Егор Лихопекова, видел Егор только Клару, как всех любить хотелось.

— За единственную среди нас, — повернулся Лихопеков к Кларе, — за единственную и неповторимую.

А Мишка вдруг стал рассказывать, как приходят к нему на кордон его дети, приносят еду. И он начинает их ждать за три дня, и все эти дни собирает ягоды, грибы, подбирает в лесу замысловатые ветки, еловые шишки, делает из них игрушки — берендеев, русалок, красных шапочек.

“Для чего он, ну для чего он все это рассказывает? — ничему уже не удивлялся Егор. — Сам себе, сам себе...”

Через тучи ударило солнце, высветило русскую печь, деревянные топчаны с набитыми соломой матрацами. Мишка заглянул в окно и ахнул:

— Смотрите! Черная вода сделалась золотой. Мы счастливые люди, это бывает раз в десять лет.

— Лесничим тогда у нас была женщина, Клавдия, — склонился Лихопеков к Кларину плечу. — Мой участок тут по соседству с Мишиным, так?

— Так-так, — кивал Михаил.

— И Клавдия иногда нас заставляла врасплекс. И тогда я придумал выход: стал взбираться на сосну, чтобы видеть...

— Клавдию? — это Клара.

— ...чтобы видеть дорогу, — дотронулся до Клариной руки Лихопеков. — Помнишь, Миш, ту сосну, что с краю Горелой пустоши? С сосны вода в озере казалась мне золотой, мы были тогда молодыми... может, вернемся к сосне, это недалеко.

— Чтобы увидеть Клавдию?

Глядя вопрошающе на Егора, она приблизила плечо к Лихопекову. Егор отвернулся: “Молодость — это то, как себя люди чувствуют сами”.

Клара и Лихопеков удалялись, уходили в березы, и белостволы с того берега протягивались к ним сюда по зеркальной воде. Лихопеков вдруг наклонился и обнял Клару...

За ужином речь зашла о том, страшно ли одному жить в лесу, вообще о страхе, приобретенном в период культа.

— Страшнее всего — последствия, — Лихопеков даже изменился в лице. — Главное, чувствуешь, жизнь становится пустяком, фьють — и нету. У меня лично такое ощущение, что она в любой момент может кончиться. И не по моей, а по чьей-то злой воле. Выходит, какой же ты хозяин в стране, когда ты не хозяин даже собственной жизни. Еще не вымерли “мамонты”...

— С ними просто, — вставил свое Нехаев. — К “мамонту” надо прийти и сказать: завтра прольют твою кровь, отрубят лично тебе длинные-длинные бивни. И поглядите, что он запоет!

“Мамонты”, — подумал Егор, — это не только Коршуновы”.

Погас электрический свет — на подстанции, очевидно, выбило фазу. Егор с Лихопековым вышли наружу, ночь была глубока. Щелкнет сучок где-то, многократно размножится — эхо-о-о, ло-о-ось!.. Керосиновая лампа на столе — воспаленное око истории, она не может перебить крупных электрических звезд и самого Млечного Пути, который к празднику предзимья не забыли, кажется, потерять и почистить снегом. И он, как новенький, протянул себя через всю страну, через весь мир, через тебя одного и через все человечество разом...

— Пошли! — резко сказал Егор и уже на пороге задержался перед дверью: — А у нас в Волчьем Шляхе один такой поселился — князь тьмы. Не знаю, жив ли сейчас? Лично людей расстреливал — причем с той и другой стороны. А после смывал вину собственной кровью...

— Кто же это? — живо среагировал Лихопеков. — Уж не Коршунов ли?

— Он!! — прошел Егор решительно через дверь. — Кто же еще?!

Утром о стекло что-то стукнуло, заскреблось — боже, пес! Колотит лапами, рычит.

— Это Рекс, — вскочил с топчана Михаил. — Рекс прибежал из дому, почтальон.

В записке, принесенной собакой, жена вызывала Мишу домой. Нехаев спешно собрался, попрощался, ушел.

Если кордон — необитаемый остров, то кто же тогда Лихопеков? Егор соглашался быть Пятницей, но кем в таком случае будет Клара? И Егор отправился в лес. Испил водицы из-под сруба, загляделся в собственное отражение — сеточка под гла-

зами, жить не можем спокойно. Коротка речка Чаруса — пробирается к Зуше, Зуша впадает в Оку, Ока — в Волгу; и у рек, как видим, есть своя иерархия.

Старик изо всех сил держал статус-кво. Ему доложили: вода в озере падает. Больше всего на свете он боялся хаоса, вызванного броуновым движением. Если есть такая потребность, в озеро можно направить поток извне. Довольный собой — Старик вытянул ноги к радиатору. Приятное тепло шло от металла, согреваемого центральным отоплением.

Идя по Чарусе, как и вчера, к топким, бобровым местам, Егор поднялся на откос и уже там набрел на овражек, через который было перекинуто дерево, как упало, так и лежало мостком. Егор подошел поближе и поразился: все под ракитой было в опенках — зрелище удивительное! Если бы летом — колосовики, все они дружно взобрались бы еще и на этот поваленный ствол, как лилипуты на спящего Гулливера. А сейчас опенки были прихвачены утренним, пока еще легким морозцем, но все равно звенели в пальцах Егоровых и ломались.

Егор обрадовался находке куда больше, чем тому, что оставил Клару с Лихопековым. Но что делать, Егор стал собирать грибы подмерзшие, с толстыми ножками — знатная, однако, будет жареня. Егор обожал толстые ножки, весь, паразит, в отца.

На обед было то же, что и вчера на ужин, плюс печеная картошка. От деревьев за окнами, от самой осени в комнате было сумеречно. Красноватые сполохи из русской печи бегали по стенкам, по лицам, по потолку, от этого было даже таинственно, чудо как хорошо!

Смеясь, Клара навела горелой картошкой брови себе, губы и без того чернели у Клары, у них с Лихопековым.

— И отец мой любил такую картошку, — пристально смотрел в огонь Лихопек.

— Вы его помните?

— В девятьсот шестьдесят первом году крестьянам выдали, наконец, паспорта, с этого наша новая история и началась. Без паспорта ты никто, вроде сбоку-припеку. Как заключенный, неполноценный какой-то, разве не так?

— Так-так, — кивал Егор Лихопек. — А что с отцом твоим... тоже в тридцать седьмом?

— А с паспортом, — подошел Лихопек поближе к свету, к

окну, — с паспортом ты человек. На паспорте — герб, твоя фамилия, имя и отчество — полностью. Ты — гражданин, ты причастен в стране ко всему, вот и свершай, отвечай за свершенное... Но — за свершенное, вы меня поняли? А не то, что захотелось кому-то быть, чтобы кому-то не быть...

— У вас, наверно, был хороший отец, — сказал Егор, заметно волнуясь; — он думал о нас...

— В Подшибякинском хозяйстве давно нет директора, — положил на стол Лихопеков дымящуюся картофелину. — И мне предлагают, вот уже и ключ от квартиры, вернее, от директорского дома... Как быть?

Трещали дрова. Ветка скребла о стекло.

— Не повторяйте чужих ошибок, — был ироничным Егор. — Делайте, как говорится, свои.

— Что имеешь в виду? — спросил Лихопеков.

— “Летайте самолетами “Аэрофлота”! — воскликнула Клара. — Смешно, как будто у нас еще чем-то можно летать.

От дома навстречу им бросилась белая, с черно-желтым подпалом, собака — ах, это Рекс! Рекс прыгал на плечи, коротко лалял.

— Послание от Нехаева, — догадался Лихопеков. — Вот в кармашике.

Рекс сел и уставился в Лихопекова, следя умными глазами за выражением лихопековского лица.

— Что, парень, — заговорил с ним Лихопеков, разворачивая записку, — брехать научился, а читать еще нет?.. Видали? — усмехнулся он, дочитав записку. — Меня вызывают. Ключ от дома понадобился.

— Как сон, как утренний туман, — вздохнула Клара и отвернулась.

— Что, как сон? — полуобнял ее Лихопеков.

— Ключ от дома, — улыбнулась Клара невесело. — Золотой ключик. Дали на счастье — и тут же на дно.

— Прррру-туту-туту-туту, — раздалась с вершины пулеметная очередь.

“Это дятел, пестрый дятел, а не черный дятел — желна”, — слышал Егор, как колотится сердце его в предчувствии перемен.

Хвойный воздух острил легкие. Вершины сосен были невозмутимы, однако уже в их спокойствии было заложено движение, это предчувствие. Белыми стволами по черной, холодной воде с того берега тянулись сюда к ним березы.

Совсем черной вода бывает здесь летом, когда на деревьях листва. А сейчас и леса сквозились, и в небе воздушными токами раздергивало облака, и небо перед закатом, им на прощанье,

вроде бы посветлело, но как ни ждали они, загадав каждый на счастье, что все же пробьется последний луч, чтобы сделать воду на глазах у них золотой, этого не случилось. Это случается редко, это надо выстрадать, заслужить. Вот и останется в памяти только этот кордон, только озеро это с черной водой, этот лес со своей, полной тайн, необъятной Историей. И они в лесу своей памяти. На всю жизнь. Навсегда.

Если бы Егор знал Старика, тот, наверно, представлялся бы Егору в видениях. Сидит себе Старик на берегу и клепают, печатают эти самые листья, чевонцами откупаясь от осени. И пускает листья — червонцы по озеру, и они, золотые, плывут и тонут, ложатся на дно, забивают собой говорящий сток, полонят собой черное зеркало озера.

IX

Егор проснулся с путаницей в мыслях, вроде не пил вчера, а голова, как калган. В последние дни он только и делал, что думал о дедовых письмах. Письма эти душу ему выворачивали. Глаза, что ли, шире открылись, он удивился, до чего светло в комнате. За окном, перепахивая, медленно оседал на землю снежок. Первый снег! Елки напротив были уже кисеисты, в седоватом убранстве, белое лежало на лапах клочьями, прогибая эти словые лапы.

— Ляжет или не ляжет? — слышался под окном голос Осиповны.

И деревянной лопатой мягко, как по асфальту, задвигали, заскребли по комковатой, мерзлой земле.

— Черт его знает, — ответили через дорогу.

И радость переполнила вдруг Егора. Так всегда было, с самого детства, когда выпадал первый снег. Как в детстве, он схватился с постели, колотя голыми пятками по полу, подлетел к окну, впился носом в стекло...

Егор шел по селу. Белым принакрыло все Подшибякино. Летняя пыль, перейдя осенью в грязь, ныне вовсе исчезла, на зубах не хрустело. Под каблуком по-молодому подхрупывал снег. Только что проехала машина — выложила протекторы, как будто проползла огромная неаккуратная гусеница. Егор упивался запахом свежего снега. Подшибякинцы — шустрый народец — уже вывалили на улицу: мели, скребли перед палисадниками, перемешивая метлами снеговую свежежину со вчерашней грязью.

— Ляжет или не ляжет? — стоя с лопатой на крыше сарайчика, перекидывался сосед с соседом через забор.

— Ляжет, ежели в магазин че-нить привезут... оттаивать, — отшучивался многозначительно сосед от соседа. — На мерзлое легко, должно удержаться.

Снег пробудил у подшибякинцев необычайную энергию. Кто чего не доделал за осень, кинулись вдруг, готовясь к зимовке, доделывать. Загремели киянки по железным крышам, зачастили в садах топоры, молотки задробили по доскам. Женщины стали рубить капусту и выносить ее ведрами в бочки — по подвалам, по погребам. Прорва какая-то, сколько им надо той самой капусты. А сколько рюмашек будет под нее поднято, сколько свадеб сыграно, гостей принято да детей провожено в армию?

Егор придержал шаг возле стада гусей, те как раз сглатывали с уличной лужи ледок.

— Выходила живность, тетя? — кивнул он хозяйке через штакетник. — Хороши будут, скоро на стол.

— Да уж потопталась, — заскромничала тетка и вдруг насторожилась: — А ты чего пригляделся? — и спрятала под фартук на животе свои пухлые, как у гусыни, красноватые руки. — А чей же ты будешь, сынок? — тут же и полюбопытствовала она. — Что-то не знаю.

— Да детей тут у вас воспитываю.

— Ах, учитель новый. — И кричала уже своей сверстнице в другой двор: — Слышь, девк? Ошибаешься, он гусей не крадет. Это учитель, он детей у нас учит.

На соседней улице Егор вовсе остановился: пожилой, узкотелый человек бензопилой “Дружба” разделявал плахи. Рядом лежали дубы — матерые, неохватные. Хозяин отставил плахи и тужился вкатить неподъемную лесину на поперечину — одному тяжело.

— Ну и как, ляжет? — кивнул Егор неопределенно не то на снег молодой, не то на эту лесину, уже наклоняясь и упираясь ладонью в бревно.

— А куда она денется! — прихлопнул хозяин бревнину великолепной пилой.

И Егор задержался: интересно было. Сначала он снял пальтецо, потом и пиджак, остался в вигоневом свитере. “Гляди не остудись, малый”. — “Не остудимся, холера ее задери”. Сознание, что без него мужик с таким лесом мог бы ведь и не справиться, оживило Егора, пробудило в нем силы. Дрова — это тепло, это жизнь. На днях он притащил к себе в “судейскую” комнату брата. Ночью у Кузьки уши замерзли, и он сбежал от Егора в свою кочегарку, и теперь уже окончательно. “С лесопо-

вала, — гладил ладонью пилу подшибякинец, — китайцы нам удружили. А у самих кишка тонка, сами не можем, смутылить у кого-нибудь — это мы враз... Хошь, завтра к тебе приду, попилим дровишки?” — неожиданно предложил мужик. — “А что мне пилить-то? — стрянул с головы опилки Егор. — Я как цыган”. — “Безродный? — удивился подшибякинец. — Сорвало ветром и пошло мотать, так?” — “В интернате у Евы работаю”. — “Ага, учитель новый, — подал он руку Егору. — А я тутошний, Василь Василич. Скажи, мол, Василь Василич — где живу, все покажут”.

Наконец, бревна были распилены. Плах нашвыряли под самую крышу. Хозяин предложил было деньги — “честь честью заработанное”, а когда Егор отказался — “да что я тебе за деньги работал, я так”, позвал Егора домой к себе как товарища — “это дело надо отметить”, но и тут Егор был непреклонен — “и без этого дела будем знакомы”.

Уходил Егор дальше по улице, а в спину хозяин с хозяйкой кричали в два голоса, так что слышно было и около интерната:

— А снег этот ляжет! Заходите, когда что по снежку, заходите!

Егор повернулся лицом к ветру, раздвинул плечи и тут почувствовал, как острый холодок в легких, весь нынешний день вместе с первым снегом несут ему обновление, которого он ждал, давно мечтал и, кажется, устал ожидать.

“Письма к сыну...” Егору представилось, как дед его Решетовский где-то под Каргополем, в каргопольских лесах, по грудь в ржавой, болотной воде, сыну своему — его, Егорову, отцу пишет письма. И ржа болотная все выше, выше ему — до подбородка, до рта, вот-вот захлестнет, не даст слова молвить. Человек лежачий ведь, ниже ржавой болотной воды, но любит, шутит, даже сам смеется он, этот “колесик” и “винтик”. Почему так жизнерадостны эти довоенные фильмы, прямо брызжут весельем “Трактористы”, “Свинарка и пастух”, в то время как Решетовский-отец пишет сыну, стоя сломанной ногой в ржавой болотной воде? А ведь он одного с ними класса — трудящихся. Не потому ли, что жену Решетовского — его, Егорову, бабу родную, тогда молодую женщину с сыном, вышвырнули из их города в двадцать четыре часа, кто-то спешил занять их квартиру, кто-то кому-то ее обещал, ибо нечего кроме было дать за оптимизм и поддержку. Оптимисты занимали места Решетовских, отчего же не быть оптимистами? Пока их, в свою очередь, не заменили другими — сверхоптимистами... Решетовский-старший

входил в Егора, как бы переселялся в Егора. Егор вообразил, что бы подумал дед о его пятнадцати интернатовских “гавриках”. Говорят, хирургу нельзя жалеть больного на операционном столе. А вот Егор жалел своих ребяташек.

Отработав смену, с вечера он ложился в нахолодалую постель. Ну никак не мог уснуть он в нетопленной комнате, лежит и лежит себе, а родители его “гавриков” проникают сюда к нему через стены, лезут, как тараканы, сквозь щели, в приоткрытую форточку, даже в трубу. Обличьем они, как две капли воды со своими детьми, только старше, конечно, да без искривленности в руках и ногах, с нормальными головами. “А что же вы детям своим подарочек преподнесли? — спрашивает их сурово Егор, как народный судья. — Да еще и бросили к нам сюда в интернат, словно в яму какую-то, клоаку человеческую?” И от его слов родителям приходится прятаться, плакаться, клясться-божиться, что они не виновны, а почему тогда уходите назад через стены, исчезаете, растворяетесь, а? И усилием воли Егор вызывает все новых из сел и городов, может, даже со всего света — отвечайте, держите ответ, и вот он сам уже задыхается от их обилия, бесконечности очереди, от их выпученных глаз, разорванных криками ртов. Крики эти выплескиваются на него волнами из общества, шипят по-змеиному, они несут ему запасные части человеческого тела, каждый лишь для своего отпрыска, так похожего на него, — это такой дефицит: все эти ноги отдельно, руки отдельно, лбы отдельно, даже глаза отдельно, развешивают их по стене, а Капины глаза на шнурочке качаются по углам и смотрят на него укоряюще, пока цвет на экране не меняется с голубого на зеленый, не становятся совиными Евиными глаза, которые тут же и впиваются в него, начинают мерцать зеленым, фосфорическим, раздражающим, бешеным переблеском. Это скорее всего кот Осиповны — по прозванию Распутник, нагулявшись досыта, проник в приоткрытую форточку и, спасаясь от холода, забрался к Егору под одеяло, и живой, теплый комоч, грея ноги, прекращает, наконец, Егору мучения.

С утра Егор старался ни о чем не думать, чтобы не восстановить ночные кошмары, с ума сойти можно. Настраивал себя на другое: все нормально, все хорошо, дети хорошие, куда лучше, тебе с ними приятно, им с тобой еще приятнее. Это называется аутотренинг, самовнушение. Книжку по аутотренингу Егору подсунула Клара.

А на работе все забывалось. Дел в группе по горло: всех поднять, всех умыть, приготовить к занятиям. Лишь иной раз Егор остановится возле Капы и смерит взглядом: похожа или не похожа на свою маму, как будто он знал ее маму. Или нахло-

нится вдруг и потрогает у кого-либо ногу — настоящая ли? Да, входя в умывальную комнату, первым делом облетит взглядом все углы, не висят ли на длинных шнурочках эти Капины запасные глаза, переменившие цвет с голубого на зеленый — фосфорический, Евин. И, когда Егор уже в какой раз становился внутренне Решетовским-дедом, он, припоминая письма его, прямо-таки терялся, как бы это внедрить слова из писем в текущую жизнь, и тогда начинал ходить перед “гавриками” чуть ли не на цыпочках. Они не знали, что происходит с Егором, и первое время слегка удивлялись. “Блажит наш Трофимыч”, — сделала заключение Капа и успокоилась, и все за ней успокоились. А Решетовский-дед все никак, ну никак не выходил из Егора.

И Ева отметила некую странность в Егоре и догрузила группу работой. Вернее, нашла дело всему интернату: подвести к Новому году итоги соревнования на лучшую комнату, а значит, подремонтировать все эти комнаты, привести их в божеский вид. Как старшим — Егоровым “гаврикам” навесили еще и красный уголок, где был телевизор, проходили собрания.

Зинаида, напарница Егора, взяла на недельку отпуск без содержания, и Егору пришлось поднимать своих “гавриков” на такие дела одному. Что только ни вытворял с ним дед его Решетовский, Егор понимает: ребята уже взрослые, самостоятельно способны и подштукатурить, и выкрасить подоконники. А Решетовский-дед в нем бросается с кистью, отстраняет ребят, погодите, я сам. И красит, белит до полуночи. Егор потом осуждает себя, а Решетовский-дед заступает за него, внука...

К концу смены появилась Ева и при всех учинила разнос Тиганову. Понимает Егор: надо ответить Еве — тактично, культурно, но все же поставить человека на место. А Решетовский в нем: не смей, нельзя, лучше стерпи, дороже обойдется. “Да куда еще хуже-то! — не выдерживает Егор. — И так по горло в рыжей воде, хуже ведь не бывает”. — “Все равно не смей, — стоит на своем Решетовский. — И еще хуже, страшнее бывает”. — “Слушай, — говорит тогда он Решетовскому-старшему, — ты уходи, я без тебя обойдусь”. А Решетовский этот как уперся, так никуда не уходит... Вот до чего Егор доработался на этом проклятом ремонте, в этом специнтернате.

И только после отбоя однажды, когда все улеглись, зашел Тиганов Егор в комнату, где была койка Карцева Вадима, присел на табуреточку у двери, вздохнул посвободнее — тут Решетовский из него вместе со страхом и вышел. И опять зашел. Игра получалась такая: зашел-вышел, зашел-вышел... Егор прикрыл веки, и все у него поплыло.

Решетовский-дед пишет письма ему, Егору, своему внуку,

а не сыну своему — Трофиму Тиганову. И Егор тут же их и читает, тут же с дедом и беседует.

“Что же вы допустили до того, деда? — укоряет Егор Решетовского-старшего. — Столько народу угробить!

— Монархический образ мышления, — отвечает тот.

— А бесплатный труд, как у илотов?

— Илоты где? В древней Греции. А отец родной близко...”

Егор прикрывает веки и через головы спящих ребят смотрит за окно в пространство до самой Тигановки. На этот луг за домом — заливной луг возле речки Алешни. Когда-когда еще, в незапамятные времена, его распахали, засеяли. В революцию — косили, в гражданскую — косили и сразу после войны тоже косили. Все косили косами да топтали копытами. Да где же тут шуметь луговой овсянице! Это еще хорошо, что луг хоть такие травы дает, кормит личных и общественных коров. И вот под эту осень расшвыряли по лугу “химию” — травы поперли темно-зеленые, жирные, щетинистые, как у хряка на заливке. И молоко с нитратами попадает на стол ребяташкам...

Егор вышел в коридор, присел на стул, смотрел на часы: скоро дежурство кончается, заступает ночная няня. В туалет шмыгнул Карцев Вадим, удивился:

— Вы тоже на стульчике?

Сидели и, испытывая обоюдную симпатию, молчали. “Живая электроэнергия, — сопоставил Егор и деда своего, и себя. — Биополе. Приемник и передатчик”. Приоткрылась дверь девичьей комнаты. Появилась Капа. Тоже присела.

— Тебе, — подала она конфетку Егору (“Тебе” — кольнуло его, биоэнергия потекла куда-то вовне).

— Зачем? — спросил он (“Затем, — кольнуло ее, — чтобы меньше мучился”).

— Чтобы съел и стал маленьким, — усмехнулась Капа и, как вампир, сверкнула, всасывая его в себя, зелеными своими прожекторами.

— Зачем? — был настойчив Егор, с усилием восстанавливая в себе биоэнергию.

— Съешь и узнаешь, — отвернулась она от Егора и подала вторую конфетку Вадиму: — Тебе.

— Зачем? — спросил теперь уже и Вадим.

— Чтобы ты стал большим, — тихо сказала Капа.

— Почему ты со мной на “ты”? — не выдержал Егор. — Я все-таки воспитатель.

— Ха-ха-ха-а-а, — раскатилось по коридору. — Спроси у Клары-ы-ы-и-и-и...

И Капа исчезла, как и появилась, как и не было Капы. “Мистика какая-то, — замер Егор. — Такая маленькая и такая

большая”. И он ущипнул себя — нет, не спит. Полез в карман — конфета на месте. И Егор принялся шарить взглядом по углам коридора, проверяя фантастику жизнью, но — ни Капиных, ни Евиных глаз на шнурочках. Только сверкнул фосфорически издали, словно включил свои фары, кот Распутник, это, по старой памяти, Осиповна принесла его в пищеблок погонять интерна-товских крыс.

Вадим отправился спать, а Егор вышел в парк. Было звездно, у рта вился парок. “Этот снег ляжет”, — согласился Егор и опять нащупал в кармане конфетку. Искушение было велико, хотелось все-таки съесть ее, эту конфетку. Рука была готова развернуть бумажку, чтобы протянуть ее в рот уже без бумажки, но невероятным усилием воли Егор придерживал руку, не давал в себе проявиться слабости. “Почему она мне на ”ты“? Почему? Рассуждаем логически: она дала ему конфетку, как маленькому, и назвала на “ты”, не так ли? Нет, сначала она назвала его на “ты”, а потом уже заявила, чтобы он от этого сделался маленьким. А может, ты потому и маленький, что она, выходит, уже большая? Но зачем же тогда она дала конфетку ему и сказала, чтобы он ее съел? Съесть конфетку, чтобы снова сделаться маленьким? Да, Капе хотелось, чтобы ты снова стал маленьким. Но разве возможно снова сделаться маленьким, тогда и эти деревья, весь этот парк, интернат, все эти дома, все Подшибякино, в твоих глазах, должны стать большими? Хочешь или не хочешь, а деревья станут большими. Или пусть остаются прежними, как они есть? Большое и малое, свет и тень, мир и война — любимы или не любимы нами, но они есть, существуют, как бы покой нам не снился. Все дело, оказывается, не столько в том, что оно есть, а сколько в том, что кому каким хочется видеть. Вадим понял одно, Капа, возможно, другое — вот почему в ее глазах он такой маленький, а она — в своих собственных — такая большая. Без маленького как бы мы знали большое? А мы еще говорим иногда, что любим гармонию...”

Рассудив таким образом, Егор понял, что ему не хочется обрывать эту логическую цепь, оттого что нет желания идти в свою комнату с привидениями — нетопленную, холодную “судейскую” комнату, и он всеми мерами оттягивает этот момент. И, если все же придется ложиться в свою холостяцкую, нахолодающую, так уж чуточку позже, когда кот Осиповны залезет, паршивец, в форточку и нагреет дыханием комнату, и тогда он, Егор, войдет в помещение, нагретое как-никак биологическим теплом, и провалится в сон.

— А коцегарку, что ли, зайти? — сказал он сам себе так, что кот Распутник шарахнулся: сидел, идиот, и подслушивал,

чтобы донести Еве, что ли. — И что Капа имела в виду, когда говорила о Кларе?

Х

С утра Егор обнаружил в кармане конфетку, и вспомнилось все вчерашнее. Еще с пятницы они с Кларой Зарецкой договорились насчет пилки дров. На днях девчата-педагоги привезли из лесу дровишки, и дровишки те у них уже начали потаскивать прямо из-под окна аборигены, местное население. Егор сунул Капину конфетку обратно в карман — Кларе, пусть тоже попробует сделаться маленькой.

Они втащили в сарайчик козлы, сбегали к Осиповне за поперечной пилой. Приспособились, стали пилить. Клара была сильная девушка — тело литое, рука-то тверда, да не точная. Мало практики, мало пилила, может, и совсем не пилила. Егор ее об этом не спрашивал, чтобы не отвлекаться, не тратить силы на пустяки. Изредка Егор поглядывал в приоткрытую дверь, не наблюдает ли кто-либо за ними, как они с Кларой пилят тут, все же учителя.

Каждый раз, когда Клара сильно зажимала пилу, ее уводило в сторону, и тогда Клара тянула пилу к себе, и Егор терпеливо ее поправлял, учил как более опытный: “ты ко мне — я к тебе”, “я к тебе — ты ко мне”, право, не такое уж сложное дело для женщины с опытом, но без опыта не легкое и для мужчины. Вкусно при этом пахло деревом, дровяная горка росла.

Клара была на редкость упорная, не давала никаких признаков слабости, и только по тому, как она все чаще стала отдувать со лба себе прядку волос, Егор понял: устала, держится на одной гордости. Наконец-то сбила оскомину, напилелась на целый месяц. Вот бы того подшибякинца с бензопилой, да подшибякинец тот был в плановом запое вот уже третью неделю.

Переворачивали плаху вместе, и руки их соприкоснулись. Егор поднял голову — Клара смотрела на него с усмешечкой. И тут появилась Осиповна, скомандовала:

— Перекур!

Оглядела Клару — щеки Кларины разгорелись, белый пуховый платок съехал на затылок. Клара была в новеньком своем сером буклированном пальто, видно, единственном.

— Хороша девка, — восхитилась Осиповна. — Кровь с молоком! А давайте-ка мы вас с Егором поженим, свадьбу сыграем?.. Да ты что в новом пальто? — заметила Осиповна и заворчала: — Вот молодые, глупые, да сказала бы — я бы тебе фуфаечку вынесла. — И подмигнула Егору: — Для такой девки ничего не жалко, никакого товару.

Живо перетаскали чурки в сарайчик. Колоть уже некогда — завтра поколем. Навесили на сарай просто так, для виду, замок.

— Пойдем чаем напою, — предложила Клара Зарецкая.

У девчат, как всегда, шаром покати. Съездили недавно в Москву, отвезли денежки. Спасибо, Осиповна да еще местные ребята нет-нет да и притащат яблок или огурцов, на этом да еще на чае с хлебом Клара с подружками до зарплаты и доживали. Вот и сейчас опять эта Осиповна.

— Эй, молодежь! — крикнула она в приотворенную дверь. — Ко мне на обед, покормлю.

— Да ты что, Осиповна, — застеснялась Клара. — Мы уж тебе надоели.

— Хм, надоели, — рассмеялась Осиповна низко, почти помужски. — А кому я тогда готовлю, коту? Да у меня это праздник, когда люди. Как с работы ушла, так не могу, пока кого-нибудь не покормлю... А еды у меня навалом. Я же летом и осенью не сижу сиднем. Вон сад-огород, вон подвал, а вон плитка — только готовь...

И Егор, в какой раз за последнее время, подумал о Берегине с ее банками-склянками и подвальчиком. О поселке Житень. О Стешке.

А на другой день специнтернат потрясло событие, имевшее в конце концов для всех дурные последствия, в том числе и для Егора. Ева давно охотилась за Кларой, она же, по всей вероятности, и распускала слухи про Кларины “шашни” с местными парнями — подшибьякинскими “женихами”. И вот буквально вчера Ева ворвалась в Кларину комнату и с криком “где он?” полезла в шифоньер, под кровать.

— Кто он? — стояла перед ней Клара, бледная, как полотно.

— Как кто? Кобель твой, — выпалила Ева. — Сама видела, шел сюда.

— Вон тот, что ли? — показала Клара в окно — садовой дорожкой как раз проходил мимо подшибьякинский парень. — Видела? В форточку выпрыгнул.

Ева зырь на форточку: мизерная, а парень крупный.

— Ты какое имеешь право называть меня на “ты”? — вспыхнула Ева.

— А ты какое имеешь право врываться в помещение и лезть под чужую кровать! — поднялась, распрямилась Клара во весь свой немалый рост перед маленькой Евой. — Я тебе кто: шлюха, преступник, человек без стыда и без совести? А ты мне кто — мать?

— Я — директор, — растерялась Ева. — И ты мне не тычь, мерзавка! Я тут за все отвечаю.

И Клара, не медля, подала заявление на директрису в местком.

Отдельно собрались на совет “стражи порядка” — это понятно. Молодые сошлись отдельно у Клары Зарецкой, позвали Егора — тоже понятно. Егор высказал мнение, что заявление — это, наверное, слишком. Директор все же, ну ошиблась, погорячилась, что же ей уходить теперь с занимаемой должности? Надо Кларе забрать бумагу обратно. Это уже вышел из писем и возговорил в Егоре дед его Решетовский после того, как лесина свалилась ему на ногу.

— А завтра она вообще нам на шею сядет, — волновалась Клара. — Вы все тут орловские, привыкли так — в своей области, как медведи в берлоге. А я дочь первоцелинников, просто в мысли никак не укладывается...

Все ждали, чем ответит Егор. Только откровенно. И Клара смотрела с надеждой. А Решетовский опять возьми да дерни его за веревочку.

— Мерзкое дело, — медленно катал по столу Егор хлебный шарик. — У Евы психологический комплекс выработался против Клары, против себе подобной. — И тут Егор, как с цепи сорвался, его понесло. — Я иной раз думаю: вот Ева, а вот Клара. Одно и то же, только одна моложе, другая постарше. А поменяй их местами, обе друг друга стоят. Посади Клару в директорский кабинет — не отличишь. Вот она, Ева, и терпеть-то не может Клару. Все вы тут педагоги божьей милостью, образованные, с дипломами, а ни черта не умеете. Вот вам, если начистоту!

— А заявление свое тем более не заберу! — сказала, как отрезала, Клара.

Но Ева была бы не Ева, если бы тут же не наложила плюс свой на минус. В интернате, на лестнице, подвернув ногу, сломал палец себе шестиклассник, и Ева подала в местком встречное заявление на Зарецкую — дескать, факт вопиющий, имел место на дежурстве Клары Зарецкой. И разбирались оба заявления сразу. Вначале, безусловно, Евино. Родители нам доверяют своих детей не для того, чтобы им тут ломали шеи, руки и ноги. Парень вышел из класса на перемену вполне здоровым, у парня, извините, не было даже чоха, а на перемене человек получил тяжкое телесное повреждение, отправлен в больницу, на палец наложен гипс. Кто-то должен же за все это отвечать? Тем более, когда делаешь замечание, встречаешь такую реакцию. — Вот именно, отвечать должен. И не кто-то. За все, что творится в школе, отвечает директор. Нет дисциплины на перемене — значит, нет ее вообще в интернате. И дежурный педагог вам ее за какой-то час не установит. От месткома, вы знаете, мы и так

принимали меры: из старшеклассников назначили даже ответственных на перемене, сам ответственный палец себе и сломал...

Большинство “стражей” встали за Еву. Горячее всех выступала, прямо-таки распиналась одна воспитательница младшей группы, в чье дежурство года два назад ребенок упал на лестнице со второго этажа. Она была человек справедливый, кривить душой не умела и потому предложила пока ограничиться малым — выговором дежурному педагогу, в свое время и сама его получила. А второе заявление — Клары Зарецкой — вообще не разбирать. Подумаешь, ей под кровать заглянули. Да у нас бабы, через дорогу от меня, по этому вопросу колями головы друг другу попробовали, и то ничего. Участковый ходит себе, как святой, только руки потирает да похохатывает. А соседка — живем на одной лестничной клетке — другую соседку на днях за волосы оттаскала. Та пожаловалась мужу, а тот человек такой, что камня в дерево зря не бросит, муж и говорит ей, мало тебе, дуре такой, добавить надо. А эта баба — да вы все ее знаете — шлюха на все Подшибякино, так ее хоть бей, хоть не бей, хоть смотри под кровать, хоть не смотри — бесполезно, все равно исхитрится, к сладкому как пристрастилась...

Так заявление Кларино и свели на нет, но разобрать разобрали.

После месткома Егор ходил сам не свой. Эко куда заехал, на чью лестницу воду вылил. Может, и правду сказал, да не вовремя. Век живи — век учись. Надо было вылезти ему со своими педагогическими наблюдениями — ослабил напор на “стражей”, разобщил молодых. “Стражи” таких оплошностей не допускают. Для виду при всех иной раз посражаются, а за часы, жизненноважное дело, ломают стеной. Отцы и дети — было и есть, может, где-то и нет, где-то все и не так, по-иному, а у них в интернате это было и есть, и зачем лицемерить, что нет. Явление существует само по себе, и, хотя ты о нем не говоришь, разве от этого оно перестанет существовать? “Какие сети набрасывают на свободу души, как бьется в сетях этих Дятел!..”

— Черт с ней, — сами дернулись губы у Клары. — Брошу и уеду к маме...

Егор положил руку на плечо Кларе:

— Приду на днях, поколю, что с тобой напилели.

— Я не про то.

— А я про то.

— Ну вот и поговорили.

И разошлись в сад — он с работы, она на работу. А конфетка Капина так и осталась у Егора в кармане. Каждое дело ждет своего часу. Ждала своего часу конфетка и в кармане Вадима Карцева.

Каким-то шестым чувством Егор понимал, что так жить дальше нельзя. Ева — это тебе не Бодраков. Но и при Бодракове он, как видно теперь, наделал немало ошибок, а ведь можно было чего-то и избежать. Слишком открыт, распахнут, все наружу, написано на физиономии — радости, огорчения, просто плохое настроение. С Евой в специнтернате, так нельзя. Надо носить, как говорят по-современному, маску.

На днях он, Егор, бегал на почту, напротив из дома престарелых как раз выходили двое — согбенные годами, он и она. “Улыбайся, улыбайся!” — пальцем в бок зло ширяла старуха своего еще более ветхонького супруга. Егору сделалось грустно: чему улыбаться-то, всем все ясно, старые, плохо одетые люди, на закате жизни. Через что прошли они, эти люди, если так говорят? Как все вокруг неестественны, носят маски свои, словно противогазы, говорят не то, что думают, делают не то, что хотят, вращаются вокруг Евы, как планеты вокруг Солнца, и она принимает это вращение, считает его естественным, даже необходимым. И только не все из “молодежного корпуса” вписываются в Евину орбиту. Уму непостижимо, как быстро Ева взяла всех в шоры. Егору противна была всякая мысль о маске, он боролся с этим в себе, но все-таки понимал, что маска — это его оборона от внешней агрессии, его укрепление, земляной вал, если он сумеет построить и за который редко кто допускается: там бьется нежное, любвеобильное, там стучит его Серый Дятел.

Взаимности можно ждать лишь от детей. И письма Решетовского, и последовавший затем сумбур в мыслях направляли Егора именно в эту сторону. Он и ходить-то вокруг своих “гавриков” стал как-то не так — вкрадчиво, “пумой”, улыбался чаще, с полноги кидался выполнять за них любую работу. Он любил их, как эти деревья в парке, это высокое, с просинью, небо, не находящее в себе силы, однако, очиститься от облаков, скучал порой, как по Житеню, по Берегине, по Стешке, как по собственным своим детишкам — Устинчику и Ивашке, что они не с ним, к сожалению, а где-то на стороне, душа требовала их замещения. Ему хотелось обратно к себе в Тигановку, хотя бы на недельку, на день, на вечерок — освежить в памяти дедовы письма — оттуда к ним сюда, в эти дни.

“Блажит наш Егор”, — сделала окончательный вывод Капа Лобова, и глаза ее в глубине орбит сверкнули фосфорически, и она улыбнулась зловеще, оглядев каждого из сообщества вокруг себя, где она была председателем. — “Блажит”, — подтвердили с готовностью девочки. И хотя Капа больше ничего не сказала,

они поняли ее и без слов. Им не нужна была Егорова жалость, это им было противно.

Пропал классный журнал. Егор с ног сбился в его поисках: скоро нужно было выводить четвертные оценки. Да и вообще журнал — основной документ, как это без журнала? Егор пока не заявлял о пропаже, надеясь на свои силы, так и ходил с кислой миной, не зная, что делать. Журнал он обнаружил через несколько дней там же, где и все другие, в учительской. “Происки Евы”, — подумал Егор.

А дальше так. Егор повесил в комнате группы пальто. Сунул после руку в карман — конские каштаны, совсем свежие, теплые даже. У ребят оборваны шторы, у девчат разбит графин и стекло разбросано по половику. На момент Егору показалось, как Капина голова, лежащая на подушке, словно кочан капусты, осклабилась, глаза полыхнули фосфорическим блеском, протянулись, вытянулись за ним до самой двери на шнурках, на длинных таких проводках, да так по углам и повисли, будто какие-нибудь колонки с воспаленным своим, по-кошачьи зеленым, мигающим светом.

В другой раз Егор отметил про себя, как Капа намеренно, чтобы видел именно он, любезничала с Евой, как тут же закрутился вокруг директрисы весь Капин хоровод, не обращая внимания на Егора. Егора это больно задело, но он сдержался, не дал себе придрататься к ним за какой-нибудь пустячок, даже поставил в санитарном журнале девчатам “пятерку” за день, хотя они этого не заслужили. Они ждали его реакции, а он на нее не пошел. “В чем дело?” — ломал Егор себе голову.

— В чем дело, Капа? — спросил он девочку на другой день.

Она вздохнула и, как ворона на пашне, побежала вприпрыжку прочь, прихлопывая руками и хохоча. Однако не тут-то было, Егор нашел Капу и в спальне. Она была в своей любимой позе как всегда, в постели, одеяло до подбородка. Егор повторил свой вопрос.

— А вы конфетку мою съели? — спросила Капа.

— Конфетку? — растерянно полез он в карман.

Достал из кармана подмятую, примусоленную.

— Эта вот?

— Да, эта.

— Съесть?

— Да, съесть, — смотрела Капа напряженно.

Из деликатности Егор съел Капину конфетку прямо в бумажке — она влипла в конфетную массу и не разворачивалась.

— Ну вот, — облегченно вздохнула Капа.

Целый день, как всегда, Егор прокрутился в специнтерна-

те, в свою комнату пришел лишь ночевать. И вот в постели, перебирая события дня, вспомнил он о Капиной конфетке, о словах ее, связанных с этой конфеткой. И пурга закрутилась, завьюжилась за черным ночным окном, закричала, заухала сова-филин в трубе. Засыпая, Егор почувствовал, как дневное напряжение сходит с него, он становится сильнее, моложе, годы отлетают назад, как листки отрывного календаря, и он летит одиноким листком, превращаясь в нечто между Вадимом Карцевым и Любовью Капой...

... Он в Капиной комнате, член Капиного совета. Все сгрудились, как заговорщики.

— Сегодня убираем комнату, а завтра — Еву, — говорит в Егоре Вадим.

— Мы еще поглядим на тебя, — пищит Капа тоненьким голосом, режет его изнутри, как волоском".

И все они принимаются за уборку: мыть, подметать, протирать. Будет проверка, будут ставить оценку за четверть. И тут в комнату к девочкам влетает он, Егор Трофимович, их воспитатель. И выхватывает у кого-то тряпку, сам начинает драить полы. Забирает кисть у другого — красит подоконник. И все они, не зная, что делать, ложатся в постель. А он садится у двери на табуретку и смотрит на всех соловым своим, обмякшим, как у лошади, взглядом.

— Жалеет нас, — шепчет Капа, так что все ребята и девочки слышат ее, а Егор Трофимович нет.

— Жалеет, — вздыхают все остальные.

И Капе в Егоре делается до того все противно: и стены эти, и половик, и графин, — все здесь опостылело. За кого принимают ее — за больную, незрячую, неходячую? А мы ведь все видим, все слышим, все понимаем, может, даже больше, чем взрослые. Видите, какие у меня ноги, — говорит в нем Вадим, — я все выдержал, я перенес три операции, чтобы они стали такими же, как у вас. — Видите, рядом кино, — вздыхает в Егоре Капа, — а нас держат здесь, как в тюрьме, а ведь мы уже взрослые. Здесь взрослеют куда быстрее, чем там, за стеной...

И у Капы в Егоре вдруг просыпаются чувства, и ей начинает нравиться то мальчик этот, Давид из Армении, то Карцев Вадим, а то холодок прокатывается по телу, когда ей кажется, что Давид больше смотрит на ее подружку, чем на нее. И тело ее вспыхивает и леденеет, когда в комнате появляется Егор Трофимыч, их воспитатель, у которого красивые руки, губы, так красивы глаза, что никому рассказать невозможно, и надо это держать втайне, в глубокой тайне, чтобы к ней никому не подступиться. А Егор Трофимыч появляется в комнате и начинает за нее мыть полы, и, когда он уходит, это

она нечаянно задевает локтем графин на столе и в злобном отчаянье расшвыривает битое стекло по ковровой дорожке.

— А что ж он, — шепчет Капа, и остатки воды из графина стекают у нее по щеке. — А что ж они... а еще и жалеют...

И "ха"- "ха"- "ха" по коридору, так что ворона бросается с карканьем в форточку, за ней гонится кот Осиповны. И Капа ныряет в свою постель, замирает в излюбленной позе — одеяло до подбородка, и лежит, уши топориком — телеантенны, а глаза вытягиваются вслед за каждым входящим и выходящим из комнаты, повисают, как на шнурочках, живут отдельно, развеянные по углам...

Егор очнулся от того, что ногам стало тепло. Это грел его кот Распутник, опять махнул сюда через форточку. Распутник мурлыкал, а Егор вновь перегонял через себя, что только что видел и слышал. Он их сейчас хорошо понимал — этих своих пятнадцать "гавриков". Девятиклассников. Самых старших из всего интерната... А все-то конфетка — этот Капин сладкий комок, удивительный Капин подарок.

XI

"Не держать — все развалится, разлетится в клочья. А ведь это должен быть коллектив. И какая же цель у тебя, директора? Прежде всего накормить, одеть и обуть детей. Чтобы был порядок, чтобы все шестеренки крутились. А дети какие? А педагоги, особенно молодежь? Одна Клара Зарецкая, "эта головная боль Европы"; чего стоит. И нигде просто так ничего не дают, все выбивай, перед всеми на цыпочках. А ведь дети — общее дело. И все плохая им, все Медуза Горгона, а теперь уж и Ева из чьего-то ребра"...

Ева Власовна прикрыла веки, "Москвич" мягко покачивало: дорога новая, недавно подтянули от Алатыря почти до самого Подшибякино. В народе поговаривают насчет возвращения районного центра, ну да пока одни разговоры. А вот запчасти для "Москвича" — это реальность, какая-нибудь, извините, фигня на черном рынке влетает в копеечку. И ставки шофера нет, не положено, оформляй человека сторожем, рискуй, вешай себе на шею, а потом окажется, что ты жулик, деньги клал в свой карман. Такая система выгодна в иерархии более высокому руководству, держать низших на подвесе, в зависимости от своей прихоти.

Вскоре Евин голос пошел гулять по коридорам Алатырского отдела народного образования. "Марго прикатила из Подшибякино", — улынулись в одном кабинете. "Маргрэт Подшибякинская", — съязвили в другом. И все одинаково стали

соображать, куда бы это юркнуть им или фонды как-нибудь спрятать, не показать все наличие этой цыганке. Не то сейчас же ринется наверх выколачивать, еще и нажалуется, пустит слезу — артистка, как будто все тут только ей, для нее, другим ничего и не нужно.

В одном кабинете Ева сунула кому-то коробку пастилы, в другом — потрепалась о французских духах, в третьем — под большим секретом ей разгласили данные, как чуть ли не государственную тайну. И вот уже с полным пакетом из цифр и ясно поставленной цели Ева предстала перед очами заведующего.

Матвейч, так звали завроно, был мужик не воинственный, сходный, он дорабатывал до пенсии и вообще ничего не решал. А если что и решит, то тут же к нему ворвется в ярости Фурия, главбух, и под напором неоспоримых аргументов Матвейч потихому все и отменит. Вот и сейчас Матвейч не смог устоять перед Евой, пообещал и новую грузовую машину, и дополнительные средства на капитальный ремонт бассейна, и прочая, и прочая, и прочая. Ева знала, что как только она уйдет, у Матвейча определенно появится Фурия. Знала Ева, и что скажет та Фурия: опять обещали? Вы же знаете, специнтернаты снабжаются централизованно, через Орел, а у нас они сбобку припеку. Где же это вы средства на ее бассейн собираетесь брать, снимать с сельских школ?

Еве важно было еще и поконтрактировать с Матвейчем. Впервые, не обошла нижнюю инстанцию, легче пускать слезу в верхней. Во-вторых, вызывала “огонь на себя”, чтобы увидеть реакцию, отношение лично к себе, вообще держать руку на пульсе, быть в курсе всего.

“А эту Фурию... уволю!” — рассердилась Ева, как будто только что села на место Матвейча.

Из дверей Алатырского райисполкома она направилась к ждущему ее во дворе интернатовскому “Москвичу”, чтобы ехать отсюда по тем же вопросам в Орел.

Визит к орловскому начальству требовал гораздо большего профессионализма. Ева Власовна заехала в салон “Мечта”, где знакомая парикмахерша сделала из нее и в самом деле “королеву Марго”, но не в Евином — районном, алатырском понимании, а в своем — областном. В таком виде Ева объездила склады народного образования, вернее, облизполкома, где выяснила “наличие отсутствия”. Та же процедура, что и в Алатыре, но покрупнее: в пределах кило шоколадных конфет — “побойтесь бога, мужики, я женщина слабая, болезненная, измученная нарзаном, вот ко мне приедете — найдем что-либо поводороднее, нежели ваша орловская колодезного производства”.

Вокзальные куранты ст. Орел, исполняющие не только ме-

лодию композитора Калининкова, но иногда еще и чечетку с силовато-кавказским акцентом, перед тем, как выйти из строя, зафиксировали битый час пребывания подшибякинской директрисы в кабинете Главного Распорядителя кредитов по народному образованию. Да покроет мрак неизвестности, что там говорила Ева высшему политическому и хозяйственному руководству области. Обратим взоры на то, что происходило в соседних кабинетах, заполненных такими же примами, как и Ева, но несколько раньше.

— Подумаешь, она приехала! — поморщилась полденькая Блондиночка, у которой пышные волосы, обесцвеченные химией, были уложены элегантнее всех. — Сделала завивку у Фроси, за пятнадцать рублей. Еду в Москву, делаю химию с биюзой...

— На тебе все равно не видно, а на Еве видно, — сказала Брюнетка с обыкновенной прической, зато с осиной талией, стройная. — Как вы думаете, Ева похожа на Тэтчер?

— Еще чего! — вспыхнули разом все. — Да вы присмотритесь к этой директорше: какая же это леди, у нее замашки наших орловских носильщиков: “куда пррэшъ, как на буффэт”?

— У Тэтчер глаза красивее, — вздохнула полденькая Блондиночка. — И вообще она деятель, а Ева кто?

— Не сказала бы, — усмехнулась Брюнетка. — У Евы все еще впереди, она моложе, эта лошадка еще уездит Матвейча... Вот как станет твоей начальницей, — повернулась она к Блондиночке, — завиваться поедешь уже не в Москву, а на Соломоновы острова.

— На Соломоновы? острова?

— Ну да, до хат с соломенной крышей.

— Теперь таких нет.

— Ну образно, пошутила, — улыбнулась Брюнетка. — Это я так, просто в деревню, если всерьез.

— Смотрите, кабы она всех нас туда не определила, — вздохнула Блондиночка, выразив общее опасение.

Вот почему, когда из дверей кабинета начальства вылетела эта “железная птичка” — Ева Власовна Кротова, директор Подшибякинского специнтерната, все промолчали. По крайней мере, в роли директора Ева нашла себе точку опоры, эквивалент, оправдание столь оригинального поведения на местный манер, отчего бы, узнав, Маргрэт, наверное, сгорела бы со стыда и подала бы срочно в отставку. Тут и пришла пора открыть Евину тайну: если в помыслах она и соглашалась на какой-нибудь псевдоним, так только на этот — “Маргрэт”, или проще “Марго”. Ни на какие другие она была не согласна.

Ева гордо пронесла свою прическу в “Москвич”. Уселась,

расправила платье, как это делает Тэтчер в известном доме на Даунинг-стрит, 10 перед заседанием.

— Двигай, Федя! — положила руку она на плечо водителю, по совместительству сторожу, тоже вроде как личная охрана, всегда под рукой.

“Так, подобьем бабки, то есть итоги. Какие-то вопросы решены, какие-то будут решаться. Главное — тебя знают, держат в поле зрения, в случае чего — не забудут и вспомнят”. Все эти годы Ева неуклонно двигалась вверх, начав с простого учителя сельской восьмилетки. По ее мнению, в служебной иерархии она не достигла еще и середины, данные ее были на большее. Немало сил было угрохано Кротовой даже на то, чтобы достичь Подшибякино. Сейчас она спала и видела Алатырь, хотя бы Алатырь, а там поглядим. Проклиная порочную систему паспортизации, которая, как дратвой, пришивает нас наглухо к какой-либо ступени проживания, не давая талантам добраться даже до области, не говоря уже о столицах, и тем самым значительно обедняя себя и народ, Ева ни перед кем не раскрывала подспудный смысл всех своих слов и действий, естественно, и перед супругом. Она умела держать язык за зубами.

Сегодня Ева могла быть довольна собой: и Алатырь, и Орел ценят ее. Грузовик на следующий год выделяют, а бассейн — что бассейн, побудет и сухим; если бы бассейн оказался с водой, его просто надо было бы осушить, чтобы создать прецедент для будущих переговоров. Дети есть дети — цветы нашей жизни, как же они могут жить, проходить тем более курс лечения при сухом-то бассейне, лишённые элементарного — водных, извините меня, процедур?

При движении к Подшибякино Евины мысли перемещались в сторону специнтерната с куда большей скоростью, чем этот захудалый “Москвич”, который давно пора бы списать. С будущего года начнем ездить в Орел на грузовике, скорее, дадут “Жигули” вместе со ставкой шофера.

А интернат есть интернат, куда денешься, исправительный дом для счастливиц. Клара Зарецкая — это “бунт в стакане воды”. Теперь возникает Капа, тоже мне отрицательный лидер, заводит всех, а сама в стороне. И Тиганов Егор хорош, идет у них на поводу. С этими “бунтами” мы еще разберемся. Не таких ломали и ставили, куда надо. Вместо Капы приглядеться надо к Коржавых Вере.

Бессмертный со времен древнего Рима постулат всех диктаторов и бюрократов “разделяй и властвуй” в своих условиях Ева применяла по-своему: работала в массе не на объединение, а на разделение, стороны создавала и сталкивала, одному кусок — другому шиш с маслом. Благо, масла такого у нас навалом. Явно не дефицит.

Дома Марго уселась под торшер, взялась за газеты: руководитель должен быть в курсе. Ужин готовил супруг, которого Ева иначе не называла, как “валенок”. Мужик вроде бы крупный, при теле, битюг битюгом, а Ева за него скоро будет ходить в совхоз отстаивать доброе имя и заработок. Совсем мужик заплошал, приносит домой копейки. До чего довели: говорит, будто кур вчера крал, подаст руку — лепешка как-кая-то, студень. Тоже мне слесарь, его величество рабочий класс.

— Ну скоро ты там, валенок?! — крикнула Ева на кухню. — С голоду умерить собираешься?

— Спешешь коли, встала бы да сама приготовила, — огрызнулся “валенок”. — Я тоже был на работе, только что пришел.

— Тоже мне “бунт в стакане воды”! — швырнула Ева газету и шагнула на кухню. — Если мужик, так и содержи семью, приноси мужскую зарплату!

— Мамочка, мама! — выскочила из спальни Евина дочь, щека ее уже дергалась, девочка готова была разрыдаться.

Ева тут же смирилась, взяла дочку за плечи, повела в свою комнату — “подальше от этого аспида, Левши-умельца, который и яичницы толком не может поджарить, сейчас чего-нить там наварнакает, вместо соли перца набухает”. Действительно, с кухни пополз горьковатый запах подгорелой яичницы, но Ева не спешила спасать положение.

— Девочка моя, — вила круги Ева.

Прямо из кожи вон лезла, знала, что к отцу дочь тянется, а от нее все отходит, вырастет — вовсе станет чужой. Хотя подарки носит не отец, а она, мать. Вот и сейчас на дочке рубашка с латинскими буквами — от Макарова. Порой возникающую во глубине обиду Ева относил на счет того, что на собственное дитя ей не хватает времени.

— На, возьми, — достала она из сумочки апельсины, купленные сегодня в Орле, в буфете облисполкома.

— А ты не зови его “валенком”, — взяв в каждую руку по апельсину, продолжала смотреть на нее дочь исподлобья. — Ты — королева.

— Да ты что! — опешила Ева. — Кто тебя этому научил? Смотри, ну какая же я королева, — снова заворковала, заходила кругами Ева вокруг дочери. — Королевой кого называют? У кого ни талии, ни кожи-ни рожи...

— Все равно не называй его “валенком”, он хороший.

— Ну хороший, хороший отец твой, не буду, доченька. Только пусть завтра этот твой хороший отец лезет и чинит крышу, я сама больше лазить не буду.

“Вот тебе и еще один “бунт индивидуальности”, — не глядя

ни на кого, ковыряла Ева вилкой яичницу, изжаренную супругом.—Буря в стакане воды, заговор в собственном доме”.

Прежде Ева делала так: нажмет на воспитателя, воспитатель нажмет на лидера в группе, лидер нажмет на группу, и все в ажуре. С появлением в интернате Клары Зарецкой, с почти официальным оформлением в оппозицию “молодежного корпуса”, этот метод уже не подходил. Надо было придумать что-то другое, но что? Пока она не нашла ничего иного, кроме как, минувя Тиганова Егора, которого, как и супруга, кое-когда она называла мысленно “валенком”, воздействовать сразу на лидера — Капитолину Лобову. Или найти ей замену в лице Веры Коржавых. Таким способом Ева хотела помочь Егору Тиганову предотвратить развал группы, подавить “бунт в стакане воды”, она это видела, он назревал.

По поводу и без всякого повода, по всякой мелочи директриса стала дергать Капу. И Капа развернула себя и всю группу против сильной и жесткой Евы. У Медузы хватка мужская, эта не будет сюсюкаться с ними, как с первоклашками. И Ева проявилась не столько в жестокости, сколько просто в недобром отношении к ним, Капа чуяла зло хорошо. Назад ходу к Егору не было — гордость не позволяла. И Капитолина Лобова растерялась.

Но Капа была бы не Капа, если бы она не была Лобовой. Сгусток энергии в этом маленьком, сплюснутом теле клокотал, как в атомном реакторе, и требовал выброса в атмосферу. Капа искала выход. Весь интернат и больше всех, конечно, Тиганов Егор, воспитатель, были поражены: Капа вдруг превратилась в ягненка. Редко теперь лежала на постели в своей излюбленной позе — одеялка до подбородка, на подушке одна лишь голова, глаза таращатся, вываливаются, сверкая из орбит нервным, зеленым, фосфорическим блеском. И вокруг Капы ее верные подружки, весь ее штаб, вместе вечно они что-нибудь замышляют, завязывают узлы, какие потом приходится распутывать всем педколлективом.

Теперь Капа постоянно была на ногах, она стала чаще попадаться на глаза директрисе, даже улыбалась Еве жалкой своей, продажной улыбкой. Но Ева проходила мимо — красивая и неподступная, Ева была выше всяких улыбок.

Вечером после отбоя, в Капиной комнате, перед постелью Капы, вновь собрался совет.

— Чего ты заискиваешь перед ней, — упрекнула Капу близкая ее подружка Вера Коржавых — самая породистая в ин-

тернате, если бы не ноги, которые она подволакивала так же, как и Капа, можно было подумать, зачем она здесь.

— Да, чего? — поддержали Веру все остальные.

Сидели впервые так: Капа — по эту сторону, все другие — по ту. Решалась судьба: быть или не быть и дальше лидером Капе, слушаться Капу или, может, идти за этой породистой Верой? Напряжение росло, аж звенело в ушах. Кто-то, нервничая, засопел, у кого-то ощерился зуб. Могут ведь и вцепиться, они такие, разорвать эту Капу в куски. Это она настраивала их всегда против Евы, она придумывала козни, на которые у них бы просто ума не хватило. А теперь Капа сидела, угнувшись, и ничего не предпринимала. И было тихо по этажам, спал весь интернат.

— Так, все понятно, — сказала Вера, и все встали и уже подходили к двери, чтобы продолжить совет уже в Вериной комнате, когда Капа, наконец, процедила сквозь зубы:

— Дураки! Безмозглые твари... Орите во всю глотку, закатывайте истерику. Еву этим не прошибешь, с Евой надо менять пластинку.

— Пластинку? — приостановились члены совета. — Что ты говоришь? Мы не верим тебе.

— Ко мне! — сказала Капа прежним своим, повелительным голосом, и глаза ее, как и прежде, вспыхнули яростным, фосфорическим блеском. — У меня такой планчик...

И опять все сгрудились возле Капиной кровати, вслушиваясь в Капин остренький, как волосок, голос, исходящий откуда-то из недр живота.

На другой день в Капиной комнате был полный аврал. И у других девочек старшей группы был аврал. Аврал покатился по другим комнатам, по всему спальному корпусу. Девочки мыли полы, протирали окна, переставляли мебель. Воспитатели лишь разводили руками, недоверчиво косились на подопечных: инициатива не исходила свыше. Если бы какая-нибудь комиссия, тогда ясно, а так, что еще затеяла преподобная Капа? Воспитатели с ног сбились, чтобы только узнать что-то через своих шпионов, но члены Капиного совета умели хранить свои тайны.

Ева зашла к Капе в комнату и обалдела: шифоньер и кровати сдвинуты в сторону, по свободной стене — Хоттабыч на ковре-самолете, братец Иванушка с сестрицей Аленушкой, Серый Волк гонится за Красной Шапочкой.

— Шшшшо-о-о это? — вспыхнули Евини глаза совиным таким зеленым, фосфорическим пламенем.

— «Стенка чудес»! — выступила вперед Лобова Капа.

— Зачем все это? — пятна пошли по лицу Евы, она задышалась.

— Мы написали письма родителям, — сказала Капа, — мы хотим, чтобы они к нам все сразу приехали. И у нас будет праздник.

— Какой праздник, какие родители!! Кто вам это сказал?! — схватила Ева ведро у двери и окатила стенку водой, какой девочки только что мыли полы.

Капа упала, пена пошла изо рта у нее, и она забилась в конвульсиях. Схватилась с полу и с криком “Я все равно убегу!” кинулась в дверь. Ее изловили уже возле выхода, она вертелась на голом гладком цементе волчком, колотила вокруг себя своими коротенькими ручками-ножками и хрипела, рычала, рыдала. Зинаида, дежурная воспитательница, не знала, как к ней подступиться. В таких случаях Осиповна была незаменима. Не мог ничего сделать с Капой и врач Макаров — “морской волк”, называется. И тогда сама Ева навалилась на Капу, прижала Капины руки, ноги к цементу и держала так, долго держала, пока не сошли конвульсии — хватка у леди была в самом деле железная.

ХII

После того, как Егор съел Капину конфетку и побывал в ночном путешествии, он осознал: “гаврики” подросли, их уже не жалеть надо, а уважать. Но как? Не курить же с Мусрепяном Давидом где-нибудь в туалете и не крыть матом, как Вера Коржавых всякий раз, когда в интернат возвращается из дому.

Зинаида Федотовна подсказала Егору провести читательскую конференцию на тему “Молодой человек в современной литературе”. Светло, тепло и мухи не кусают. Егор пошел в Подшибякинскую библиотеку и стал подбирать подходящие книги. Ему помогала библиотекаряша Анфиса Филипповна. Библиотека была неплохая, но книги в ней сохранялись еще с молодости Анфисы Филипповны. Современные же доходили сюда, как эхо от извержения вулкана Кракатау, активного в начале нашего века.

Лучшая литература задерживалась не столько в анналах истории, сколько прежде всего у книголюбителей Орла, а также Алатыря, которые с шестидесятых годов, как только грянул квартирный бум и параллельно ему мебельная лихорадка, так зациклились на этой своей любви, что до сих пор предпочитают смотреть дома больше на корешки, чем на верхки в библиотеке, — ох, уж эти книголюбители.

Анфисе Филипповне надо было, наверно, гонять жеребцов, она их любила с детства. А приходилось выдавать книги всем, понимаешь, подряд — с хорошей и плохой памятью, забываю-

щим не только то, что написано на первой странице, но также и после первой же утерянной книги дорогу в библиотеку.

Анфиса Филипповна была рада, конечно, сотрудничеству со специнтернатом: скольких за один дух можно внести в формуляры. Но тут же разочаровала Тиганова Егора тем, что могла предложить только “Овод”, “Как закалялась сталь” (“это, Егор Трофимыч, подходит как раз для ваших ребят”), затем “Историю государства Российского” (том четырнадцатый) и “Пособие по конной выезде для ипподромов” (“а это, извините, мой личный презент, из-за особого к вам расположения, моя настольная книга”).

Егор затолкал выделенную литературу в портфель, остальное предстояло дополнить полетом души и фантазией. Все дело не в литературе, а в жизни, а жизнь играет участник: “Что наша жизнь? — игра”. Кому не интересно играть, не живи, а живешь, так играй. Все играют, и ты играй, а то, если не играть, как Капа, а опять же всерьез, то ведь глаза вскоре начнут гореть фосфорическим блеском и нутро на подвиги выворачивать... Вот до чего дошел Егор, готовясь к первой своей читательской конференции.

Все отказались читать Егоровы книги, кроме некоторых. Ну да ладно, всем и не надо, главное — чтобы были, как понял Егор, “закоперщики”. Только сдвинуть, а там покатится.

Собрались под телевизором все вместе — девочки и мальчики, вся группа. Ребята даже белые рубахи надели, а девочки подвязали на шее платки. Капа сидела в углу соевой, она теперь никуда не вылезала. Егор крутился в комнате, подходил к каждому, на разный манер заговаривал — то по-женски, то по-мужски. То на темы любви и верности, то на темы военной хитрости и коварства. Егор их теперь не жалел — уважал, как только мог уважать (Горький, все ясно).

Вера Коржавых сказала, что ей, например, понравилась книга “Как закалялась сталь”. А Лобова Капитолина выскочила и возразила, что эта книга, мол, устарелая. Где мы сейчас видим гражданскую войну, на кого скакать с шашкой? Зато Капе понравился “Овод”. Но Капе теперь возразила Вера: какой же он современный, “Овод”?

— Современный! — сказала решительно Капа. — Потому что он, хоть и хромой, но пытался бежать и бороться. Мне не жаль Овода, не жаль кардинала, жаль только, что, когда расстреливали Овода, этого не видели все.

— А мне жаль Серого Волка, — подал голос мальчик из “нулевого” класса, проник сюда и сидел тихой мышкой.

— Почему? — удивился Егор.

— Потому что его обманула Красная Шапочка.

И все засмеялись: при чем тут Овод и Серый Волк? А при том, что Овода обманул отец — кардинал Монтанелли, а Красная Шапочка вместе с дровосеками — Серого Волка. А если бы Красная Шапочка вместе с дровосеками не обманула Серого Волка, он бы съел ее насовсем, и дальше бы никакой сказки не было.

— Все равно, — сказал мальчик, и это был тот самый мальчик, что первым когда-то здесь встретил Егора и спросил, не он ли его папа. — Все равно, тогда бы люди придумали новую сказку.

А вот Вадиму Карцеву понравилось “Пособие по конной выезде”. Сел на коня, выхватил прямо из огня саблю дамаской стали и скачи, закаляя ее на ветру. А нет ли пособия, Егор Трофимыч, там у них по пчеловодству?

— Что мы тебе ненормальные? — поднялась, обращая на себя внимание, Вера, всегда такая прямая, как дверь в столовую.—Скакать с саблей, когда нет войны, это же только ненормальные могут. А мы все тут пока не собираемся, — она остановилась и посмотрела на Капу, — не собираемся падать на цемент, биться руками-ногами, к ма-аме бежать...

— Заткнись! — фосфорически вспыхнула Капа.

И все загалдели, вскочили, готовые бить кого-то, рвать, ломать и крушить.

— Ребята, ребята! — туда-сюда метался Егор, понимая, что вся эта затея может лопнуть и больно задеть его лично осколком.

Чего доброго, подерутся, устроят побоище.

— Продолжаем конференцию, продолжаем конференцию! — зыком своего голоса перекрыл общий гам Егор.

Как ни странно, но это слово “конференция” подействовало на ребят. “В гены, что ли, вбита нам бюрократия?” — мелькнуло в Егоре, и он вздохнул сокрушенно:

— Эх, ребятки! А теперь мы с вами поговорим о героях из жизни. Хотите об одном герое, когда я был, кем вы думаете?

— Тюремщиком, в тюрьме сидел, — сказал кто-то осторожно.

Егор и ухом не повел, не обратил внимания.

— Мужем, — это сказали девочки из Капиного окружения. — Детей нарожал и бросил в такой интернат.

Чувствуя, как почва уходит из-под ног, что вот сейчас, на его глазах, конференция рухнет, все вскочат, навалятся на него, начнут колошматить, чем попадая, может, даже и стульями, ощущая уже такой стул чуть пониже спины, Егор выдохнул звонок, неожиданно по-молодому:

— Я, ребятки, был аг-ро-номом!

— Аг-ро-номом?! — удивилась вся “конференция”, так, скорее для виду, все про это давно уже знали.

— Агрономом! — гордясь теперь уже откровенно, с удовольствием заявил Тиганов Егор.

В комнате сделалось тихо. Полная тишина. Только ветер мотает форточку. “Ребята — это такие же люди, как взрослые, все понимают, даже немножечко больше... Мне сделали три операции, чтобы ноги были такие же, как и у других”...

— Я, ребята, кормил народ хлебом... Хотите расскажу вам про моего полевого, боевого товарища Броньку. Вот герой! Ну не такой, каких в книжках хвалят, а как бы наоборот — прохиндей, каких мало, но живой, наш человек, и я его, ребята, люблю.

И было интересно всем, кажется. Только хлопало форточкой. Бог с ней, с педагогикой этой, была не была.

— Бронька у нас на селе, — призадумался Егор, как бы приближая к себе все ярищенское, — специалист как бы по запчастям. Где что достать — сами знаете, какая проблема. Бронька в зубы барана и в город, любые ворота бараньим лбом прошибает. “Броня крепка, и стежки наши склизки”, — бывало, говаривал Бронька. И не унывал, когда было трудно. И все вокруг него не унывали. Хотя должны были государству — ну сколько вы думаете?

— Девять миллионов, — сказал Давид Мусрепян.

— Два, — скромно поправил его Егор. — А без Броньки было бы, наверно, и девять. Техника ходила и ходит, механизм крутился и крутится. И за всем этим он, прохиндей этот, Бронька!.. И вот поехали они как-то вдвоем с Бодраковым, нашим председателем. Подвыпили где-то и поругались. Бронька что-то ему сказал не такое, мол, хватит бить по воротам бараньими лбами, пора, дескать, бить и своим. И Бодраков взял и завез Броньку в поле, куда подальше, и бросил, решил проучить. А ночь. Незнакомая местность. А волки могут быть. Дорога назад неизвестна. Что делать?

— Броня крепка, — засмеялся Егор. — Но Бронька, на то он и Бронька, чтобы идти, не унывая, по нашим склизким дорожкам. И вот повел носом он — ночь, а в ночи бараниной пахнет, где-то баранину жарят. У Броньки насчет поесть нюх острый. По запаху и пришел, прохиндей, на поселок.

— На жратву острый, — взвеселились ребята. — На баранину... Ну и дальше что?

— А в поселке, — продолжил Егор, — оказались свои, знакомые. У Броньки везде свои люди. За стол садиться Бронька, однако, не стал, отвезите меня, говорит, домой. Отперли Броньку, броня крепка, на мотоцикле в Ярище. Прямо домой к Бодракову. А тот еще домой не приехал. Бронька шу-шу-шу жене Бодракова: мол, знаю, где сейчас твой мужик, с кем и чем зани-

мается, хошь покажу? — Покажи, — говорит. — И отвез Бронька ее на своем мотоцикле в Алатырь, где были они с Бодраковым. Самого Бодракова нет, а пиджак бодраковский покоится на диванчике. Жена Бодракова не дура, не стала с молодой хозяйкой препираться. Цоп пиджак и на мотоцикл... Утром Бодраков идет на работу, а под глазом вот такой фингалет. Увидел возле правления Броньку: “Как, ты уже здесь, броня крепка?” — “А где же мне быть?.. А что, Финаген Ксаныч, стежки наши стали такими уж склизкими, что не можем?” — “Без чего?” — “Без этого, — показывает Бронька на глаз Бодракову. — Надо падать на каждом шагу?” “Ну, прохиндей! — заподозрил Бодраков Бронислава. — А не ты ли синяк мне навесил бабьими руками?” — “Что вы, Финаген Ксаныч, — смеется Бронька, — это вы сами упали”. Хорош, видать, был, забыл, как и падало... Вот узурпатор какой, прохиндей этот, Бронька! Всегда его верх. Ну как?

И “конференция” стала живо обсуждать поведение Броньки: хорошо он сделал, что выдал Бодракова жене или плохо? Одни говорят, плохо, мол, так нельзя, вместе же были у той молодой, что в Алатыре. А другие — ну и что ж, что вместе, а чего же тогда Бодраков высаживает Броньку из машины посреди ночи да еще в незнакомой местности, а если бы Броньку волки съели? Одни говорят, мол, пусть едят, так и надо ему, прохиндею, чтобы не засорял наше общество. А другие — ну а кто же тогда запчасти будет доставать Бодракову? Бодраков найдет себе другого такого Броньку, броня крепка, и стежки наши склизки...

Егор слушал и ликовал: до чего же умны ребятки, а еще Клара говорит, им нужен шадящий режим.

— Спрашиваете, что делал Бронька там, у молодой хозяйки в Алатыре? — изумился вопросу Егор, и тут его осенило: — А вот что делал Бронька в Алатыре, вот что!

И закружился Егор вокруг стула, как вокруг молодой хозяйки, и начал приседать, приохивать, как на деревенском пятачке под гармошку. И все стали в лад ему ладонями прихлопывать. “Ас-са!” — бросился в круг Мусрепян Давид, следом Вера Коржавых, а за ними и все повскакали, все плясать бросились. И Вера заголосила, запричитала частушку:

— Мой миленок, как теленок,

Только веники жевать.

Проводил меня до дому,

Позабыл поцеловать.

— Асса, асса! — колотил по коленкам вне себя Мусрепян.

И тут дверь распахнулась: на пороге стояла она, директриса. У Медузы никогда не было таких глаз, как у овода. У совы никогда не было таких глаз, как у Евы.

Той же ночью ребята сняли в совхозе баллоны с новенького “Москвича” и притащили Еве, броня крепка. А наутро, после такой “конференции”, Ева чуть ли не выгнала Егора в шею из интерната. Увещевала: ты бы хоть советовался, когда что-либо затеваешь, а то мы, по твоей милости, из детей уркаганов сделаем. Высокие задачи надо ставить перед коллективом, а не такие, как ты, низкопробные. Егор хотел было посоветоваться с Кларой Зарецкой, какие же они у него низкопробные, но произошло непредвиденное. В такое не поверишь не только в жизни, но даже когда прочитаешь в книжке. Не бывать такому совпадению, а бывает. Бывает! И ведь только что судили-рядили на “конференции”, где главным героем был Бронька, как, нате, вам, вот он — собственной персоной, предстал пред ясны очи Егора, прохиндей этот, паразит такой, Бронька-Бронюшка.

— А это я, Трофимыч, не ожидал?

— Ожидал, — обхватил Егор Броньку крест-накрест и шепнул мелькнувшему мимо Вадиму: — Это же Бронька, видал? Тот самый, броня крепка.

— Узурпатор приехал! Приехал узурпатор! — полетело по интернату, и все, даже воспитатели, высыпали смотреть на Броньку — друга Егора, ярищенского прохиндея.

— Чего это они? — вертел головой Бронька в разные стороны.

— Популярен, — отвечал Егор скромно, а у самого из глаз чертики прыгали. — В телевизоре, наверное, видели.

— Да ну? — удивился Бронька.

— Ну да! — ответил Егор.

* * *

Бронька Летягин заехал сюда просто так, ни за чем, в магазин за голубой масляной краской. Тут, в Подшибякино, ее, говорят, навалом.

— Скучаешь там без меня? — радостно было Егору видеть здесь Броньку.

— Скучаю, Трофимыч, — сказал откровенно Бронька, Бронька умел быть человеком.

Он оглядел Егорову комнату, поспрашивал кое о чем, смотрел на Егора долго, проникновенно. Неожиданно рассмеялся, — и артист этот Бронька!

— Ты, Трофимыч, — говорит, — живешь тут, как в раю. Как буржуй какой недорезанный, на козе не подъедешь... А у меня, понимаешь, идея. — У Броньки всегда была куча идей. — Я тебе, Трофимыч, вот хочу что сказать... А давай-ка мы лучше чайку сначала попьем.

И Бронька замстался по комнате, сбегал в сарай за дровиш-

ками, разжег мигом плитку, поставил чайник. У него это лучше получалось, чем у Егора, — это же Бронька, в руках все горит.

И, когда в плитке запылало и стало постреливать, по комнате распространилось жилое тепло. А когда чайник заклохотал, заговорил на столе, Егор положил руку на локоть Броньке:

— Ну так что ты хотел сказать?

— Сейчас, — полез тот в сумарь и давай оттуда таскать, что привез: колбасу алатырскую, хлеб ярищенский, яблоки моченные, огурцы, помидоры из своего погреба. — А это, — достал он отдельно банку земляничного варенья, — это передала тебе тетка Прасковья, Берегиня. Узнала, что еду к тебе, сама приносила в Ярище.

— Крутишь ты, — вглядывался в Броньку Егор, — что-то не договариваешь. Откуда тетке Прасковье знать, что едешь ко мне в Подшибякино? В Житень теперь и дороги-то нет, перемело.

— Перемело, — согласился Бронька и потянулся за чайником. — Я вот что, Трофимыч, хотел тебе, броня крепка, предложить. Давай-ка мы с тобой свой колхоз в Житене организуем.

— Колхоз-оз? — перестал жевать яблоко Егор, не ожидал от Бронькиных мыслей такого извива. — Мало тебе этого, какой Бодраков сейчас добывает?

— Ну не колхоз — бригаду воссоздадим, — тянуло Броньку на откровенность. — Ты бригадиром, а я опять же по технике, по запчастям. Такое дело закрутим! Из бригады — колхоз идеаем, еще и Ярище к себе подольем. А чего им, миллионерам навыворот, жить в отдельности, будем жить вместе. Возвращаясь, Егор Трофимыч, без тебя мне труба.

— Чего так?

— С Бодраковым стало невозможно работать. Забронзовел, — вздохнул Бронька. — Чуть что — кулаком по столу. Жлоб такой — запчасти давай, а денег не выпросишь.

— Денег тебе не хватает, да? — уколол Броньку Егор.

— Денег хватает, — налил Бронька себе еще стакан чаю. — Но на среднюю жизнь. А я Нинку, стерву эту, деньгами хочу закидать. Бриллианты, как на корову, навешаю — пушай носит. Тратить деньги не жалко, черт с ними, а заколачивать интересно... В Житене-то, как цыгане увели из конюшни коней, так конюшня пустая. Бодраков кричит, развалю ее, как и дом бригады, чтобы сепаратистские настроения не развивались!.. А я ему говорю: Финаген Ксаныч, да зачем же разваливать? Мы из этой фермы конфетку идеаем. Овец, скажем, или гусей завведем — лето, и готова продукция, “ходячие консервы”. Старух подымам, Берегиня поможет — мясо в план хозяйству. В общем, уговорил, Трофимыч, не возражает. Может, вернешься домой обратно, Трофимыч, а?

И Бронька бросил щепотку чаю себе прямо в стакан, в кипяток. Чайники сначала висели сверху, потом отяжелели, стали разделяться, оседать. И жидкость в стакане зажелтела, на глазах густела, делалась коричневой, набиралась сил — заваривалась. “Чай не пил — какая сила, чай попил — совсем ослаб”, — отер пот со лба Бронька и пошел ставить на плитку второй чайник, одним не обойдемся. Егор смотрел на Броньку, слушал Броньку, но никак не решался спросить о главном, а Бронька молчал. Хоть убей — об этом ни слова. Об Оболешево-то.

— Ну и как там... в Тигановке? — спросил Егор, наконец. — Нашел отец дедовы письма?

— Стешка-то? — спокойненько накладывал Бронька варенье себе прямо в чай, наложил половину стакана. Бронька был человеком с размахом, любил все или крупными дозами, или ничего. — Обрела местушко. Расписались с Петром, живут теперь официально, яти их мать.

Тут и понял Егор, отчего у людей глаза, как у совы, вспыхивают иногда фосфорическим светом, а то и вовсе звенят, как стекло, разлетаются вдребезги.

XIII

После “читательской конференции” Ева взяла его под контроль. Все нацеливала, по ее словам, на задачи высокие. Это как в отстающем хозяйстве: собирали-собирали хлеба центнерочков по семь на круг и вдруг замахнулись на тридцать. И опять припомнились Егору письма деда своего Решетовского. Решетовский от природы, безусловно, был педагогом. И Егор не хотел сдаваться: подчитывал Макаренко, вознамерился съездить в школу Сухомлинского. Где-то в журнале он вычитал, что освоение новых сред, прорыв в новые миры отличают человека неуспокоенного, прогрессивного. А кто же в наши дни считает себя регрессивным?

Конечно, с “читательской конференцией” получилось, возможно, не то, но делалось ведь от души. А Ева налетела на него чуть ли не с монтировкой. Отсюда и стресс у Капы, ребята стали волчатами, заводятся с полуоборота. Непредсказуемые последствия: затеяв “конференцию”, он рассчитывал на Добро, а вышло Зло.

Высокие цели Егор ставил теперь аккуратно.

— Давайте создадим клуб интернациональной дружбы, — предложил он ребятам. — Будем переписываться с детским домом какой-нибудь отдельно взятой страны, например...

— Чили, там стонут от ига, — сказали одни.

— С Берегом Слоновой Кости, — сказали другие. — Там водятся слоны.

Остановились на стране, какая поближе, — на Чехословакии, где живет родная тетя одной девочки из младшей группы и девочка собирается туда к ней, в Чехословакию.

Сошлись вечером всем коллективом. В той же красной комнате, под телевизором. В этот раз девочки надели белые кофточки, а ребята нагладили брюки. “Ну, — думает Егор, — больше не промахнусь”. Сидели так, что в библиотеке книжка упала — слышно. Ева на “Москвиче” с фарами мимо проехала — видно. Ужин в столовой готовить начали, что-то вкусненькое — слюнки потекли. А мыслей, хоть пропади, никаких. Как же письма-то пишутся детям другим из-за границы?

Для начала решили рассказать, как они тут живут в интернате одни, без родителей. Егор предложил посадить Капу за стол, чтобы записывала, что ребята скажут, — она быстро пишет.

— Без родителей хорошо, — стал диктовать Давид. — По шее некому дать.

Все засмеялись: по шее! Разве об этом пишут детям из-за границы?

— У нас есть отличный бассейн, — встала и бойко заговорила Вера Коржавых и закончила тихо: — А воды нет.

— “Отличный бассейн” — я записала, — сказала Лобова Капа. — “А воды в нем нет” — не буду записывать.

И забил фонтан, из земли ударила жила. Все наперебой стали предлагать только хорошее. Так, оказалось, тут все хорошо, ну невозможно! И взрослые заботятся о них, государство взяло на полное обеспечение, и директор у них замечательный, и в интернате есть знаменитая “стенка чудес”. Предложили даже внести кота Распутника как старейшего жителя. А когда собрали все в кучку и прочитали, Егор за голову схватился. стыдно, до того расхвалились.

— Самая настоящая брехня получилась, — подытожил Карцев Вадим. — За границу брехню посылать нельзя.

— Подумайте, и соберемся снова, — завершил заседание клуба Егор.

И разошлись, презирая себя за “брехню”, которая так и готова у нас слететь с языка, да не только, когда мы пишем сверстникам своим куда-нибудь за границу.

Собрались опять через день. Опять Капа Лобова была за столом, чтобы записывать. Опять Егор Трофимыч был перед столом, чтобы вести заседание, пока они засесть не научатся сами.

Предложения теперь посыпались сходу.

— Бассейн отличный, а воды в нем нет, стенки даже пооб-

колупались, — выступил первым Давид Мусрепян, он помнил, с чего начинал в прошлый раз.

Капа сидела, только смотрела на всех, но Давидовы слова в общую тетрадь не заносила.

— Пиши-пиши! — закричали ребята. — Раз правду, так правду!

И Капа задвигала ручкой.

— Асфальт вокруг интерната есть, а весь выщерблен, — предложила Вера Коржавых и села, довольная, оглядываясь вокруг.

И посыпалось со всех сторон. Капа строчила, едва успевала.

— А в комнатах мерзнем, аж уши примерзают к подушке.

— Врешь! Не ври. Не пиши это, врет.

— А в котельной ругаются матом.

— А это к чему?

— А Капа с Веркой Коржавых подрались. Капа, говорит, я все равно тебя, подружка, угроблю.

— Я это, Егор Трофимыч, писать не буду!

Тиганов Егор только вертел головой: туда-сюда, что писать — что не писать. Главное — не потерять управление, дело довести до конца, не срезать в их порыве — вот что главное.

Прочитали записи: все плохо, одни жалобы, чернота. Все на Капу набросились: ты записывала.

— Дураки! — чуть ли не плакала Капа. — Я же секретарь. Писала, что вы говорили, еще многое не записала.

И опять разошлись, недовольные. Вот, оказывается, какое это нелегкое дело — сочинительство. Да если еще писать за границу. Когда и сказать правду надо, и приукрасить хочется. Но ведь человек настоящий, например Овод, тем и отличается, что говорит правду, только правду и ничего, кроме правды. Вот какую задачку задал им Егор Трофимыч со своим клубом, с этим письмом в Чехословакию.

Так и слонялись они по этажам спального корпуса — думали, сидели на занятиях в классных комнатах — думали, не слышали на уроках, о чем это там говорят.

— Чего это вы мух ловите! — ругались учителя. — Выйдете из стен интерната — куда пойдете без знаний, олухи?

Такую смуту, семена такие посеял в душах питомцев агроном этот, больно прыткий коллега, чего хорошего может взойти?

* * *

Узнав про КИД — клуб интернациональной дружбы, Ева его запретила. Она просто ужаснулась, прочитав Капину писанину. Не хватало еще заграницы, чтобы и там узнали и про су-

хой бассейн, и про то, как ругаются тут у нас в кочегарке. Егор попытался отстаивать саму идею КИДа, против идеи Ева ничего не имела, но против клуба в специнтернате — категорично и бесповоротно.

— Это же не обычная, не нормальная школа, — пыталась она воздействовать на сознание Егора. — Это же специнтернат, детям нужен щадящий режим.

“А возлагать венки водила, — смотрел на нее Егор молча. — По долинам и по взгорьям, три-четыре... это тебе нормальная?”

— Щадящий режим? — буркнул Егор, и как-то сами собой вылетели из него слова, сказанные Зарецкой: — А сама по урокам таскаешься.

— Ну знаешь ли! — вспыхнула Ева. — Много на себя берешь, земляк, называется. Запрещаю, и весь разговор, точка! Идите, Егор Трофимыч, работайте.

Егор вышел, а Ева подумала: “Этот черт мне всю школу взорвет. Мужиков мало, и этого лучше бы не было. Агроном, тянет его на эксперименты. А тут дети, да какие, их надо вести ровно, без отклонений”. Правда, сама она была не согласна с этой своей неожиданной мыслью, возникшей от соприкосновения с КИДом. Ева была глубоко убеждена, что детей, впечатлительных до болезненности, болезненных до впечатлительности, следует готовить к жизни особо. Пока есть возможность, трясти, подавлять в них естественность, возводить в них баррикады против лжи, лицемерия, насилия, которые они ощутят, конечно, как только выйдут из этих стен. Каждый уже здесь должен выработать свою маску, чтобы носить ее там. А то с этим методом доктора Спока у нас пропадешь, в тупик детей заведешь. Если откровенно... Или плавать в реке надо учить котенком. Или топить котят, пока они слепые, если сказать откровенно.

— Этот агроном всех нас за пояс заткнет, — сказала Клара Зарецкая своей подруге Тонечке Фирсовой. — То какую-то померещительную “читательскую конференцию” выдумал, а то теперь КИД. Он, агроном, что-то пытается, а мы, педагоги, стоим на месте.

— Пытается! — фыркнула Тонечка. — Лучше бы уж сидел, не рыпался, агроном этот.

— В том-то и дело, что у него как у агронома шире обзор, — возразила Клара. — А мы как уперлись в одно, так и долбим, долбим... У отца моего брат — рационализатор и изобретатель, вдвоем с другом они что-то там рационализировали, деталь к текстильной машине. Ночь сидят, две сидят, три сидят — гора

сигарет, мозги, как на санках, едут в одном направлении. А жена дядина смотрела-смотрела на них и говорит: вы бы в театр, что ли, сходили или прошлогоднюю работу подняли. Подняли, глянули — эврика... Этот, Трофимыч, станет еще теоретиком, за диссертацию возьмется.

— Кишка тонка, — упорствовала Тонечка.

— Между прочим, самый сильный протест, Тонечка, раздастся из груди слабых, — сказала назидательно Клара и заняла, протянула просительным голосом: — Ну, То-о-онечка, ну сходи сегодня еще разочек в кино. Он придет, мы уже договорились.

Вдвоем они называли его просто “Он”. Он в обиходе был для них человеком без имени; женат, из совхоза — вот и достаточно. Клара делала так больше даже не из конспирации, это скорее интриговало ее, создавало ощущение тайны, протест против Евы — лицемерки подлой, “бывшей распутницы (такой видела ее Клара), а ныне монахини, требующей от других воздержания”. Мужчины хоть не скрывают, что им нужно, а женщины, подобных Еве, сразу не раскусить. Змея подколотная: гладит взглядом, а проходить близь опасайся — укус смертелен. Теперь змея завивала кольца вокруг Тиганова...

Молодое, здоровое тело Клары, неистраченная энергия требовали своего. “Он” появлялся нечасто, но как только темнело, и иногда задерживался. А бедная Тонечка, даже после киносеанса, ходила вокруг дома или, спасаясь от холода, торчала в неопленном коридорчике. Вздрагивая каждый раз, как только там в комнате, что-то грохало или приоткрывалась форточка, под ветром начинала мерно поскрипывать. И, замирая от присутствия в груди собственной слабости, от сладких ощущений, исходящих от глупости, Тонечка тихо плакала, размазывая кулачком близкие слезы. Ну почему, почему для Клары всего так много, а на нее, Тонечку, ни разу не глянул даже Егор?

После КИДа — “клуба интернациональной дружбы”, запряженного директрисой, “стражи” опять стали с Евой на одну платформу, а то этот агроном такого нам тут наворочает, что убирать урожай будет некому.

Хотя вообще-то Егор был им симпатичен. Неплохой парень, но без тормозов. Порой они жалели его, угощали домашними огурчиками, капустой собственного квашения, намекали сочувственно насчет его разбросанных по белому свету детей.

Что же касается дела — Егор нарушал тут привычные правила, заставлял и их братья за газеты, книжки, чтобы быть на уровне, как-то выглядеть, не отстать.

Вчера на производственном совещании этот Тиганов Егор вытащил Сухомлинского, говорил о письмах какого-то Решетовского. Валентина, завуч, не знала, чем ему и ответить.

У тех, у кого еще сохранялись силы, чтобы увидеть себя в нем по молодости, Егор вызывал ностальгию, тоску по порывам, несбывшемуся, он тревожил настолько, что после этого ни на что не хотелось смотреть. Нет, его эксперименты вредны. Как жили, так и будем жить, зачем нам воспоминания? Действительно, он же нам интернат весь развалит своими, извините, КИДами и “закидонами”.

* * *

Капу Лобову поразило не столько запрещение КИДа, сколько эти самые письма, сама возможность писать за границу и особенно то, что и за границей могут знать, что она есть, существует. Это сразило Капину душу. Она стала плохо спать, крутилась ночами, иногда ее подбрасывало на кровати. “О, господи”, — вздыхал кто-нибудь из девочек, прислушиваясь и снова впадая в сонное забытие.

Как-то Капа не выдержала и окликнула Веру Коржавых. Вера пришла к ней, присела на край кровати.

— Вера, Верочка, — сказала ей шепотом Капа. — Мне страшно, я боюсь.

Вера молчала. Капе страшно? При Капе всегда было страшно другим. Тихо, так тихо на всех этажах. Спит весь интернат. Лишь где-то по коридору шаркают тапочки — это ночная няня.

— Я поняла, почему мы не можем писать за границу, — тяжело задышала Капа, и на кровати в углу заворочались, пробормотали: “О, господи!”

— Тише ты, — положила Вера руку на плечо Капе. — Разбудишь девочек. — И наклонилась к Капе.

— Мы не можем писать за границу... потому... потому... — Капа не могла говорить, плечи ее задержались, поползло одеяло. — Потому что мы — больные, мы — ненормальные. — И уткнулась лицом в подушку и зарыдала. — Вот почему... запретила Ева... почему мы... не можем...

Они лежали вдвоем на одной подушке, обнявшись, и плакали. И обильные, горькие слезы текли на подушку, на волосы. И смешивались, перепутывались — чьи слезы, чьи волосы, чьи руки, чьи слова — Капины или Веры?

— Ты можешь, Верочка. Ты такая красивая, это я не могу. Что я им напишу, когда спросят?

— Зато смотри, какие у меня ноги, — горячо дышала подруге на ухо Вера. — Ты только посмотри, посмотри...

Шаркают тапочки ночной няни. Из питьевого бачка вода капает в тазик по капле.

— А ты, Капа, умная, — уже крепче обнимает подружку Вера. — Ты, Капочка, такая умненькая, что я просто завидую тебе, все завидуют.

— Вот она у меня и такая... большая, — все еще дергается Капа и затихает. — А у Евы маленькая головка-то, с кулачок. Зато Ева может писать за границу, а мы с тобой нет.

— Мы тоже будем писать, когда вырастем.

— А мы с тобой никогда не вырастем, Верочка, — опять задержались плечи у Капы. — Мы же больные с тобой, ненормальные.

— Вырастем! Есть такие лекарства. И надо иметь силу воли. Это сказала Вера и опять зашмыгала носом. — У тебя, Капа, есть сила воли, а у меня ее нет. Не могу не плакать сейчас, не могу.

“О, господи! — простонали в углу. — Да когда же вы угомонитесь, несчастные, никакого спасения”.

И опять тишина. Спят по всем этажам. Только слышно, как где-то далеко-далеко перебрехиваются собаки по Подшибякино да, туда-сюда, туда-сюда, ветер шумуряет распахнутой форточкой.

— Хорошо, небось, там у них за границей, в Чехословакии, — сказала мечтательно Вера. — Нет таких детдомов, нет больных, как мы с тобой, Евы нет — этой Медузы Горгоны. Одни только церкви — костелами называются, да высокие горы — я по телику видела.

— И люди ходят красивые, и красиво одеты, — поддержала подружку Капа. — И на каждом углу продают мороженое, как у нас в Орле, когда привезут из Москвы.

— Только нас туда никогда не пустят, — сказала Вера.

— Нас не пустят, — вздохнула Капа. — А Еву пустят.

— Мы — ненормальные, Верочка.

— А нам туда и не надо.

— Не надо, Верочка. У нас есть горы повыше. И церкви. И люди красивые, как Клара Зарецкая.

Вера вскочила и зашлепала к своей кровати. Хлопнула дверцей тумбочки. Принесла пряников целый кулек. Стали есть пряники — такие вкусные, такие душистые пряники. Съешь один — за другим рука тянется.

— Ешь-ешь, не стесняйся, — подставляет кулек Капе Вера. — Мама мне еще передаст, она их сама печет, на пищекомбинате работает.

— А у меня... а у меня, — задохнулась Капа и перестала жевать. — А у меня мамы нет, я приемная. А у меня тетя на обувной фабрике, вот такие шьет сапоги. И тебе сошьет, хочешь?

— Хочу! — вскочила Вера. — Хочу красивые сапоги, хочу красивое платье!

— Дурочка, ты же всех разбудишь, — успокаивала ее Капа.

— И пусть.

“Не отправляйте меня, не отправляйте!” — забормотали возле окна, девочку давили кошмары.

— О, господи! С ума сойти можно, — в какой раз слышалось из того же угла.

Капа с Верой угомонились, сидели, как мышки. И мир вокруг с его воспитанниками, другими интернатами, куда за проступки Ева отправляла их время от времени, отделяя от привычной им пуповины, этот мир был такой огромный, тревожный. И Земля, как и всегда, вертелась вокруг Солнца, как Капа Лобова вчера возле Вериных пряников. И на Земле этой где-то Чехословакия, такая маленькая, если взять всю нашу страну, и такая большая, если взять их интернат.

— И еще я Карела Готта люблю, — вздохнула Вера. — Как поет! И вообще симпатичный.

Капа молча начала стряхивать крошки с постели. Вера стала ей помогать. “Что же мы на пол-то”, — захихикали обе и побежали искать совок и веник.

Впотьмах кое-как подмели. Опять прилегли на постель. А крошки остались на простыне, как ни вертись — все впивались в бока. И подушка сырая.

— Пойдем-ка лучше ко мне, — сказала Вера. — А крошки утром получше стряхнем.

На Вериной постели улеглись опять, засмеялись.

— Я, Верочка, тебя очень-очень люблю, — стиснула Капа подружку в своих железных объятьях. — Ты не смотри, что я на тебя злюсь иной раз, с меня сходит.

— А ты меня, как ужака, — вздохнула Верочка, — втягиваешь глазами. И не хочу, а иду.

— Ну давай спать?

— Давай.

— А как же с письмами?

— А письма мы после напишем. Егор Трофимыч поможет.

И тут же примолкли: кто-то подошел к их двери, стоит и прислушивается. “Ева?” — “Ева на каблучках”. — “Няня ночная?” — “Шаркали бы тапочки”. — “А кто же тогда? Неужто кот Распутник или газету проволокло сквозняком по коридору и за дверь зацепило?” И девочки встали: так и есть, зацепило газету. Обе пошли к бачку умываться, как не умыться, когда такие зареванные? А умылись — так легко стало, так светло, как будто и не ревели вовсе на постели у Капы, и слез по щекам только что не размазывали.

Егор проснулся: солнце било в глаза. Наконец-то после этой хмари. Он зажмурился, а когда приоткрыл одно веко, солнце уже спряталось, в окно падал чистый, рассеянный свет. И небо было высокое, синее, кое-где белой ватой проброшены налитые солнечной энергией облачка. Егор вскочил и побежал умываться. Воскресенье сегодня — значит, лыжи, значит, можно взять с собой Кузьку, пробежимся в лесок на часок. Но Кузька, как всегда, ушмыгнул куда-то, наверно, к тем из своей компании, из кочегарки. Зато, как всегда, подвернулся Вадим.

Лыжи в интернате нашлись, и Егор с Вадимом двинулись к лесу. У Егора была мыслишка: сгонять на кордон к Мишке Нехаеву, взглянуть на речку Чаруссу, на лесное Черное озеро, каковы сейчас они, те места, когда ровно и плотно, пожалуй, уже на всю зиму, лег первый же, основательный снег.

Капина конфетка делала свое дело. На лыжне Егор вновь представил себя мальчишкой. Тем самым, который вот так же бросался по первопутку к Байдину лесу, на горки, где, очертя голову, мчался среди стремительных стволов вниз куда-то, рискуя сломать себе шею. Или с куском хлеба в кармане собирался на лыжах в Ярищенскую школу под бабкину воркотню.

Егор был сейчас вроде Вадимом, а Вадим, которому давно, еще с детства, хотелось скорее стать взрослым, — вроде им, Егором. Вот так и шли они по лыжне, меняясь, — то один впереди, то другой.

Лыжня за подшибьякинскими огородами кончилась, и Егор, идя первым, ринулся по целику, Вадим потянулся следом.

— Вон до того лесочка, — махнул вперед Егор лыжной палкой. — И назад.

Егору возжаждалось, чтобы в том, чернеющем на горизонте лесочке, как и в Байдином лесу, оказались горки. Тогда можно будет лететь вниз между стволов, не зная, что ждет тебя через секунду, и замирать перед неизвестностью. Егор прибавлял ходу, чтобы спина у него задымилась поскорее, заюлило между лопаток; так же, наверно, чувствовал себя позади и Вадим, если хотел, конечно, поскорее стать взрослым.

По голым, открытым взлобкам лыжи сами неслись и несли Егорово тело. Однако на гречишном поле снег оказался глубоким, рыхлым — цеплялся, словно когтями.

— Скосили как высоко! Стерня, говорю, какая, похватали верхушки, — обернулся Егор назад. — Держись, Вадим, проявляй характер. Вот пройдем с тобой, пробьем дорогу, а за нами идти будет легче. Так лыжню и наладим, понял?

— Понял, — никак не мог раздышаться Егор. — Понял, дядь Жор.

— Не дядя Жора, а Егор, просто Егор, — засмеялся Тиганов.

— Это у нас сосед был дядя Жора, — попытался улыбнуться Вадим. — Сосед был бедовый, ужас. Всех кур у бабки моей потаскал, пожрал с алкоголиками под забором.

— Нашел, с кем сравнивать, забалдуй, — швырнул в Вадима обломок снега Егор. — Я кур в сыром виде не потребляю-ю-у-у...

И сорвался с места, и с лысого, леденистого бугра ухнул вниз куда-то в полыновую балку. Остановился внизу, поджидая Вадима: “Да, слабовато, хило их поколение. А все эхо войны. Отцы-деды-прадеды надоедали, холодали, гробили нервы, а вон до кого докатилось...”

Кордон был, где и был. Дом Нехаева Миши оказался на замке. К крыльцу и от крыльца вел след крупной собаки.

— Это Рекс, — сказал Егор. — Это он, собачий король.

Озеро было не черным, даже не золотым, как бывает один раз в десять лет, — оно было белым. И белыми были березы на том берегу, весь тот да и этот берег. Зелеными оставались лишь крупные, обомшелые ели да сосны. Они, единственные, и сохраняли верность тем дням. Ровная, оцепенелая тишь. Сколько может так продолжаться? Тут — вечно, а там, где люди живут, — никогда.

— Эге-ге-э-э-эй! — набрав воздуха в легкие, раскатил эхо по дремучему лесу Егор.

И с сосны просыпался снег.

— Тук-тук, — как бы пристреливаясь, откликнулся дятел с макушки березы и принялся выстукивать, выплясывать этак, садить пулеметной очередью, гордясь своей умелой работой. — Тук-тук, тук-тук-тук, тррру-туту — туту-ту-ту-тук.

Маленький пестрый дятел стучал, как и тогда, в отдалении. Мы возвращаемся в прошлое, чтобы понять, кто же все-таки мы. И прошлое — наше, наших отцов, наших предков дает ощущение полноты, безразмерности, бесконечности жизни. Смешавшись с прошлым, мы живем, мы ценим в себе все живущее, оно и ценно тем, что живет, переходит в будущее — в жизнь наших детей, детей наших детей, наших потомков, которым предстоит оценить, отобрать для себя лучшее, необходимое им из того, чем сейчас мы живем. Неужто что-то можно насильственно потерять? На это же грустно смотреть...

Егор приблизился к березе и поднял голову — гигантская, в черных истресканных пятнах.

— Тук-тук, — коротко выстрелил дятел и, как поперхнувшись, шелестя о ветки, упал почти к его ногам, рядом.

Сердце Егорово кратенько сжалось, дернулось и зачатило.

Они с Вадимом подняли маленький пестрый комок, выпавший как бы из его, Егоровой, груди, — Серый Дятел, он еще дергал шейей, продолжая долбить свое дерево.

— Смотри, — сказал Егор, сдерживая дыхание. — Пленка застилает ему глаза.

С сосны рядом сыпалась хвоя, береза как бы замерла.

— Я знаю, — голос Вадимов дрогнул, — отчего умирают дятлы. Я слышал это, когда был еще маленьким, от одного лесника. Дятлы очищают лес от вредителей. По стволу — по стволу они высоко забираются. И долбят трухлявое дерево, слишком сильно стучат головой — и умирают от инсульта, кровоизлияния в мозг. Как люди.

— Ты уже взрослый, — смотрел Егор Вадиму прямо в глаза, потому что надо всегда смотреть в глаза тому, кого глубоко понимаешь. — Ты даже слишком взрослый, Вадим, и это опасно.

Они возвращались. Завтрак был съеден еще на кордоне. И теперь они молили небо о том, чтобы оно послало им хотя бы кусочек хлеба. Хотя бы кусочек упал с ковра-самолета, из космического аппарата где-то над головой.

На пятом километре Вадим стал сдавать. Егор без конца оглядывался, потом пошел позади Вадима, насадея ему на пятки.

— Но ты же мужчина, ты — взрослый, — подбадривал Вадима Егор.

Ноги переставали слушаться Вадима, дальше идти он не мог. И тогда Егор подсел под него и, поднатужась, положил на плечи себе, как это делают пастухи с барашком или теленочком, и, покачиваясь из стороны в сторону, двинулся по глубокому, рыхлому снегу по направлению к Подшибякино.

Не помнил Егор, сколько шел. Красные, синие, зеленые кольца вились, перекручивались перед ним в наседающих сумерках. Мороз стал хватать за голые руки. “Бросьте меня, — умолял Вадим. — Бросьте, оба замерзнем”. — “Молчи, — хрипел Егор. — Силы береги, не расходуи”. Как только Вадим пытался стать на ноги, острая боль валила его на снег. И тогда Егор снова поднимал Вадима со снега и шел.

В дубняке со ржавыми, зимними листьями они присели. Егор похлопал себя по карманам, к неопишуемой радости, нащупал спички — вчера дома растапливал плитку. Живой огонек очертил дубки вокруг них, согрело ладони.

Вадим снял ботинки, Егор отвернулся: ниже щиколотки было сплошное кровавое месиво.

— Видите? — дернулся всем телом Вадим. — Видите? Они сбиты до основания.

И вдруг он упал лицом вниз, застучал оземь головой, стал загребать снег руками.

— Уходите отсюда, Егор Трофимыч! — рыдал Вадим. — Уходите, оставьте меня!

— Прекрати истерику! — подкладывал Егор свой пиджак под Вадима.

— Я никому не нужен, — судороги сотрясали тело Вадима. — Ни отцу, ни вам, никому... Я ничего не могу, я подвел вас... Кому нужны, мы — больные, мы все тут ненормальные...

— Кто тебе это сказал? — тряс Егор Вадима за плечи. — Капа, да? Капа твоя дура, я ее ремнем выпорю... я ей... я ей двойку поставлю... Я тебя в костер брошу, Вадим! — оторвал парня Егор от земли.

И Вадим неожиданно смолк. Истерика прекращалась, звери покидали Вадима. Он сидел рядом с Егором, сокрушенный и какой-то весь вытряхнутый, подставляя костерку жадно то ладони, то один, то другой бок. И не смотрел на Егора: ему было стыдно. Потому что он, хоть и в интернате, но тоже уже ведь взрослый, тоже мужчина.

Лыжные палки остались где-то в лесу. Взамен Егор выломал палку, какую покрепче, и Вадим шел, наваливаясь на эту ольховую, гладкостволую, а она, палка все ошмыгалась, когда он слишком на нее опирался, и тогда он переносил центр тяжести на себя, свою спину. Так и двигался. От балки к балке. От дерева к дереву.

А лес обжимал своей глуховатостью, давил с непривычки, необжитой. “Волки — это легенда, — утешал Егор себя и Вадима. — Трезвый волк ни за что не бросится на трезвого человека”. Они это знали, они это поняли, они это оба прочувствовали по себе.

Когда двигаться вперед стало совсем невозможно, Егор опять затравил костерок. И они отогревались, оттаивали, пока возвращались силы. Что важнее — цель или просто движение?

Впереди засветились огни Подшибякино — яма, село захудалое, а тут оно сделалось таким родным, близким. Быть ли Подшибякино столицей района? Быть, конечно. Все дело в том, что когда кому каким хочется видеть.

* * *

Где-то Вадим назвал Егора на “ты”, что-то кому-то рассказал о кордоне. “Этот агроном мне всех ребят перепортит, — вышла из себя Ева. — С каждым будет запанибрата”. И Ева окончательно убедилась, что Егор с Вадимом ведут себя не так, как должны бы учитель и его подопечный. И Ева стала давать Вадиму невыполнимые поручения, а потом распекать при Егоре. Расчет был прост: Егор вступится за “кровного брата”, и оба раскроют себя. Но Егор и Вадим — оба были мужчинами, а Ева

все-таки женщина. И хоть говорят, что мужчина — голова, а женщина — шея, куда шея повернет, туда голова и смотрит, но только не в этот раз. Женская хитрость спасовала перед дружбой и солидарностью настоящих мужчин. И тогда Еве показалось, что и в ней, директрисе, есть тоже характер.

А случай представился. Трое — Карцев Вадим, Мусрепян Давид и еще один парнишка из Ямало-Ненецкого округа — гуляли по парку. Перед самыми окнами интерната они играли в “футбол”, гоняли мерзлый конский “каштан”. Ева лично видела: Давид ударил носком ботинка, “каштан” щелкнул о камень, взвился и, надо же, попал прямо в окно ее кабинета. Ева едва успела отпрыгнуть, стекло брызнуло мимо лица.

Но на “ковер” к себе Ева вызвала не Мусрепяна, а Карцева. Разговор был короткий.

— Кто разбил окно? — налетела коршуном Ева.

— Не знаю, — ответил Вадим.

— Ты разбил?

— Нет.

— А кто же?

— Не знаю.

И так десять раз. И все одно: “кто?” — “не знаю, не я”.

— Ну постой, подумай тут у меня в кабинете, — перешла Ева на ехидный тон. — Может быть, вспомнишь. Когда вспомнишь — скажешь, и я тебя отпущу.

Вадим был в пальто, пришел в кабинет прямо с улицы, в пальто и встал на “пост”, в указанный угол. Возле грубки, которую Ева приказала топить, так как водяное отопление, по милости анекдотчиков из котельной, как раз хуже стало обогревать именно ее директорский кабинет. Так началось “великое стояние” Вадима Карцева — воспитанника интерната, равное, пожалуй, стоянию в “шкафу” (этой нише в стене) Решетовского-старшего где-то под Каргополом, о чем Егору было известно из дедовых писем, это “великое стояние” Карцева Вадима — воспитанника интерната и не менее великое “противостояние” ему Евы Власовны Кротовой — директрисы.

Как и все, Вадим отправлялся из спального корпуса в учебный корпус — в школу, значит, с утра и в пальто. С утра и в пальто и становился в угол к жарко натопленной печке. А перед тем задавался Вадиму один и тот же вопрос:

— Не вспомнил кто?

— Нет.

— Ну постой.

И так Вадим стоял до обеда. А после занятий вместе со всеми отправлялся обратно к себе в спальный корпус: они — из школы, он — из Евиного кабинета. Иногда Ева ломала перед

Вадимом комедию, она хваталась за сердце — ты меня в могилу сведешь, или смеялась устало — ты просто дикарь в упрямстве своем. Вадим улыбался, молчал.

И так продолжалось неделю. В субботу в кабинете у Евы появилась женщина, сказали — областной представитель.

— Смотрите, какие глаза у него, — сочувствовала Вадиму она, эта женщина. — Умные ведь, даже красивые.

— И молчит! — вспыхивала Ева. — Нет, он меня доконает.

Дело у них перешло в состязание, в дуэль, в противостояние двух систем, культ Евиной личности, культ всего аппарата. Весь интернат разбился на две партии. Одни осуждали Вадима: она все же директор, неужто нельзя пойти на уступку, нельзя ей рассказать? Другие, наоборот, защищали Вадима: какая все же она бессердечная, эта Ева...

— Не вспомнил кто?

— Нет.

— Ну, постой, пока не оформим тебя, не отправим в другой интернат.

Это было самое страшное: отправить в другой интернат! Страшнее наказания не было. При одном только слове “отправить” тех, кому грозила такая участь, начинало колотить, некоторые даже падали, бились в истерике. “Не отправляйте, только не отправляйте! — умолял интернатовец. — Я буду хороший, я все сделаю, что вы скажете, только не отправляйте!” Отправить для него означало целое бедствие: обрубить корни отношений, которые тут у него завязались, снова сделать его отщепенцем, швырнуть, как котенка, куда-то в суровую жизнь, в конце концов оторвать от какой-никакой, но все же семьи...

И, сгорая от страха, от Евиных угроз, Вадим, однако, продолжал молчать. Молчал, вот и все! И еще простоял он у Евиной печки неделю. Ноги отказывали служить, он сгорал у этого “крематория”. Порой Вадим так обессиливал, что хотелось отречься и от себя самого. Как на зло, Ева не выходила никуда, торчала в своем кабинете. Вадим постоянно ощущал на себе ее взгляд. Сидит за столом, пишет и зырь-зырь по нему, усмехнется и снова писать. Пишет, сочиняет, небось, документ для отправки его, Вадима, в другой интернат...

К концу недели Ева стала иногда покидать кабинет. Вадим возненавидел эту свою мучительницу — пышущую жаром печку. Как только Ева выходила из кабинета, Вадим начинал колупать ее, эту печку. Если получше приглядеться, вся она в мелких морщинах-трещинах, как глобус в реках, больших и малых. Вадим просовывал в какую-нибудь “речку” ноготь и, полегоньку шевеля ноготочком, отваливал кусочек какой-нибудь

“долины речной” вместе с побелкой. Вскоре пол вокруг него оказывался белым, в растоптанной штукатурке.

Ева пришла в ужас. И тут же выставила Вадима в учительскую, тоже в угол, но теперь на всеобщее обозрение:

— Вы только посмотрите на него! В кого превратился. Не воспитанник — бандит какой-то с большой дороги.

— Никакой я не бандит, — шептал Вадим, сгибаясь под пристальными взглядами воспитателей и учителей, сочувствующих и осуждающих.

— Прекратите балаган! — затевал скандал Тиганов Егор.

Ева только этого и ожидала.

— Вот полюбуйтесь на своего питомца, — становилась она посреди учительской, расставив ноги пошире. — Посмотрите, Егор Трофимыч, кого вы воспитали. Мы еще спросим с вас и до вас доберемся.

— Вы его тут восемь лет воспитывали, а я каких-нибудь полгода, — только и находил что ответить Еве Егор.

Егор был один, каково одному? Клара Зарецкая занялась личной жизнью, а без Клары “молодежный корпус” перестал функционировать.

И еще две недели простоял Вадим, но теперь уже в учительской. И он привык, и к нему привыкли, он тут стал своим человеком. Стоять в учительской было легче, чем в директорском кабинете, как-то демократичнее. На перемене Вадим, уже на правах старожилы, бросался помогать учителям: выбирал из вороха пособия по биологии, исторические и географические карты. По географии у него были только “пятерки”, и географичка разговаривала с ним, как ни в чем не бывало, а иногда, чтобы никто не видел, совала Вадиму пряник. И Вадим ел этот пряник, стоя тут же у печки, у всех на виду.

Вадим теперь знал все подшибякинские новости, был в курсе всех интернатовских дел. Сочувствовал, у кого из учителей болеет корью ребенок, у кого муж — пьяница, тащит из дому последнее. И из своего угла Вадим давал вместе со всеми полезные советы, как лучше лечить больного ребенка — лекарства давать до принятия пищи или после. “Меня кормили после”, — с готовностью помогал разобраться он в вопросе. “Да, ты у нас грамотей”, — косились на него учителя, но ничего, в свой разговор принимали. И глубоко-глубоко переживал Вадим за математичку, у которой муж пьет, как сапожник, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И тут уж слово его, Вадима, как человека, у которого налицо это самое “последствие”, было в авторитете.

И этот авторитет, завоеванный Вадимом в учительской, сделал свое дело. Все имеет свои границы, дальше которых

нельзя. Даже “стражи порядка” поняли, даже им стало стыдно. Так думал Егор Тиганов, так думал, по крайней мере, и Карцев Вадим.

— Ну вспомнил?

— Нет. Не я. Не знаю.

— Ну, иди! Иди в класс, учишь!! Я тебя не люблю.

XV

“Великое стояние” Вадима Карцева никого в интернате не оставило равнодушным. А что же Давид, что же он? Такой уж у ребят был уговор: никогда и ни в чем Еве не признаваться.

И Егор кинулся к юридической литературе и такого в короткий срок нахватался, что ему не приходилось читать за всю его предыдущую жизнь. Представилось, что в его комнате судят Еву. И судят не современным — самым простым и дешевым способом, когда заседает райнарсуд в составе трех человек, из которых все решает в основном один — судья. Вердикт ей выносит суд присяжных — одно из высших достижений человеческого разума и культуры. Нечто вроде суда божьего и гласа народного слитно: двенадцать присяжных как двенадцать апостолов. Уж на двенадцать куда труднее оказать телефонное воздействие, их не подкупить. Суд присяжных обвинил бы Еву в ущемлении, по крайней мере, трех из четырех естественных прав личности. Главное — право на сопротивление насилию.

Права даны Вадиму от рождения, от его человеческой сути, остальное — установлено обществом. Ева отобрала у Вадима право на такую необходимость, как глоток воздуха или воды, как кусок земли под ногами, на чем же тогда стоять человеку? Без свободы нет безопасности, и именно отсутствие безопасности рождает ощущение страха, а страх парализует волю к сопротивлению, сковывает борьбу против насилия и рабства, а труд рабов никогда не давал результатов — дьявольская цепь из культов и культиков всех времен и народов. “Уж Еве-го суд присяжных вряд ли бы вынес оправдательный приговор”, — вновь и вновь пропускал Егор последние события из жизни своего специнтерната, соединяя их с письмами Решетовского к нам сюда, в наши дни.

“Стояние” Вадима в кабинете директора было переломным и для Евы, венцом ее ставки на силу. Даже “стражи порядка” дали Еве понять, что так дальше нельзя, не те, братцы мои, времена. Это повернуло их к молодежи, многие уже открыто жалели Вадима, а в отношении Клары Зарецкой высказывались так: “Дело молодое, кто по молодости из нас не грешил, переженились — тут и присохли”.

Такие настроения не входили в Евины планы. Чего доброго, объединенные силы обратятся против нее. Это древнеримское “разделяй и властвуй” бессмертно, ничего другого пока не придумано. И Ева стала хитрить. Она обволакивала тех, кого выделила сама себе во враги, то улыбкой, то открытой поддержкой. Втайне она поощряла их противников, возбуждала врагов. Отныне ее больше интересовали отношения между воспитателями и администрацией. Дела же она оставила завучу.

В Евином кабинете появляется Зинаида — воспитательница старшей, Егоровой группы:

— Ева Власовна, с Карцевым надо что-то решать. Нелюдим, от рук отбился, грубит.

Это “да” теперь в смысле “нет”. И не скоро поймут в интересах извив Евиной мысли, изменение хода ее политики. Дети есть дети, цветы нашей жизни. Не скоро поймут в коллективе и особенности Евиной личности. Не только ее собственное вращение как астероида где-то в орбите Марса и Юпитера в пределах всей Солнечной системы, но и осознанная ею необходимость вращения всего сущего вблизи ее как небесного тела. Иными словами, все должно крутиться с ней, только с ней, иначе она отторгнет и выбросит в космос, однако ничто не должно уповать ни на это свое вращение, ни на возможное наказание — вот в чем смысл нового извива прежней Евиной мысли. Редкостно обострен у Евы, оказывается, инстинкт выживаемости — женщина все же, способна на корректировку. Не то, что этот мужлан Бодраков, — так думал обо всем этом Тиганов Егор.

* * *

В дни магнитных бурь — возмущения Солнца Вадим был особенно одинок. Он сам искал одиночества. Забивался в угол, в ту же комнату под лестницей, где технички хранили ведра и половые тряпки, и предавался страданиям. Он доводил себя до отчаяния, его трясло от обид, от собственной ненужности, от того, что он такой ничтожный, маленький, а мир так жуток, велик. И в этом мире есть такие страны, как Чехословакия, Индия — жемчужина в облаке тайн, такие красивые люди, как Карел Готт, а он, Вадим Карцев, болен и безобразен. И потому все это не для него. Для него только парта в классе, вытертая локтями, за которой он учит географию и получает свои “пятерки”. И Евин кабинет. И река Миссисипи на Евиной печке. И ничего больше, а шаг в сторону — выстрел...

Он не разбился, тот Серый Дятел, упав в мягкий снег тогда на кордоне. А умер на вершине, куда подняли его крылья. И вот теперь этот маленький пестрый комок стучит в его, Вадимово

сердце. Дятлы очищают деревья от короеда, они — санитары — долбят кору, просветляют лес, за удары свои получают удар. Они умирают от инсульта на самой вершине. Как писатели — за столом, как артисты — на сцене, как все настоящие люди. И падают наземь... А сердце его все стучит, и в сердце стучит этот маленький Серый Дятел. Он был еще жив, когда Вадим взял его в руки, но смертная пленка уже застилала глаза. Они с Егором положили дятла под деревом, прикопали снежком. И, как только придет весна и дороги наладятся, они возвратятся в свой лес, придут на этот кордон, потому что надо к себе возвращаться. Они возвратятся и тогда похоронят его, как человека, предадут Серого Дятла земле. И на холмик Вадим положит ветку с березы, с которой упала птица тогда. Вадим всегда будет класть зеленую ветку Серому Дятлу. За то, что тот много, слишком много долбил, чтобы лес в округе был чист...

Когда на уроках спрашивали даже о его жемчужине Индии, Вадим отвечал невпопад или просто молчал, весь захваченный внутренним жаром. И весь класс видел, как бежит по щеке у него одиноко слезинка, и все отворачивались: нехорошо замечать, как плачут мужчины, когда у них ломается голос.

Иногда Вадим становился на лыжи и уходил за село. По лыжне, проложенной когда-то ими с Егором, он добирался сначала до сухой балки, потом еще дальше, до самого леса. И каждый раз возвращался, невесел, прихрамывая, и после отбоя долго лежал, не слыша товарищей. И, если кто-нибудь его о чем-нибудь спрашивал, он отвечал или грубостью, или не отвечал вообще.

В воскресенье с утра Вадим был оживлен, напорист. Доктор Макаров, этот “морской волк”, садясь за соседний столик, сказал ему, как бы в шутку:

— Ну как, Карцев, готовишься в мореходку?

— Это еще надо доказать! — стиснул зубы Вадим.

Что надо было доказывать Вадиму, никто, конечно, не понял. Но все облегченно вздохнули, когда Вадим сгреб весь хлеб со стола да еще прихватил и с соседнего, а компот пить не стал. И, закрутив хлеб в газету, вместе со шматом сала, выпрошенным у “кока”, бросился в дверь.

На этот раз Вадим решил добраться-таки до кордона! До места, где присыпанный снегом лежал Серый Дятел. Лыжи Вадиму попались короткие, вроде охотничьих, и Вадим шел, не проваливался, особенно там, где след уже перемело. В балках, в полных зарослях, по ивняку — снегу, только сними лыжи, по самый пояс. На спусках Вадим едва успевал отталкиваться палками и долго катился по солнечному пятну — прошлогоднему гречишному полю, ощущая радость, оттого что шаг так накатиет.

— Эге-гей! — крикнул Вадим во всю глубину своих легких, и тут лыжи внесли его в тeneватую синь суходола.

Уж сегодня он дойдет до Серого Дятла наверняка.

На опушке, где в тот раз они с Егором затравили костерок, со спины у Вадима запарило. Ничего, это так и должно быть. Главное — ноги несут. Недаром он, Вадим, выходит на эту лыжню уже в седьмой раз. Он силен, он уверен, он достигнет цели, он придет к своему Серому Дятлу. И докажет всем, кто заметил, как у него ломается голос, пробиваются усики, что он настоящий мужчина. Что есть у него еще, кроме честного имени?

В лесу, после березняка, он ощутил в себе на лыжне то, что не нравилось ему и нравилось Еве: неуверенность, ослабление сил. Березки — тонкие, изогнуты дугой от дуги, вертикально в небо устремлялись ровные, молодые побеги. “Подшибякинцы озоруют, — догадался Вадим. — Ходят сюда, качаются по-над оврагом...”

Вадим прислонился к прямому стволу. Захотелось, чтобы береза упрямым своим перебила его сомнения. Нет, он все же дойдет до кордона и возвратится обратно. Есть время, день еще впереди.

До кордона оставалось немного. В прогалах уже показалось белое лесное безмолвное озеро. А дальше идти было совсем невозможно, и Вадим присел, снял ботинки. В тех местах, где прошелся когда-то хирургический нож, — стерто, кровь сплошная, кровавое мясо. Если все же решиться дойти, то назад ведь можно и не возвратиться. Там, у Серого Дятла, все будет кончено.

Вадим протер открытые раны снежком, отбросил окровавленный снег. Надел носки, расправил морщинки и взял в руки палки: “Вперед, и мы победим!”

Полукилометром ниже Вадим остановился — все, не может больше и полушага. Он уперся лбом в ствол сосны, так и стоял. А хвоя падала, падала, падала. На шею, за шею, за воротник. Вадим зарычал, как какой-нибудь зверь, и вцепился зубами в ствол. Он грыз его, ствол могучий, чтобы проявить усилие, заставить себя идти. Но ноги — предатели сами повернули назад!..

Обратно Вадим брел, как в тумане. Он себя не уважал, он себя ненавидел. “Опять не дошел до кордона!.. Ничего, еще одна тренировка, еще генеральная репетиция,” — утешал Вадим сам себя. Но сам уже не верил себе, он знал, что генеральная может стать и последней. И он, Вадим, навсегда останется в тех пределах, где был. Он должен знать свое место; такого захотел — переступить отвесную грань, уйти от своих, таких же, как он, чтобы прийти к чужим, более сильным пределам... “Нет, надо остаться живым, чтобы повторить все сначала, чтобы снова идти и идти туда, к той березе, где лежал сейчас Серый Дятел...”

Так, ненавидя себя, свою слабость, и добрался Вадим обратно до Подшибякино.

* * *

Все заметили, как изменился Вадим. Волосы стали торчком, под глазами как провалилось. Но в глазах негасимо, неиссякаемо тлели угли, в них было страдание. Вадим жил теперь, копя силы, как какая-нибудь плотина, готовая вдруг сорваться в полые, вешние воды.

Если бы Макаров был просто врачом, а не “морским волком” и в свое время имел дело с книгами, медицинской практикой больше, чем с джином, которому всегда хочется одного: вылезти из бутылки, если бы доктор еще, кроме мяса, потреблял из-за фосфора рыбу, он бы, безусловно, отметил истероидность Вадимовой личности. Диагноз — половина лечения. Однако в том-то и дело, что сто рублей у нас в то время давали каждому, а за сто пять на кой черт кому нужно было выходить из себя. И вечерами Вадим хохотал вместе с ребятами над каким-нибудь затасканным анекдотом в пересказе Мусрепяна Давида, а после не мог уснуть до утра и с утра опять же был мрачен, как будто у него вчера разом скончались сорок тысяч братьев и нет такого участка земли, где бы можно было разом их похоронить.

С обеда Вадим опять уходил в комнатушку под лестницей, где уборщицы продолжали хранить свои ведра и тряпки, и, сидя на ведре, плакал. И, если кто-нибудь случайно заглядывал в комнатушку, Вадим отворачивался, упирался лбом в стенку, молчал. А ночью вздыхал, вертелся сбоку набок, почти до рассвета скрипела под Вадимом кровать. “О, господи!” — раздавалось в углу.

— Ты болен? — останавливал его утром Егор.

Вадим молчал.

— Тебе плохо?

Вадим молчал.

— Чего же ты хочешь?

— Я хочу, чтобы приехал мой отец, — голос Вадима срывался, наворачивались слезы, — и забрал меня отсюда домой.

Егор пожимал плечами. Он не подозревал, что в одиночку Вадим ходил на кордон к Серому Дятлу, как не знал он, Егор, и того, что из этого получилось.

После завтрака в ребячью комнату влетела Коржавых Вера:

— Карцев Вадим! К тебе приехал отец!

Вадим сделался блее стенки. Икнув как-то странно, он неловко присел на кровать. Сидел и оглядывался, словно не веря.

Потом сорвался с места и побежал, ковыляя по длинному коридору:

— Ребята, за мной приехал отец! За мной приехал отец!

И все, кто встречался ему, останавливались, все смеялись или что-нибудь говорили, норовили что-то сказать ему или просто стояли, смотрели вслед, откровенно завидуя: сейчас он увидит отца! “Где отец? — мыкался Вадим по коридору, толкаясь руками то об одну, то о другую стену. — Где мой отец?” Встречная техничка только пожала плечами: не знаю. Первоклашка попался: тоже не знаю. Шла навстречу Зинаида Федотовна, воспитательница: то же самое, тоже не знаю. Видела, правда, кто-то пошел на второй этаж, спрашивал директорский кабинет.

Вадим увидел его со спины. В коротком пальто цвета хаки — песочно-зеленого цвета, отец уже подходил к лестнице, ведущей со второго этажа на первый. Вадим налетел на него и, подпрыгнув, обхватил отца сзади, через плечо, за шею, за горло. Отец с трудом поворачивал голову, Вадим стал сползать медленно на пол. Это был отец, но не его отец; это был отец Мусрепяна... К другим отцы приезжают, забирают отсюда, к нему — никто никогда, никогда...

Ночью Егора что-то словно толкнуло. Он лежал, прислушиваясь. Ему показалось, что где-то в саду стучат тихонько по дереву — Серый Дятел стучит в его сердце. И стуки все реже, реже, замерли — не слышать. Егор встал и посмотрел на часы: четыре часа. В четыре утра они пацанами, бывало, выходили из дому в Байдин лес по грибы. В четыре часа — самый сон... Егор походил по комнате, снова лег, но уснуть все равно не мог. Вышел на улицу — походил вокруг дома, вышел в сад — походил по саду.

Подшибякино как провалилось, могильная тишина. Даже собаки не перебрехиваются, даже ветер не мотает калитку где-нибудь на ржавой петле. Егор снова вошел в дом, опять прилег на постель, лежал, таращился в темноту и не знал точно, живой он еще или уже не живой: так, между тем и другим посередке. Встал и включил настольную лампу, начал читать.

И тут в дверь постучали: Ева стояла перед ним в валенках и домашнем халате, готовая броситься ему на грудь.

— Ой! — схватилась она рукой за дверной косяк. — Вадим... Карцев Вадим, — едва выговорила она.

Выбежали из Егоровой комнаты, бросились через сад к специнтернату. В парке деревья высокие, черные, жутко гудели вершинами.

— Вот, — остановилась она.

И прямо перед собой, на снегу под липой, Егор увидел что-то лежащее. Егор наклонился: человек. Егор огляделся — тут

же валяется сук. И Серый Дятел стукнул, сорвался и зачистил, просыпался пулеметной очередью прямо в Егорово сердце... Не будь луны, которая пробилась сквозь тяжелую, мощную крону. Не будь ночной няни, без конца охала и причитала. Не будь земли и самого неба, — Егор бы и без того понял: перед ним Вадим, кажется. Это Вадим Карцев, безусловно, лежит перед ним сейчас, это Карцев Вадим.

Он приподнял голову Вадимову: один глаз уже был затянут пленкой, другой — еще жег угольком, остывал. Серый Дятел под рукой Егора достукивал свою песню, ведь дятлы — они, как все птицы, как люди, умирают где-то ввыси, на самых вершинах, и падают наземь, где все еще вздрагивают, все прощаются с нами, пока стучит в груди сердце.

XVI

Едва начало смеркаться, а даже в центре Подшибякино уже ни единой души. Редкий подшибякинец перебежит дорогу к соседу. И всей-то общественной жизни, что долгими зимними вечерами, от которых одуреть можно, сойдутся две-три семьи у телевизора, коротают времечко за картишками да пересудами, главное — вернут обратно райцентр сюда ай не вернут?

Подшибякинцы давно смирились со своей участью кормить хлебом страну, поить молоком. А науку двигать, книжки писать да печатать, спектакли ставить и прочее — на это есть у нас другие, культурные города и веси. А тут передний край, трудовой фронт, производство. Да ведь и душе что-то надо. И вздрогнет иной подшибякинец, переполнится гордостью, когда вспомнит, что и они ведь не лыком шиты, и у них тут когда-то была конеферма, племенные жеребцы, славились орловские рысаки.

Из равновесия подшибякинца может вышибить разве что только, когда кто-то померет. Тут же весть облетит все дома, по дворам начнут обсуждать событие, переберут родственников умершего до седьмого колена, обсудят, кто чем болел, отчего помер да кто сколько денег оставил. Вот и сейчас только и разговоров по всему Подшибякино, что о смерти паренька из специнтерната, непонятно вот, сам ли на себя наложил руку, как хоть оно получилось?..

А вот этот дом — бывший райнарсуд — бельмом в глазу торчит в Подшибякино. Сюда стягиваются сразу три улицы. И крыльцо сквозистое, на семи ветрах, с крыльца полный обзор.

Егор грохнул о порожек крыльца каблукон, отряхая грязный снег со своих ног. И протопал к себе, в свою комнату — бывший зал заседаний. Кот Распутник валялся на его холостяцкой постели.

— У, разбойник! — согнал Егор Распутника со своей подушки. — Все бы спал, мракобес, когда только выспишься.

Кот Распутник полыхнул на него злыми своими, зелеными сферами и, сделав круг, опять же прилег на подушку. Егор не стал с ним связываться, принялся растапливать печку. Колот на пороге дровишки, подсушенные на плите, — чуть ли не ахнул топором себе по кости, этого еще не хватало. Пальцы дрожали у Егора от внутреннего напряжения...

Карцев Вадим покоился теперь на Подшибякинском кладбище. В углу, под березой с истресканным, в черных пятнах, стволом. Это Егор нашел место, хотя иные из коренных возражали, советовали копать могилку за кладбищенским валом, как испокон копали всем удавленникам и утопленникам, всем погибшим не своей, а насильственной смертью.

Дрова в плите разгорелись, и Егор сыпанул туда кузбассовского угольку, смочив прежде, чтобы лучше горело. И когда уголь затрещал и по комнате распространилась едкая, паровозная вонь, Егор подсел к печной дверце, уткнулся в щель бессмысленным взглядом. Всего каких-то два дня, уже целых два дня, как он увидел Вадима, лежащим под деревом...

Окно распахнуто! Это обнаружила ночная няня. И все эти дни стали для всех в интернате каким-то кошмаром. С утра детей оставляли в спальном корпусе, держали в комнатах, никуда не выпускали. Строем, строго по группам, водили на завтрак в столовую, так же строем, строго по группам, — обратно.

А Вадим лежал под липой, Вадима не трогали — ждали милицию. Даже Макаров, интернатовский врач, констатировав смерть, не прикасался к Карцеву: не положено, факт должны зафиксировать органы. Может, с дерева парнишка упал, а может, из окна вывалился. Может, сам над собой совершил, а может, не сам...

И закутились догадки, домыслы, версии. Что сам — это факт, вместо веревки к шпингалету привязан и перекинут за окно электрический шнур от Вадимовой лампы. А вот отчего, какова причина, что подтолкнуло? Все заметили, с вечера Вадим был подавлен, ни с кем не разговаривал, забился в угол, даже плакал. И смеялся, радовался безумно, когда узнал, что к нему приехал отец. Но, оказалось, отец приезжал к Мусрепяну Давиду. Кинулись искать Давида: узнать, отчего смеялся Вадим и отчего после плакал, — нет Давида, отпустили вчера, уехал с отцом.

— Может, Вадим чем-нибудь заболел? — высказывалась ночная няня, которая первой заметила открытое окно. — А сказать не сказал, а врач осмотреть не догадался.

— Ну уж это извините, — отрезал Макаров всякие наслоения. — Медицина здесь ни при чем.

И пока никто ничего не говорил о главных ответственных — о директрисе и воспитателях.

А Егора прямо-таки с ног сшибало. Чувство вины перед Вадимом, которое возникло в нем ночью, когда Егор впервые увидел его неживым, разрослось до невероятия, разъедало Егора. Говорил Вадиму то же, что и другим, но Вадим-то был с чуткой, хрупкой душой. Обещал ему в воскресенье, в свой выходной, съездить в Алатырь — позвонить из Алатыря Вадимову отцу, опустить в почтовый ящик районного узла связи Вадимово письмо. Вадим писал отцу письма, а Ева не отправляла их, складывала у себя. Вадим написал письмо — крик души, а он, Егор, не ездил в Алатырь, письмо сунул в здешний почтовый ящик...

Вадим лежал под липой, а милиция все не приезжала. Это было ужасно. В интернате уже поговаривали, откровенно начали говорить, что это Ева довела парнишку. Именно она учинила Вадиму “великое стояние” — почти месяц держала на ногах в кабинете, после в учительской. Она и задергала малого по пустякам. Слыша за своей спиной ропот, откровенные голоса, Ева озиралась, вертела головой, как затравленная. За какие-нибудь часы самоуверенность слетела с ее лица, Еву было невозможно узнать, до того она казалась растерянной, старой.

Появился участковый. Затем из Алатыря подскочила машина. Что-то замеряли, кого-то расспрашивали. Наконец, тело Вадима унесли в изолятор. Дошел черед и до Егора. Егор долго и путанно объяснял следователю про письмо, которое он сам лично должен был написать Вадимову отцу, не дожидаясь Вадима, и отправить Вадимову отцу из Алатыря, из районного узла связи, а он не только сам лично не написал, но даже и то, что было написано Вадимом, отправил не из районного, а из местного узла связи, опустил Вадимово письмо в Подшибякинский ящик.

— Мне факты нужны, факты, понимаете? — терпеливо выслушивал его следователь. — Выходной у вас был — это факт, мы проверили. А письмо он мог написать бы и сам, тем более опустить в ящик попросил бы дежурного воспитателя. Не опустил бы — это был бы тоже факт. Понимаете логику? Неумолима логика факта.

— Понимаю, — уходил Егор от следователя в еще больших сомнениях.

Слово “преступление” никем еще не было произнесено, но оно висело в воздухе, в гнетущей интернатовской атмосфере. Факт смерти был зафиксирован, обстоятельства исследованы, показания запротоколированы. Первая версия, первые выводы — самоубийство на почве нервного расстройства. Ведь это же специнтернат, болезнь Дауна, дети с серьезными отклонениями.

Едва милиция отбыла в Алатырь, увозя свою версию, Егор побежал на почту, отбил Вадимову отцу телеграмму.

Еще только копали могилу, а в Еввиной голове родилась своя, новая версия, пусть путаная, не вполне аргументированная, но своя. Виноват во всем, оказывается, Тиганов Егор. Заметили, как он сам признавался следователю, но не сумел признаться? Это его “читательская конференция”, особенно этот его “КИД — клуб интернациональной дружбы”, вот где исток преступления, так сказать, психологический корень. Это пробудило у детей мечту о несбыточном, надорвало душу, надломило здоровье — болезнь Дауна, никуда не денешься. И впечатлительная натура не вынесла перегрузки. “Я же говорила, что этот агроном нам всех детей перепортил, — шепталась Ева с самыми близкими. — И вот результат”. — “Но надо же что-то делать, товарищи, — отвечали они испуганно. — Что-то же делать надо”. — “Надо”, — соглашалась Ева и уже думала о том, как бы это сделать так, чтобы вслух не говорить о виновности Тиганова Егора, но чтобы все об этом сами догадывались.

И Ева отреагировала на события. Она издала приказ “о сосредоточении Тиганова полностью на преподавании биологии в связи с усилением трудового воспитания на приинтернатском земельном участке”. А на его место — воспитателя в старшей группе — перевели преподавателя биологии.

Из-за Вадима Егор не придавал приказу значения. А когда пришел на работу, он, оказывается, уже был не воспитателем, а только преподавателем. И ни в старшей, ни в каких-либо других группах делать ему уже было нечего. Биологию в расписании ему еще не поставили, а в спальном корпусе у старших ребят уже властвовала бывшая биологичка. Вот когда Егору сделалось нехорошо. Произвол, как говорится, среди бела дня.

К вечеру, вроде отбыв свою смену, Егор собирался домой, когда в дверях учительской возник Давид Мусрепян. Поташил Егора к себе в спальню, в свою ребячью комнату. Сюда же пришли и девочки. Сбились в кучу — полный состав — девятиклассники, питомцы Егоровы, его дорогие ребята. Особая какая-то, грустная обстановка. Дух Вадима еще витал в этой комнате. Его постель была застлана особенно тщательно, оттянуты углы в белоснежной подушке. А над подушкой на стенке лист бумаги в клеточку, вырванный из тетрадки, и в центре — фотография Вадима.

Здороваясь, такая серьезная — Капитолина Лобова впервые протянула руку Егору. И вслед за ней каждый стал подходить к Егору и протягивать руку. И Егор пожимал руки с такой же серьезностью, как, скажем, в Грановитой палате, и ребята не отходили от него, стояли, сгрудясь, смотрели ему прямо в

глаза, потому что, если кого-нибудь любишь, особенно, когда трудно, в тяжелую пору, надо смотреть человеку прямо в глаза. А когда все расселись, кто куда, Егор увидел стол, а на столе чайные чашки и блюда. На блюдах — пряники и конфеты в бумажках под названием “Черная смородина”, которые на днях привозили в их магазин “Товары повседневного спроса”. Отдельно на тарелочке — пирожки с повидлом, которые были сегодня у них на завтрак и которые Вадим так любил.

Егор увидел все это, глаза ребячьи, Вадимову фотографию, и ему перехватило горло, с головы через сердце до пяток будто всего прострелило. И так горько стало ему, такое горе всего охватило, — и что нет Вадима теперь и не будет, и что с ними, его ребятами, кто-то другой, и они такие чуткие, близкие, а у него вся жизнь кувырком, все летит к чертовой матери, и сыны его где-то, один даже в Африке, не напишешь ему даже письма, а сам он вот, как кленовый листок, оторвался от дому, от Житеня, от родимой Тигановки, и неизвестно, что там со Стешкой — родным человеком, и так закрутило-замотало ему вокруг горла, что, как тому Серому Дятлу... как Вадиму... как... И, ничего не видя перед собой, один сплошной черный дым, он рухнул лицом вперед на Вадимову постель, в подушку Вадимову и разрыдался.

Ребята стояли, ждали, ребята все понимали. Молча принесли холодной воды, ополоснуть лицо, подали полотенце. Так же молча стояли, дожидались, когда Егор выпьет принесенный Верой стакан холодной воды. Егору было неловко перед ними. Однако они ни о чем не спрашивали, ничего не говорили. Стояли молча, и все. Кто-то предложил написать заявление, чтобы Егора не забирали, оставили у них воспитателем.

— Медуза разве же согласится, — вздохнула Коржавых Вера.

— Надо бороться, — сказала Капа. — Надо писать, куда выше, в Москву.

— В Москву? — удивился Егор. — Зачем же?

Появились перо и бумага. В мгновение ока Капа уселась за стол. Зеленым, фосфорическим блеском сверкнули глаза ее. Голова, как кочан капусты, как нечто отдельное, улеглась на столе. Что-то знакомое, Егор видел такое и прежде, но где?

— Ребята! — осенило его. — Мы с вами так ведь и не написали за границу, сверстникам в Чехословакию.

— Не написали, — вздохнула Вера.

— Ну вот, — Егор был не очень-то весел. — Может быть, так? — И достал замусоленное письмо, которое сам набросал тогда еще, по горячим следам, да забыл им показать.

Егорово письмо понравилось. Правда, озадачило место, где Егор рассказывал легенду о Сером Дятле, который долбит дерева, очищая их от короеда, и умирает прежде времени там,

наверху, как человек, — от инсульта, от разрыва кровеносных сосудов в голове, переполненный мыслями, болью за всех и падает с дерева мертвым, исполнив свое... Егор дочитывал письмо, при этом у него присвистнули легкие, а всем показалось, будто в лесу перекликнулись певчие птицы. И все почему-то подумали о Вадиме...

Егор вошел к себе в комнату. Плита рычала, как паровозная топка. Огонь втягивал в себя не только дрова, но и мысли! Егор дернул носом: что такое? Комната была переполнена белесыми клубами дыма. Так и есть, чадили дрова, оставленные на плите, этак недолго и угореть. Егор распахнул дверь наружу: Серый Дятел был все еще жив, слышно было, как он стучал и стучал за сараями.

* * *

В саду за сараями, на выезде из Подшибякино, залегала Антоновская ложбина. Названа так она была то ли по имени хозяина соседнего сада, то ли оттого, что сад этот славился знаменитой антоновкой. И вся местность летом до того проникалась то запахом этой старинной, невообразимо духовитой антоновки, а то миазмами, исходившими из болота в конце этой ложбины.

Вот эти два фактора: яблоко — мировой закусон, а вонь болотная отгоняет жен и любую общественность, да еще третий фактор: небольшая удаленность от винного магазина, — и дали, очевидно, толчок подшибякинским мужикам собираться именно здесь, в зарослях ивняка.

Иной подшибякинец, сообразив на троих после работы, с неделю потом клялся-божился, что видел в Антоновской ложбине не свечение болотного газа, даже не черта с рогами, а колыхание чьих-то фигур — “тени великих предков”: первого секретаря Черного, застрелившегося в своем кабинете сразу же после войны, и заместителя предрика Чабанова, которого вслед затем бабы зарубили косой. Дом, где некогда жили “великие тени”, глазел тут же окнами. Чуть пониже его и гужевал местный “люмпен”, не имеющий ни орденов, ни медалей, ни каких-либо почетных грамот и иных знаков отличия.

Егор попал сюда из интересу, завербованный подшибякинцем Борей Соколом. Соколом Борю звали за то, что в расцвете сил он был конюхом прокуратуры и его любимым выражением с той поры было: “Сокол, ножку!”

Боря Сокол был “ясновидец”. Что-то от Бориного перепадо, видать, и Егору, если и его в апогее дня потянуло на Антоновское болото, где можно было вынести коллективное умозаключение относительно собственного будущего.

— Я кадровую политику секу, — затевал Боря, — по солнцу! На сретенье, допустим, было тепло, сыро, курица напилась из лужицы — стало быть, лето будет сиротское, слезное. Вишь, дожди да дожди. Вон как поднялось болото.

— Ну и что?

— Сокол, ножку! — взвился Боря и аж ногой притопывал, как племенной жеребец. — Вода из болота куда в такой год устремляется? В поле. И в поле, видите, создается свое болото — “блюдец”. И в “блюдец” озимые что? Вымокают. Недород. И в конце концов, убирают кого? Агронома!

— Ну, а если солнце холодное, Борь, — не успокаивались сателлиты, — если курице нечего выпить, тогда что?

— Тогда? — дыбил голову ясновидяще Боря. — Тогда вот, — поднимался Боря на гребень долины и выводел племя из ивняка. — Вот, глядите. Видите горку Голинку?

— Ну и что?

— А то! — снова взвивался Сокол. — А то, что на высшей, но далеко еще не на последней стадии развития курице стало нечего выпить — вода исчезла, прихватило морозом. Стало быть, лета жди знойного, будет засуха. И горка Голинка что? Выжигается, лысая. Слабо с кормами. И что в конце концов, кого убирают?

— Зоотехника! — хором ответили все.

— Молодцы, — победоносно оглядывал местную флору и фауну Сокол, он же Борис — “яновидец”. — И это кадровая политика, называется. Все течет, все изменяется, а болото стоит.

С утра Егор приглядывался к курам — напьется какая-нибудь из лужицы или нет. Не понял. Пошел к Антоновскому болоту — какой будет уровень, кого будут убирать к концу года — агронома или зоотехника? А в саду за сараями, как ни в чем ни бывало, долбил и долбил свое Серый Дятел. И Вадим лежал под березой на кладбище.

XVII

Ребята составили заявление на имя директора, чтобы не забирали у них Тиганова Егора Трофимовича, и сами отнесли свое заявление Еве. Егор узнал об этом, когда Ева вызвала его к себе в кабинет.

— Чем вы их подкупили? — свела она полумесяцем брови, как у Шехерезады.

— Кого? — удивился Егор.

— Не валяйте дурака. Я все знаю, как вы втягиваете детей... уже письменно.

— Ах, вы про это? — пожал плечами Егор. — Насчет Чехословакии?

— Вот-вот, еще и Чехословакия, — разомкнула брови Шехерезада. — Не хитрите. Заявление не “насчет Чехословакии”, а насчет лично вас. Именно вас просят оставить воспитателем в старшей группе. И после того, что случилось, вы считаете это возможным?

— В каком смысле?

— В смысле трагической гибели Карцева. Вы что же думаете, что вы не виновны?

— А вы...вы, — Егор не находил слов, — вы нарушаете, по крайней мере, два из четырех естественных прав личности, записанных кровью борцов в “Декларации прав человека и гражданина” еще в 1789 году.

— Да ну? — изумилась Ева и искренне расхохоталась. — Вот не знала-то. И какие же?

— Право на безопасность и право на сопротивление насилию!

— Волтерьянец, значит? — быстренько успокоилась Ева. — Вот мы тебе, гуманисту такому, революционеру, бока-то и обломаем... Вы свободны, идите и работайте.

Куда обратиться, к кому прислониться? Явно “шьют дело” и похлеще того, что “пришил” ему Бодраков за картошку. Для “стражей порядка” он — яркий представитель “молодежного корпуса”. А в “молодежном корпусе”, особенно в последнее время, тоже вроде не свой, а Евин человек, ее земляк, оба откуда-то из Ярища. И вот у всех на глазах снежный ком нарастает. Ева и ее приспешники по интернату по всему Подшибякино распустили слухи, что это, дескать, Тиганов Егор виноват в Вадимовой гибели, именно он своими “КИДами” и “читательскими конференциями” оплел и запутал хрупкую, доверчивую, юную душу, толкнул ее к трагической гибели. Все слышат, все видят, все понимают, и хоть бы хны, хоть бы кто слово молвил, одернул бы создающих психоз. И “стражи порядка” прижались — лишь бы не их, лишь бы мимо них пронесло. И молодые затаились...

Егор постучал в знакомую дверь. Тонечка Фирсова была на работе, открыла дверь Зарецкая Клара, ее Егор просто-таки не узнал. Как располнела, обабилась. На дне глаз появилась тревога, а это все от устойчивости в инстинкте самосохранения. “Неужели?” — возникло в Егоре подозрительное сравнение с бывшей женой своей Милей перед вторым ребенком, но тут же исчезло. Клара улыбнулась и, как в лучшие времена, предложила ему чайку — “голового”, не изменяющего цвета лица.

Клара Зарецкая все понимала. Но первое впечатление, возникшее у Егора, оказалось не напрасным: теперь она была куда спокойнее, уравновешеннее. Очертя голову не очень-то куда-

либо бросится. И все же врожденное чувство справедливости, сострадания еще не было убито опытом жизни. Лицо ее пошло пятнами, когда Егор сказал, что, видно, написано ему на роду сушить сухари для срока куда более длительного, чем тот, на который он попадал туда раньше.

— Все мы ходим под луной, — резко сказала Клара. — Не люблю, когда заранее поют панихиду.

И тут появилась Тонечка Фирсова. Влетела в комнату, будто синичка, наполнила ее писком, взмахами рук, ахами, охами. Егор все боялся, как бы птичка не расшибла себя об окно, не избилась сама себя до смерти. Тонечка сокрушалась, как один ее первоклашка вылил нечаянно компот на тетрадь. Ах, как это жутко, бьешься-бьешься за чистоту, страдаешь-страдаешь, чтобы научить их элементарному, а вот такой человечек, из-за стола не видать, вдруг перекинет себе компот на тетрадь, и все насмарку. Это трагедия: сегодня он не уберет тетрадь, завтра изгваздает рубашку, а в пятнадцать лет изорвет книгу, в двадцать — чью-то судьбу... Егор слушал Тонечку, и его трагедия становилась маленькой, ни в какое сравнение с Тонечкиной. Было уже поздно. Он распрощался с девочками, быстренько шагнул из дверей в темноту.

В отсутствие Егора Ева затеяла не педсовет, а непринужденный разговор в учительской, между сменами. Ева была убеждена в абсолютной поддержке масс. Собиралась уложить Егора на обе лопатки, чтобы больше не возникал. В самом деле, кто не знает Тигановские фокусы с “КИДом” и “читательской конференцией”, кому не понятно их тлетворное влияние на детей, кому в Подшибякино не известна вся эта история с Карцевым? Сравнить паренька с каким-то Серым Дятлом — извините. История требует, безусловно, расследования...

— Какого расследования? — энергично вошел Тиганов Егор в учительскую, и все вздрогнули, как с неба свалился.

— Да, расследования, — пролепетала Ева. — Объективного.

— С какой стати вы разносите сплетни, вы — педагог и директор, — расставив ноги, встал Егор посредине учительской.

— Я? Сплетни? — расхохоталась Ева нервическим смехом. — Я — директор!

— Ну вот и ведите себя, как директор, — обрезал ее Егор. — А не как последняя баба.

Ева захлопала глазами и покраснела, ловила пустым ртом окружающий воздух и никак не могла поймать, не та теперь экология. Однако эта победа Егора предрекла и его последующее поражение. Он это понял, как только “старики”, даже кое-кто из молодежи, развернулись против него: директор все же, и директор ему ни по чем, и коллектив, вот какой!

— Да разве вы коллектив? — вспыхнул Егор, но сознание работало четко. — Вы же мафия, собираетесь! Сбились в кучку из-за своих узких практических интересов. Коллектив — для человека, в помощь ему для раскрытия возможностей человека. А вы — против, чтобы ехать на человеке. Диктат толпы над личностью:

— Кого же мы угнетаем-то? — сказал неуверенно кто-то из молодых.

— Слышали, как он меня обозвал? — выдвинулась на передний план директриса. — Это не только не педагог, но просто последний нахал, так говорить о женщине.

— Вы здесь кто — просто женщина или директор? — поставил вопрос Егор.

— Ну директор.

— А директор что, всегда ангел с крылышками? Он что, не может быть нахалом, когда нагнетает обстановку?.. Товарищи, — повел Егор взглядом поверх собравшихся, и его понесло: — Я здесь защищаю даже не себя, а наши общие права, в том числе и ваши права, права человека. Свое естественное право, данное мне от природы, — право на сопротивление насилию. Мы с Евой Власовной здесь не просто мужчина и женщина, мы с ней здесь перед вами — директор и педагог, руководитель и подчиненный. Почему вы привыкли сносить все, терпеть? Почему же она выдвигает против меня обвинение, когда меня даже нет и я не могу защищаться?

— Да защищайся, защищайся, демагог, — оборвала его Зинаида Федотовна, воспитательница. — Тебе только воду мутить, без тебя было тут хорошо.

— Уж кто-кто говорил бы, а ты бы не квакала, — сказала Клара Зарецкая.

Сказала вполголоса, но Зинаида со своими оттопыренными ушами, которыми она чуть ли не влезала в каждую замочную скважину спального корпуса, все же услышала.

— Я — лягушка, да? Я — некрасивая, да? — подлетела Зинаида к Кларе чуть ли не с кулаками. — Зато не стиральная доска, грязное белье о меня не стирают.

— Товарищи, товарищи, — вступилась Ева Власовна.

— Гляньте, пятна пошли по лицу, — не унималась Зинаида. — Беременная, от Ивана Ветрова. К нам сюда в интернат скоро подбросит...

— И злая же вы, Зинаида Федотовна! — сказал Егор с горечью. — Где же вы так себя разбазарили? Ведь лягушка в народных сказках — это царевна, красавица замороженная. Стыдно, ей богу... Поняли, — повернулся Егор к директрисе, — что такое непредсказуемые последствия? Вы, неизвестно зачем,

затеяли о влиянии КИДа, а вот Зинаида Федотовна уже говорит о каком-то подкидыше...

— Да хватит вам, хватит! — поднялась Капитолина Ивановна, завуч. — На урок пора, по классам пора расходиться.

И педагоги загудели, одобряя Капитолинины действия, хотя живая власть народу вроде бы ненавистна.

Через несколько дней Егор получил повестку в прокуратуру. Ему надлежало явиться в определенный день к определенному часу, иначе, как явствовало из текста, его обязаны будут “подвергнуть принудительному приводу”. И Егор потерял покой. Временами ему казалось, что при встрече Ева смотрит на него со злорадством, что за этим таилось, полностью расшифровать он не мог, но все же кое-что себе представлял. Самое страшное в жизни даже не Гитлер, не колючая проволока, не физическая смерть даже, а исток всего этого — отсутствие возможности, желания и умения. Ему казалось, что его гонят, как зайца, и он ничего не может. Чья-то злая, всесильная воля ведет, истощает его, обостряет до невероятной остроты нервы. Мысль его начинала строить пирамиду, одним из углов которой была она, Ева. И все же это были предположения, домыслы, его пирамида не опиралась на факты, и это раздиргивало его, он сам понимал, что становится мнительным, и сдерживал себя. И все же былой опыт в отношениях с прокуратурой, судебными органами подавлял Егора, тревога была небезосновательна.

Потянулись серые зимние дни. У Егора возобновились ночные кошмары. Из ночи в ночь снилось одно и то же: он снова в каменном мешке, где был не так давно. И все кругом в том же смысле, только поменялись ролями начальник колонии и начальник колонны. Главное — по выходным, как бывало, “карьеристы” отправляются в близлежащие поселения за провиантом. И он, Егор, никак не может решить мучительный для себя вопрос: мафия это или коллектив?

Одиночество съедало Егора. На своем ли он месте: агроном в роли педагога, уж не лучше ли было бы оставаться там у себя агрономом? Как сейчас ему не хватает земли, ярищенских полей со всеми их подзолами, “блюдцами”, урожаями и недородами, людей, с которыми он на этих полях работал.

Егор заглядывал в кочегарку к своему брату Кузьке. Пытался объяснить ему положение, возвращался вместе с ним в то недалекое прошлое, когда они с Кузькой жили в Тигановке и

жива была мама, и все казалось гораздо проще, стабильнее, впереди что-то маячило. А сейчас груз прошедшего давил на плечи, закрывал горизонты. Кузька на это лишь улыбался, ткал своим, черным от каменного угля, суковатым пальцем в грудь Егору:

— Ты хо-го-фы-ый...

* * *

Ноги подломились у Евы, когда на дом к ней прибежала ночная няня: под липой лежал Карцев Вадим. В тот момент она была солидарна с Егором, в одной с ним упряжке.

Когда первый припадок чувств схлынул, в Еве возговорило: почему это она должна отвечать вместе с Егором, со всеми вместе? Она — директор, в единственном экземпляре, любого можно заменить, переставить, без директора же все остановится, перестанут крутиться все шестеренки, как это может быть тело без головы?

Получив солидную внутреннюю поддержку, она обрела уверенность. Теперь она следила не только за тем, как разворачивались события, но и стала вмешиваться в них, подталкивать в нужную сторону. А этот ход ей подсказала Зинаида Федотовна. Узнав от Евы о случившемся, Зинаида, конечно, тоже испугалась, она все же воспитатель-наставник, однако тут же взяла себя в руки. Зинаида была из простой, но цепкой, практичной семьи.

— Говорила же, этот зэк всем нам даст прикурить, — сказала она Еве глухим, простуженным голосом.

И сразу определила себя в союзники Евы, а также наметила общность цели, виновного, словом, дала направление Евиной мысли. Ева ей ничего не ответила, но совет оценила.

Когда приехала милиция, у Евы уже было готово мнение. Прежде всего следователь Чинцов должен был выяснить: убийство это или самоубийство. Если факты не лежат на поверхности и трудно сделать какой-либо вывод, каждый здравомыслящий человек, а таковым должен быть руководитель, по логике молит судьбу, чтобы это оказалось немотивированное самоубийство. В таком случае привлекать некого, коллектив не трясет; это рок, судьба, неврастеническая выходка; пожалели человека и похоронили. И Чинцов ожидал от Кротовой как от директора подталкивания именно в этом желательном для нее направлении. Каково же было его удивление, когда Кротова выразила недвусмысленную заинтересованность в том, чтобы это оказалось, ну, если не просто убийством, то хотя бы мотивированным самоубийством. И мотивы

выстраивала в такую логическую цепь, которая указывала в сторону одного, какого ей необходимо, лица.

Чинцов был человек битый, на мякине не поведешь. И хотя желания директора к делу отношения вроде бы не имели, однако из чистого профессионального да и человеческого любопытства, следователь установил, что Кротовой как директору это было нужно, очевидно, для самоутверждения. Истина в общем банальна: в коллективе подрастала дисциплинка, коллективу грозит превратиться в стадо баранов, бредущих неизвестно куда. И тогда руководитель поступает примерно так, как это делают на мясокомбинате. Когда хотят, чтобы овцы смелее ступали на эшафот, им подсовывают в качестве вперёдсмотрящего и вперёдидушего козла — “provokatora”. Козел ведёт за собой паству напрямик по дороге в рай, ибо знает, что ему в конце концов уготована участь ещё помучиться на этом свете. В последний момент пол под ним провалится, и этажом ниже “provokatora” уведут доедать свою кочерыжку. А вот баранам ничего не останется, кроме как отдать богу душу в убойном цехе, но ведь на то они и бараны.

Или другой способ по наведению порядка. Применяется в крайнем случае, ибо этот способ довольно рискован, можно и проиграть. Во всяком порядочном коллективе выделяется самый порядочный — лидер, ходячая добродетель, ящик талантов, — и вот хоп его по башке. Сумели вменить вину — бразды обеспечены. Ведь как рассуждают: уж коли кристалл раскололи, то где же устоять мелкой ссшке...

Все это мгновенно, с математической точностью, провернулось в голове следователя Чинцова. Ему надо было знать мнение Кротовой, чтобы понимать, в каком ключе и дальше составлять свои протоколы. А что, вполне симпатичная женщина в полосе временных затруднений.

— Вам что импонирует... принцип “provokatora” или “лидера”? — наслаждался Чинцов общением с Евой и, дернув себя за галстук, пожалел, что утром при бритье не применил французский одеколон “Ален Делон”.

— В каком смысле? — перегнулась Ева, словно и без того выдыхала от него этот мужественный фимиам.

“Однако же”, — мелькнула мысль у Чинцова, и он сказал Еве вслух:

— В смысле откровенности и взаимопонимания.

— Не каждый день на солнце бывают пятна, — ответила откровением Ева. — А вот все заметили пятна на Кларе Зарецкой.

— Милиция — не пятновыводитель, — обиделся Чинцов. — В милиции тоже люди.

— Я понимаю, — сказала Ева, — вам трудно. Но вы же первый сорвали яблоко и протянули женщине.

— Яблоко, я? — усмехнулся Чинцов. — С яблока, как замечено, начинаются раздоры. Все раздоры — в ящик Пандоры.

— С яблока начинается жизнь, — не согласилась Ева и подумала: “Остряк — самоучка”. — А в каком все же смысле у вас принцип “provokatora” и принцип “лидера”?

— Э, милая, дорогая руководящая женщина, — свернул документацию Чинцов и стал собираться к отъезду, — вам, значит, есть свое яблоко, а мне облизывать губы? Так не получится. Я свою дорогу мерил своими ногами.

— Ну почему же? — шла Ева следом за ним до самой двери, необычно женственная и капризная. И подумала: “Обиделся за что-то, а за что? Экстрасенс”.

— Привет семье, — уходя, закрыл дверь Чинцов перед самым Евиным носиком.

Ева присела за свой директорский стол, положила голову в ладони. И вся предалась мыслям, прогоняя через себя почти каждое только что произнесенное Чинцовым и самой ею слово, ища в каждом иной, потаенный, дополнительный смысл, который, за какую ниточку ни потяни, никак пока не вытягивал на поверхность окончательное заключение.

Может, завтра с утра, на свежую голову, будет думаться лучше? И все же следователь дал ей тот просвет, то игольное ушко, в которое при случае мог бы пролезть и верблюд.

XVIII

Биологичку Ингу Геннадьевну в старшей группе встретили в штыки: “Отдайте нам нашего Егора Трофимыча! Егора Трофимыча отдайте!” И вот сегодня Инга появилась в интернате затемно, начала с комнаты Капы Лобовой: “Вставайте, девочки! Подъем!” Молчание. “Вставайте, кому говорю! Подъем!!” Все дружно повернулись к стене. Инга стала сдергивать с крайней, кажется, с Веры Коржавых одеяло — та вцепилась, не отпустила. На соседней кровати кто-то хмыкнул. Инга кинулась к этой кровати, принялась тащить с постели девчонку — стащила на пол вместе с матрацем. “Дура!” — закричал кто-то из угла, кажется, Капитолина Лобова. — “Дура!!” — закричали вразнобой отовсюду. — “Ну, хорошо же”, — прошипела Инга и побежала к директору.

Пока искала Еву по всему интернату, на первом этаже наткнулась на группу ребят. Глянула, а это уже ее группа стоит у выхода, все девочки во главе с Капой Лобовой и все ребята во главе с Мусрепяном Давидом. Все собраны, одеты честь по чес-

ти, даже в пальто. “И куда разогнались?” — замерла перед ними Инга. — “Гулять”, — ответила Капа. — “Так надо же завтракать”. — “А мы еще не умывались”. — “И гулять идете?” — “А мы сначала гулять”.

Ева нашла старшую группу в классе. Все за партами, все готовы к занятиям. “Позавтракали?” — строго спросила Ева. — “Позавтракали”, — ответили хором. — “И умыться успели?” — “И умыться успели,” — ответили так же дружно. — “Ну вот, — повернулась Ева к Инге, — а вы говорите, они не встают, не умываются, а они уже готовы к занятиям”. — “Готовы к занятиям,” — подтвердили все в классе.

А вечером так же хором собрались в комнате Лобовой Капитолины все девочки вместе с ребятами. Уселись кто где — на кроватях, прямо на полу, а то и стояли. Молчали, но атмосфера была, как перед грозой. Стоит только шархнуть молнии, как тут же обломится ливень.

Все ждали, что скажет Капа. Капа лежала в своей излюбленной позе — волосы черные, голова, как кочан капусты, на подушке, одеяло до подбородка, а глаза — зеленые, с фосфорическим блеском, и они все вытягивались, выдвигались из орбит, откуда-то из океанских глубин, и вот уже на длинных своих шнурочках, впиваясь в лица, повисли и закачались на приоткрытой форточке. И комната уже не комната, а пещера в джунглях. И Капа не Капа из специнтерната, а Черная Пантера. И они все жители джунглей.

— Она плюнула на наше заявление, — прошептала зловеще Черная Пантера.

— Она плюнула! — ахнули джунгли.

— Она не возвращает нам Егора Трофимыча, — сверкнула изумрудами Черная Пантера.

— Не возвращает! — взвыли джунгли.

— Мы ей объявляем войну! — ударили молнии из живых изумрудов. — Она ее заслужила.

— Объявляем, — поддакнули макаки, сгибаясь от страха, как будто стрелы уже попали им в спины. И в джунглях ведь пропаганда войны грозит карой.

— Объявляем, — утвердили решение тигры, отыскав щелку в законотворческой казуистике. — Она давно воюет с нами, не объявляя войны.

— Мы создадим ей хорошую жизнь, — застучала хвостом Черная Пантера.

— Хорошую, — понеслось эхо по джунглям, — жи-и-знь... — Не отправляйте меня, не отправляйте! — стонали в той же комнате через каких-нибудь полчаса после того, как все улеглись и заснули.

На другое утро, придя на работу, Ева не нашла ключа от кабинета в положенном месте: под половичком. Никогда такого с ней не случалось. Все эти полтора года она ключ только сюда и клала. “Стареем”, — вздохнула Ева и зырь-зырь в зеркало на себя. А в зеркале у нее за спиной — глаза Капины, зеленые, с фосфорическим блеском, типичные изумруды. Обернулась Ева, а Капы уже и след простыл. Но нехорошее что-то отложилось у Евы внутри.

Ключ Еве принесла ночная няня. Обнаружила там же, где и всегда, только чуточку дальше, за плинтусом. “Не догадалась за плинтус глянуть”, — укорила Ева себя и успокоилась.

А еще через день, после завтрака, Ева обнаружила на двери своего кабинета арийский крест — начертано черным углем. “Вот тебе ключ, — мелькнуло у нее, — а вот тебе крест”. И потихонечку-полегонечку стала озираться, за спину себе аккуратненько поглядывать. Никого. Только в конце коридора в туалет шмыгнул первоклашка. Ева достала платочек и, смочив слюной, аккуратно стала подтирать угольный крест.

А еще через день крест на двери появился опять. Ева уничтожила его и опять же смолчала. “Кому-то неймется, — гнев душил Еву. — Кому-то хочется занять мое место”. И она стала приглядываться к своему окружению. Первой, на кого подумала, могла быть, конечно, Капитолина, завуч. Неужто способна на такую пакость? Но ведь она давно уже завучем и, насколько известно, даже при том директоре не выражала желания занять место руководителя. Слабовата характером, не тщеславна, не она. Но кто же тогда? Может быть, Зинаида? Эта — птичка, чемодан с двойным дном. Мягко стелет, да жестко спать. Когда-то была тоже завучем, рассталась с должностью не по своей воле. Тщеславие загнала в себя, прикрылась любезностью, словесным набором типа “целиком и полностью отдать себя делу”, “твердо стоим на избранном нами пути” и т.д. и т.п. Может, биологичка? Тоже из местных, и тоже давно работает. Вряд ли. Этой дома с мужем хотя бы справиться, муж гуляет и пьет спасу нет. А там чем черт не шутит, все же директорская зарплата и положение... А может, Клара Зарецкая? Оскорбилась, что разнесла ее в пух и прах...

Так размышляла Ева, директриса, и ни до чего сама не могла додуматься, не с кем было ей на этот счет посоветоваться. Наконец, пришло в голову: надо подкараулить, подглядеть, кто это делает.

Два утра отправлялась Ева из дому на час раньше обычного. Два утра устраивала засаду в кабинете массажистки, это на-

против ее директорского кабинета. “Терпенье и еще раз терпенье, и ваша щетина превратится в золото”. Явилась она и на третье утро. Сидела на корточках, не отрываясь от замочной скважины, уставясь в дверь напротив, аж в спине заломило. Только повернулась за стулом — устроиться надо с комфортом, для чего поставила стул, обернулась, глянула, а крест уже на двери. Себе не поверила, еще раз глянула — крест! Стул на пол, сама в дверь — в конце коридора первоклашка шмыгнул в туалет. Ева влетела в туалет, хватъ пацана за шкирку — у того струя крест-накрест брызнула по стене.

— Ты крест на двери поставил?

— Какой крест, — занял злоумышленник.

— А ну покажи руки!

Протянул руки, а они у него в мелу. А крест на двери черный, углем начертан. Толкнула Ева в спину первоклашку и вон из мужского туалета.

Проходила мимо лестничной клетки, показалось, будто выше этажом кто-то перегнулся с перил, сверкнул из темноты на нее зеленым фосфором. Черная Пантера метнулась вглубь и исчезла. Рука Евина чуть ли не взлетела ко лбу, да вовремя остановилась: свят-свят-свят, нам нельзя, мы же, черт возьми, атеисты...

На следующее утро подходит Ева к своему кабинету, а у самой поджилки трясутся: сейчас крест на двери увидит. Но нет креста. И никого нет. Зато днем вошла к себе в кабинет и вздрогнула, даже попятилась: по полу раскиданы все листки ее завтрашнего доклада на педсовете, правая штора оборвана, форточка распахнута, форточкой ветер колотит.

Глянула в окно — действительно ветер, действительно пурга, дорогу заметает поземка. “Ходишь-ходишь тут по интернату, по всем этим этажам, лестницам, рекреациям и ничего не видишь, кроме работы. Не замечаешь ни погоды на улице, ни самой жизни, которая летит, пролетает, прожигает тебя изнутри, поневоле всякая чертовщина будет мерещиться”. И Ева вышла в рекреацию, приблизилась к зеркалу и зырь-зырь по себе привычно, окатила взглядом с ног до головы, пригляделась к лицу. И ей показалось, что за несколько дней прибавилось, что ли, у глаз паутинок.

Ева и обувь сменила, не щелкала теперь каблучками — слышать за версту. Как и все, оценив педагогическую мудрость, вроде бы для удобства, ходила она теперь в тапочках на войлочной подошве. Дешево и сердито, и во всяком случае обеспечен фактор внезапности, а это в нашем деле момент не последний.

Заглянула Ева в спальный корпус по какому-то вопросу, ибо руководитель должен ходить не только по земле, но еще и

по вопросам. Шмурыг-шмурыг мимо комнат в своих тапках-бесшумках, как, нате вам, за одной из дверей послышались голоса. Показалось — большое скопление, не люди — зверюшки какие-то, словно в джунглях. “Она плюнула”, — почувдилось Еве. — “Плюнула”, — загудели деревья. — “Она не возвращает”, — взвыла Черная Пантера. — “Не возвращает”, — прокатилось по макакам и тиграм. Ева поежилась: как у Мюнхгаузена, история с замороженными звуками, время ушло, а звуки остались. Раньше весь учебный год дорабатывала, и ничего. А теперь только лишь середина, а уже какие-то галлюцинации, слуховые обманы, что значат годы и нервы. Надо себя поберечь.

Наконец, приехал Вадимов отец. Не смог приехать на похороны сына — был тяжело болен, приехал только сейчас. Ветхий, тощий, несуразно прямой и длинный, как будто насаженный на оглоблю еще, наверно, в начале века, старик готов был переломиться в спине в любой день до того, как горе добьет его окончательно. Глаза у него оказались в красных прожилках, в глазах ничего, кроме старческой мути и пустоты. Егор дал бы ему и за восемьдесят, и поменьше в его серой, какой-то стертой одежде, по которой трудновато было определить срок пребывания Карцева-старшего в доме для престарелых.

Ева вместе с завучем укатили в райцентр, и старика привели к Тиганову Егору Трофимычу. Егор шел впереди по коридору, а позади тащились, шаркали, пыхтели, задыхались все эти огромные годы, невесть каким образом сумевшие соорудить и пустить по белому свету такое молодое, чуткое существо, каким был Вадим.

Старик Карцев равнодушно взирал на стены, пол, потолок, хранящие память о его сыне. И только в комнате, где жил Вадим, его бескровные, бесплотные, бумажные веки дернулись, конвульсия исказила лицо. Ребята еще занимались, и старик Карцев имел возможность стоять перед пустой кроватью, сколько ему угодно. Больше всего его поразило даже не фото Вадима на стенке, а небольшое вафельное полотенце на спинке кровати. Старик Карцев взял его, и ноги у него подломились. Егор едва успел подтолкнуть старика на кровать...

В дверь заглянула Ева, наконец, отыскалась. Она повела старика Карцева к себе в кабинет. С каждым шагом походка его становилась все тверже, силы прибывали к нему то ли от присутствия женщины, то ли от внутреннего возбуждения, которое вызывали в нем все эти двери, коридоры, лестничные переходы.

“А это что у вас?” — “Логопедический кабинет”. — “А это?” — “Кабинет функциональной диагностики”. Тело его напряглось, голос крепчал, он перестал ломиться в спине, нес свою седоватую голову строго и прямо, словно не Ева была перед ним в белом халате, а он, главный врач, делал обход по вверенным ему палатам вверенного ему медицинского учреждения. Крупным шагом он шел впереди, Ева семенила сбоку, едва поспевая.

— А это что? — остановился старик Карцев у двери с оторванной ручкой.

— Бассейн, — подскочила Ева.

Они вошли вовнутрь: сухо до самого дна, кафельные плитки отскочили, стены зияли проваленными глазницами.

— И это бассейн?! — удивился старик Карцев.

— Да, — опустила голову Ева.

Щеки старика затряслись, он воздел руки к потолку и закричал:

— Мы к вам сюда отправляем своих детей лечиться! Мы вам доверяем! А вы просто кормите их... вы просто содержите их, как скотов... они живут тут у вас просто биологической жизнью...

И задохнулся от крика, закашлялся.

Ева быстро приходила в себя.

— Да вы кто такой? — удивилась она. — Кто такой, чтобы читать тут нотации?

— Я — родитель!

— Ну и что? — Ева была тверда, как скала.

— Я врач по профессии. В медицине полсотни лет.

— Вот и лечили бы там у себя, а не лезли, куда не надо, — повысила голос Ева. — И вообще подумали бы, заводить вам ребенка в таком возрасте...

— Не смейте так! — вспыхнул Егор, увлекая старика Карцева дальше от Евиного кабинета.

Добрались до выхода в липовый парк. Стояли под деревом с потемневшей корой. “Вот здесь он лежал”. — “Мой мальчик”. — “Извините, прошу вас”. — это подошла и рядом стояла Ева. — “Идемте ко мне, — предложил Егор старику. — Я живу совсем близко”.

— Сначала к нему... к сыну, — сказал старик Карцев и снова закашлялся, как будто в груди его драли ветхие, в конец сгнившие куски холстов из огромных полотен Матейки.

При виде свежей могилы, еще в венках с аляповатыми, пурпурно-бумажными цветами, силы вовсе оставили старика. Он прислонился к березе. И в сухом, бессильном плаче зашлось все его шуплое, птичье тельце. И береза вздрагивала, сбрасывая с себя иней позавчерашний. И всхлипывал, подтаивал и проседал поблизости снег. И так всего пронзило Егора, ведь снеговая,

холодная влага пробьется сквозь землю и может попасть на лицо Вадиму. И он стал рассказывать старику, как они с Вадимом ходили на лыжах на Желтоводский кордон. Как смотрели вдвоем на Черное озеро. Как под ноги им с такой же березы упал Серый Дятел, который всю жизнь только и делал, что стучал и стучал, чтобы лес был всегда бодр и светел, пока в нем стучит Серый Дятел...

— Он хотел, он так стремился к отцу, — закончил Егор.

— Кто?

— Вадим.

— У меня нет дома, — опустил старик Карцев голову. — С той поры, как умерла его мать. Я пытался жить с престарелыми, а сейчас я живу на ферме, с коровами, а Вадима отдал в интернат. Разве он вам этого не сказал?

Егор промолчал: это радость почти одинакова, горе же всегда многолико.

И тут старик Карцев стал рассказывать о своей долгой жизни, обо всем, что с ним перебивало, и ему не надо было ничего, чтобы слушать, он рассказывал свою эпопею себе самому и сыну...

В Вадимовом возрасте он гасил голосом свечи в деревенской церкви, за что его перевели выше, в епархию, а уже оттуда отвезли в большой город. И когда он пробовал голос уже на оперной сцене, ему не повезло: ему сделали операцию, мочевого канал вывели через живот. Ну какой же певец из него с таким-то дефектом? Только тут он и заметил, что была революция и что это еще хорошо, что ему операцию сделали, хоть остался живым.

Живым-то врачи оставили, да душу забрали. И вот он стал врачом и лечил людей не по необходимости, не из сострадания, а согласно все той же мысли, что долг платежом красен. Моча, которая выводилась у него через живот, отвращала, конечно, женщин. И вот уже на закате, а любви все возрасты покорны, одна довольно молодая особа отдала ему свою руку... Когда она умерла, он запил жестоко и оказался в деревне, где некогда гасил голосом церковные свечи. Но все здесь уже было по-иному. В два-три дня они с мужиками пропивали всю его пенсию, а потом он жил, как умел...

— Вадим был надеждой, продолжателем рода, свечечкой. Не мог же я погасить ее, и я отдал сына вам сюда, в интернат... гордыня душила меня, гордыня меня задушила...

Егор положил руку ему на плечо. Если бы можно было вернуть Вадима, он бы отдал старику Карцеву свои годы. Зачем она ему, жизнь, если он ничего не может в ней, он — естественный человек в неестественных отношениях. Все притворяются, буд-

то им хорошо, будто счастливы, лицемеры — носят эту проклятую маску. Неужто жить нельзя по-другому?

XIX

Отец Вадима уехал, в интернате осталась тревога: чем же это все кончится? Одно утешало: Тиганову Егору вручили повестку в прокуратуру, следовательно, решено сосредоточиться на Егоре Тиганове. Ожидание определенного дня и даже определенного часа как оправдание эшафота, к этому никогда не привыкнешь. И все же мысли Егора забирала не столько прокуратура, даже не столько “каменный карьер”, где он успел побывать, сколько приезд старика Карцева, “одиссея” его побочьями задушенной жизни. Она мелькнула между крупными событиями века, как миг, как песчинка, перетерло ее, и нет человека. Дело в том, что ты, Егор, еще молодой, значит, гордыни в тебе куда больше. Не от того ли ты покинул Орел, где судьба уготовила тебе вечно вторые роли, первые — определены другим. Бейся не бейся — бесполезно, ибо те, другие, в городе на виду и уже не в одном, как ты, поколении; их семейные мафии не поколеблет никакая тебе революция, никакая прокуратура. Упадет камень, и ряска снова сойдется, и опять глухо, как в танке. Ты вернулся к земле, где еще твой прадед был на первых ролях. Но ведь и на земле не задержался. И в деревне городские выходят часто на видное место, ведь так? Средний горожанин обладает большей сметкой, большей энергией, что ли? А средний житель деревни — это то, что остается, когда деревня отдаст лучшее опять-таки городу — заводам, космосу, искусству, науке. И еще. Чья плохая работа людям виднее? Конечно, деревенских кормильцев, ну и лечащих врачей. Брюхо в таком деле плохой товарищ: старого добра не помнит; недоел, недолечили — касается каждого. А вот детей недоучили — это касается уже только самих детей да родителей. В прокуратуре же чего-то недоучили — касается лишь потерпевшего.

Не позднее, чем завтра в четырнадцать ноль-ноль, сразу после обеденного перерыва, тебе, Егор, надлежит явиться в алтырскую прокуратуру, иначе будешь “подвергнут принудительному приводу”, вот так... И что сейчас угрызало Егора, так это то, что опять он сорвался, накричал на Еву — все-таки женщина, директор. Правда, Ева обидела старика Карцева, и без того обиженного судьбой. Нельзя же срывать собственные неудачи на ком-то другом...

Егор завел будильник на полшестого, к первому автобусу на Алатырь. Хорошенько пристукнул его по “башке”: сволочь, не подведи! Опять отсылать на часовой завод “Янтарь” в Орел,

как недавно в Харьков электробритву с плавающими ножами!

И ночью Егору снова снился сон. Все тот же проклятый, все длится в этой его приинтернативской комнате — бывшем зале заседания Подшибякинского райнарсуда. И опять-таки начиналось все с облаков, с ослепительного неба, которое смотрело из форточки на Берегиню — тетку Прасковью. И на него, Егора. И комната эта была переполнена судейскими. И судили их сразу обоих. Долгоносик в средневековой мантии обвинял тетку Прасковью, ладно, не за колоски: “Ты два раза выдала хлеб по одной ведомости”. — “По одной, — соглашалась тетка Прасковья. — Дважды, но по сто граммов на трудодень — это вдвое меньше, чем за присест съест ребенок”. — “Преступление века”, — констатировала средневековая мантия. Но налетали ангелы и уносили Берегиню в окно. И он, Егор, оставался один и задыхался от тяжести вопросов, задавала их ему все та же черно-пурпурная мантия: — “Где ты был, когда упал с дерева Карцев Вадим?” — “Я был в детстве, во сне у Берегини, ваше средневековое превосходительство”. — “Как это можно быть сразу в трех местах: в детстве, во сне и у Берегини? И почему я у тебя средневековое превосходительство?” — “Потому что вы в мантии”. — “А почему я в мантии?” — “Чтобы казаться”. — “Почему же казаться?” — “Потому что на самом деле вас нет, вы только кажетесь”. — “Взять его! — шевелила пальцами средневековая мантия. — И отправить на Соловки. Да спустить с “секиры” вниз спиной по всем тремстам шестидесяти пяти ступенькам”... — “Не отправляйте меня, не отправляйте!” — кричит он словно во сне. Но долгоносики навалились на него, душили, и тогда Берегиня вытягивала его к себе через окно, и, весь в поту, он плавал в светящихся облаках и был, наверно, их тяжелее, потому что Берегиня держала его, держала и не могла удержать, и он срывался и летел, жутко было — летел и летел, как с Секирной горы, и никак не мог долететь с полночи и до рассвета...

Егор открыл глаза: он был в своей “судейской” комнате, черноаспидный кот Распутник — подкидыш Осиповны — лежал у него на груди, возле горла, и мурлыкал. Заметил, стервец, что у Егора открылись глаза, и полыхнул зеленым, фосфорическим светом, спрыгнул на пол, и глаза его вытянулись на шнурочках и, как на проводах, повисли по углам его, Егоровой комнаты.

— Я не хочу так жить, как жил, — прохрипел кот Осиповны каким-то чужим, магнитофонным голосом.

— Почему? — удивился Егор. — Что тебе так не нравится?

— Потому что я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю, — запел кот Распутник и захлопал крыльями, как петух, заскрежетал металлическими частями и заткнулся, заплясал на одном месте.

— Ну и что? — приподнялся на локоть Егор, и ему почудилась в углу располневшая фигура Клары Зарецкой.

— Я люблю тебя...

Егор встал, потянулся, так что реально хрустнули кости. И тем самым он стряхнул с себя остатки сна и понял, что забыл с вечера выключить магнитофон. И это зеленый глазок магнитофона горит, соперничая с фосфорическим взглядом кота Распутника.

Повестка в прокуратуру жгла его через карман. Уже чуть свет Егор бежал к автобусу — на ранний, первый рейс до Алатыря. Вот ведь как получается, то Алатырь казался ему близким, своим райцентровским городом, а то вдруг стал какой-то бесчувственный, чуждый. Что скоплению этих домов до его хрупкой, трепетной жизни. Одиночество и тревога, одно обостряет другое; кому интересно, что тебя вызывают в прокуратуру.

Егор направился по указанному адресу не к четырнадцати ноль-ноль, как было предписано в повестке, а прямо сейчас, с рейсового автобуса. Прокуратура находилась там же, где и всегда: по улице Тургенева, 100.

В прежние времена, когда Егору приходилось бывать в Алатыре, он не обращал внимания на то, что рядом с прокуратурой была городская станция “Скорой помощи”, стояли микроавтобусы с поперечной красной полоской. А прямо за станцией высилась церковка со сбитым куполом, а за церковкой — старое кладбище. Сейчас все это соединялось в какой-то зловещий квартал.

“Почему хоть цифра такая — 100?” — силился проникнуть он в глубину совпадений и ассоциаций. — Что хоть значит единица, а за ней два нуля? Имеет ли значение то, что в повестке в указании времени перед двумя же нулями есть еще и цифра “четыре”?

И это проклятое “сто”, в смысл которого он так и не сумел войти, задержало Егора перед самым порогом. Он шмыгнул трусливо мимо двери и, отойдя на приличное расстояние, все оглядывался, не заметил ли кто-либо это на улице, то, что ему надо было именно сюда, в эту дверь. Успокоясь маленько, он решил обойти квартал, сделать вокруг квартала петлю, чтобы подумать, не лезть же в пекло очертя голову с пустой головой. Тем более время позволяло. “Что же все-таки значит “100”? Единица — вероятно, следовательно, к кому нужно явиться, а нуль — вероятно, ты сам. А второй нуль? Второй нуль — Вадим... ну нет, что-то не то”...

Для прояснения истины Егору надо было описать вокруг алатырской прокуратуры еще пару петель, и теперь уже в два квартала. На перекрестке в белых крагах торчал милиционер с полосатым жезлом. Егор было разогнался через дорогу, как из-за стекла госавтоинспекторской будки со вкладыша из журнала на него глянул... Мольер. Раздался свисток, полосатый жезл постового, похожий на "единицу", воткнулся Егору в грудь. "Единица — это прокурор, — почему-то подумал Егор. — А два нуля — следователь и я... Да, но следователь разве нуль, он же при исполнении"... И опять пришлось пройти мимо постового и прокуратуры. Пришлось описывать новый круг, но еще больший, во весь центр Алатыря, мучительно соображая, что же все-таки значит эта круглая цифра "100"? Прежние соображения не удовлетворяли.

Егор смотрел, как бежали машины, как по улицам, из дома в дом, от двери к двери, торопились люди, и строил свои пирамиды власти. В усиках, с острым носом, в волосах кольцами, по самые плечи — из милицейской будки продолжал взирать на него этот вечный Мольер. А в ноздри уже било вкусным, кисло-вато-пряным запахом свежепеченого хлеба, где-то поблизости работал на совесть хлебозавод. И во рту Егора машинально провернулся взмокревший язык...

Может ли существовать отдельно от постового движение этих машин? А ходьба людей из двери в дверь, а хлебный дух на улице — без прокуратуры? Без милиции, без суда? Сколько людей, интересно, было занято только в одной его "судейской комнате"? А сколько таких Подшибякино, даже Алатырей? Сколько людей заседают, терпеливо выслушивают, спешат на вызовы в прокуратуры? И их всегда будет столько, сколько нужно для того, чтобы Мольер смотрел в мир иронично из-за стекла. "Ведь так?" — усмехнулся Егор великому артисту. — "Так-так", — усмехнулся тот ответно. — "И теперь "единица" в цифре "100", — осенило Егора, — это — закон! Остальное после нее — это все мы: прокуроры, следователи, свидетели, преступники, все — кто приглашает к себе по повестке и кого приглашают"...

Успокоенный таким оборотом дела, после очередного витка, Егор в какой уже раз вынырнул из переулка, остановился у дверей прокуратуры. Но и теперь цифра "100" была тут на пятиэтажке, никуда не девалась, а куда она денется? Егор наклонился к руке и сам себе не поверил: прошел всего час, как автобус доставил его сюда из Подшибякино. Являться к следователю раньше назначенного Егору теперь расхотелось. Отчего бы не скоротать лишнее времечко как-нибудь по-другому?

“Бог не выдаст, свинья не съест”, — с такой мыслью Егор подошел к калитке, загремел щеколдой. Знакомый дом возле собора, что возвышался над Алатырем. Обитель, куда судьба когда-то зашвырнула их с Бронькой. Интересно все же возвращаться к прошлому, как к самому себе.

Вот та самая дверь. Вот тот самый коридорчик. Та самая комната, где они чуть было не расположились с хозяйкой, но ворвался со своими конфетами Бронька. Хозяйку зовут, помнится, Рита — Рио-Рита, Рио-де-Жанейро. Не хватает еще, чтобы ее не оказалось дома.

Нет, Рита вышла навстречу из-за занавески. Все такая же полногрудая, пышная. Приподнялся Егор на цыпочки — взгляда не может оторвать от груди, второй раз в жизни видит такое чудо — в тот раз, когда был здесь с Бронькой Летягиным, и сейчас.

— А, это ты, агроном! — засмеялась хозяйка. — Куда это ты, дружок, запропал?

А сама грудью Егора как прижала к двери, так Егор и отключился, кровь ударила в голову. Глядь, а в окне из-за собора, выпирает черная тучка, и солнце садится в нее. “Ну, — думает, — что-то не то: либо влипну”.

— Я, — говорит, — к тебе на минутку.

— А за минутку, — смеется хозяйка, — разве управишься?

И смотрит своими наглыми черными глазами в его наглые светлые очи. А сама так фигурой вся и перекручивается, змея подколотная.

У Егора как бы кипятком плеснуло по камню.

— Что это, — говорит она, — у тебя, агроном, щеки плохо выбриты? И глядишь как-то тускло? Ай соскучился по бабьей ласке?

После этого в голове у Егора сделалось чище, а намерение тверже. Только он хотел рассказать, по какому поводу к ней пришел и что он вообще-то не против, как на таком интересном месте с улицы в окошко, тюк-тюк, постучали. Рита встрепенулась, кинулась к Егору:

— Ну, — говорит, — попались мы с тобой. Начальство пожаловало... Агрономчик, голубчик, — взмолилась она, а сама тянет его в коридор и отворяет дверь той самой, известной им, комнатухи. — Сиди тут и ни звука. Я потом тебе все объясню.

А сама за шею его и поцеловала солеными губами. “Грибы, должно, ела”, — едва подумать успел Егор, как дверь щелкнула, за дверью раздались широкие мужские шаги и голос — ну чей же еще? — Бодракова:

— Риточка, хозяйшкa! Не ждала, небось? Вот и я. Не бензовоз шампанского, но нам с тобой хватит.

Егор подпрыгнул от неожиданности, саданулся затылком о потолок. Выругался бы, да язык крючком свело. Вот дурацкое положение-то! А через стенку, как сквозь чемодан, все слышать до малейших подробностей. Ходит Бодраков, председатель ярищенский, туда-сюда, как тигр в клетке, аж доски скрипят, руки, жвык-жвык-жвык, потирает в предвосхищении. А Рита ставит стаканчики да закуску. Слышно, как вокруг стола так и носится, так и пляшет. Что ж ты носишься, что ж ты пляшешь, стервы кусок! И Бодраков хорош — председатель, называется, руководитель людей, где твой моральный облик, подлец? И только они, значит, расположились на диванчике, что приставлен сюда к его, Егоровой, стеночке, как, нате вам, опять заколотили в дверь, загремел в сенцах голос. Тоже мужской, но пошквалистее, сиплоподобный.

— Ты, — говорит, — одна тут, Риточка?

“Опять же голос знакомый. Матроса, что ли, того, что с торгового флота?” — в стальную пружину сжался Егор.

— Одна, одна, — кричит Рита, а сама Бодракову (Егор слышит) тихо: — Да сюда же, сюда, тюлень.

Дверь открылась, и Бодраков влетел кубарем в комнатушку к Егору.

— С прибытицем, — приложил ладошку к губам Егор.

— Ты зачем здесь? — остолбенел Бодраков.

— Здравствуйте, пожалста, — низко, в пояс поклонился Егор и, как дьячок, загнусавил: — Гусыня наша с вечера к вам сюда не попадала?

— За гусыней явился? — насторожился Бодраков.

— Ну да, — подтвердил нахально Егор, развернулся и нечаянно хрясь Бодракову локтем промежду глаз.

Стоят, сопят, испепеляют друг друга взглядами, как две сопредельные державы без дипломатических отношений. От искр ихних домишко, того и гляди, загорится. Бодраков, эх, как топнет:

— Марш, приبلудник, отсюда!

— А это, что же, ваш кабинетик, Финаген Ксаныч? — съехидничал Егор. — Сроду, — говорит, — не видал таких кабинетиков.

— Ты у меня дотреплешься, — поднапер Бодраков, — ишь, бабник и прощельга.

Тут Егор даже заикаться начал от такой беспардонности.

— А вы... вы кто такой? — с новым своим положением Егор освоился быстрее, чем ярищенский председатель. — Тоже мне командир! При дневном свете командуй, а не в потемках.

И тут совсем близко, ну прямо за перегородкой, послышался голос их общего врага и соперника Кеши-матросика:

— Чую, Рита, этим козлом ярищенским пахнет.
— Что ты, Кешенька? — возлепетала Рита. — С чего ты взял?
— А вот шампанское.
— Тебе приготовила.
— Мне? — изумился враг и соперник, и буль-буль в стакан, зашипело в стакане.
— Сволочь, шампанское мое содит, — сел Бодраков на кровать от бессилия. — И баранину мою жрут.
— Подумаешь, — ухмыльнулся Егор. — Привезешь этого барахла еще бензовоз.
— Какого барахла?
— Шампанского.
— Больно грамотные стали, — матюкнулся было Бодраков и спросил вдруг Егора: — А вот почему свиное мясо зовется свиной, а овечьё — бараниной?
— И ослу понятно! — отбрил его Егор. — Овец-то в убойный цех заводит козел, которого называют почему-то “бараном”, понял иль нету?
— Чего нету? — надвинулся на него Бодраков с кулаками.

И тут оба они услышали, как Кеша, этот громила-парень, подняв Риту, как автокран, опустил ее на диванчик. А Егор с Бодраковым через стеночку сидели на кровати и слушали, и дрожали глубокой внутренней дрожью, как за тонкой дощатой перегородочкой ходил ходуном этот диванчик. Бодракова трясло, конечно, от возгорания, от ущемления его мужского достоинства. А Егор (а что делать?), глядя на него, давился от смеха. Представляя, как даже Кеша, такой длиннобудылый парень, лежа на Эльбрусе, точнее, сразу на двух Джомолунгмах, все тянется и никак не достанет ногами до полу, и трясет волосатыми лытками в воздухе, как козел бородой.

XX

Уходя, Кеша хлопнул калиткой. Только Бодраков собрался полыхнуть трехэтажным, как дверь к ним сюда отворилась.

— Ну, распроссу-у..., — сверкнул было Бодраков золотым зубом, как Рита, хозяйка, всплеснула руками, выразила крайнее изумление:

— Кого я вижу? Финаген Ксаныч! Как вы тут оказались?

За руку дерг к себе Бодракова, захлопнула дверь перед носом Егора. Егор ошалел. Хозяйка с Бодраковым отсюда вышли в комнату и через стенку о чем-то шептались. А Егор сидел, как дурак, на кровати и злился. Просто сгорал от злости, когда услышал, как они начали двигать столом, расставлять посуду, чокаться, пить и закусывать. “Боров толстозадый”, —

ругал Бодракова Егор и тихонечко начал постукивать в стеночку:

— Рит, а Рит.

Рита не отвечала. Егором овладевало отчаяние. Его наручные часы неумолимо приближали время, назначенное прокуратурой, иначе его могут подвергнуть “принудительному приводу”. “Черти его понесли сюда, броня крепка и стежки наши склизки. Однако безвыходных положений, братец мой, не бывает. Думай, Егор, думай! Интересно, что бы на моем месте придумал Бронька?” И тут его взгляд упал на смятую простыню, казалось, под ней лежит человек. И тут же буря ворвалась, пронеслась внутри по Егору и спрессовалась в хитроумный план, который предстал перед Егором настолько четко. И Егор начал с обидных для Риты слов:

— Эй, ты, Солоха!

Молчание. Затем робкий голос:

— Кто Солоха?

— Ты — Солоха... Смотри, какую я тебя нарисовал.

— На чем?

— А вот на простыне. Твой портрет, копия.

И опять молчание. И “бу-бу”-бу” — гудня бодраковская. И Ритин явно заинтригованный голос.

— А чем же ты, интересно, меня нарисовал?

“Чем? — искал выход Егор лихорадочно. — Да, действительно, чем?”

— Кровью своей, — осенило Егора. — Как “Полонез Огинского” в тюрьме. Вот, видала? — для убедительности взял он стакан на тумбочке и бухнул об угол — зазвенело стекло. — Окно разбил и вскрыл вену. Рисую...

— Ну-ка, ну-ка, — бросилась Рита к двери.

Когда оба сразу — одна в гневе за испорченное имущество, другой из простого человеческого любопытства — ввалились к нему в комнатушку, Егор нырнул им за спину и выдернул назад за руку Риту. Повернул ключ, вставленный в дверь, и положил ключ в карман. Все это произошло в считанные секунды, до того ловко, как у Отто Скорцени в операции с планерами, когда тот украл дуче, охраняемого в горах пуще глаза воронами.

— Ну вот и поговорили, — хлопнул себя по карману Егор и шагнул к порогу мимо растерянной Риты. — Я спешу, извините меня.

И уже возле калитки, из глубины дома, услышал он рев быка и грохот в дверь. Постоял-постоял и вернулся, постучал в окно, положил ключ на порог. “Тоже мне, е-мое”, — сыронизировал Егор в отношении Бодракова, держа уже курс по Алатырю на районную прокуратуру. Настроение было теперь хоть куда. Стрелки на башенных часах горсовета приближались как раз в четырнадцать. “Ну вот и погулял”, — остано-

вился Егор перед домом номер сто и смело толкнул дверь рукой.

И все же бумажка, гадость, ну никак не хотела выниматься из внутреннего кармана и дрожала в пальцах, когда он протягивал ее секретарше. Может, и бывает такое, когда человек на пике волнения, не видит и не слышит вокруг ничего. Егор же в один миг успел вместить в себя все, что тут было: и двух бритых фраеров возле двери, рядом милиционера, и кадку с пальмой, и тонкую белую блузку, тоже ведь билось нежное птичьино сердце.

— Ну? — с надеждой взглянул на нее Егор как на своего человека.

Не поднимая головы, глядя только в повестку, белая блузка ответила заученно:

— Ваш следователь в командировке. Когда надо будет, вызовем.

И оставила на столе Егорову бумаженцию. Егор хотел было закатить небольшой скандалчик: вызывают, понимаешь, а сами уезжают в командировки. Но вышел наружу и, от греха подальше скорей, передумал. И опять в глаза бросилась цифра "100" на здании прокуратуры. "Единичка.— это я, человек, — улыбнулся Егор, — первый номер, а дальше все остальное". И когда на автовокзале подали автобус на Оболешево, не раздумывая, без билета, Егор первым впрыгнул в заднюю дверь автобуса и уселся на самое первое место, ближе к шоферу.

* * *

Егор ехал в Оболешево, не зная зачем. Если бы спросили, как он здесь очутился, вряд ли бы дождались в ответ что-нибудь путное. Однако по ходу движения мысль вызревала, оформлялась, пока не отлилась в ничем не прикрытое, осознанное, страстное желание: он ехал смотреть свою дочь.

Перед селом автобус съехал в обочину и забуксовал. Егор ступил в сырой, грязный снег и направился наискось по полю, к раkitам, темнеющим на горизонте. Тут же брюки испачкались, однако настроение от этого не испортилось, предвосхищение встречи уширяло шаг. Перед взглядом поплыла она, Стешка... Вспомнились студенческие годы, как приезжала она к нему в общежитие. Совсем рядом, вот-вот, кажется, еще ближе, были счастливые дни, что провели они на поселке у Берегини. "Я буду любить тебя всю жизнь", — горячо дышала она. И он переживал все это заново, видел на подушке глаза в звездном отсвете, помнил всю до родного, такого редкого запаха — серебристые ландыши, ее любимые.

Снег под ногой проседал. Причмокивала, втягивая талую воду, земля. "Как это благородно, — думал Егор о себе, — най-

ти наконец-то времечко посмотреть на собственное чадо... Куда мы идем? Благородные давно уже вымерли, — от этой мысли Егор даже остановился. — Порядочных и то почти не осталось. Просто честным быть, — это же подвиг! Благородные сражались за идеалы, честные — с соседями по общежитию, чтобы выжить... Ева тщеславна, а что ей остается, у нее все казенное, кроме возможности двигаться вверх, по служебной лестнице. Она и любого рядом хочет сделать казенным и, когда он протестует, натягивает ему намордник. Каково честному в бесчестных-то обстоятельствах... Повестка в прокуратуру — не ее ли-работка?..”

После Подшибякино Стешкино село казалось ему небольшим. Дворы разбросаны по буграм, правление почему-то за речкой, а ферма прямо за огородами. Где-то тут живет его дочь. Неизвестно для чего, Егор спросил о Стешке проходящую тетку в фуфайке, подпоясанную солдатским ремнем.

— Двоюродный, что ли? — глянула она исподлобья.

— Почему двоюродный?

— А сейчас, чуть что, все двоюродные, — осклабилась тетка. — Ну так опоздал. — И уже отойдя на несколько шагов, обернулась, махнула веревочным поводом: — Во-он, милоч, ее хата. Квартера ее. Гоняла-гоняла по стройкам, а тут, стало быть, прилунилась.

Он увидел Стешкино жилище, не как тогда, почти ночью, когда являлся сюда по-волчьи из каменного карьера, а при дневном, солнечном свете. Подслеповата хата, низка, почти без фундамента. Сразу видно, чья-нибудь вдовья, живут без мужчины. И подумалось Егору, что, если бы он жил с ними, за что бы он взялся сразу, так это за строительство нового дома, вон сколько их по Оболезево — новых, добротных домов.

В передней возрилась на него такая убогость, что он сделал полудвижение назад и тут же услышал голос старой женщины, наверно, Стешкиной матери. Как и его бабка Галя, она была в обрезанных по щиколотку валенках, в переднике поверх мужского пиджака, в платке по самые брови, платок скрывал седые, нечесаные виски.

Егор шагнул вперед и зажмурился: так ударило электричеством. Разлепил веки — лучше бы электричества не было: беленые, голые стены, в углу высокая, чистая, в полкомнатухи кровать. Справа — деревянный, без скатерти стол, на столе чьи-то руки: мужские, крупные, под ними — женские, Стешкины. Егор едва оторвал от них взгляд, поднял голову — прямо против него была она, Стешка. Зрачки ее расширились, потемнели... Слева вместо двери была занавеска — значит, спальня. Егор резко шагнул налево.

Она лежала в кровати — Поинка, разметалась в кружав-

чихах, пухленькая, розовощекая. Егор впился в нее: похожа она на него или нет, его она или не его? Девочка зашевелилась, улыбнулась ему во сне. “Моя”, — вздохнул облегченно Егор. И, уходя, сунул руку себе в карман, там ничего такого не оказалось, а как хотелось, чтобы рука наткнулась на золотой, солнечный шар — апельсин, который бы он положил ей в эти кружавчики. И тогда Егор задержался в сенцах и силой воображения сделал так, что в руке его оказался золотой шар, это солнце, и такой же силой воображения он послал его туда девочке, в ее беленькие кружавчики.

И тут его как обожгло: рука легла ему на плечо, он обернулся — Стешка. Та же самая рука, только что была на столе под мужской. Не глядя на нее, Егор вышагнул прямо в дверь и затылком видел, как прыгали на лице чьи-то губы, двигались чьи-то щеки, говорились чьи-то слова...

Стешка бросилась следом, что-то кричала с порога. Но все это происходило в вате, беззвучии, глухоте. Уже за раkitой Егор придержал шаг: “Дочь Поинка мне или не дочь, моя или не моя?” Женские руки лежали на столе, поверх их другие, мужские. И что-то, вопреки его воле, ожесточилось в нем: “Нет, не моя”.

А с порога ему кричали уже в два голоса — старая и молодая. Егор свернул за раkitку и побежал.

Вскоре он очутился на заросшей черемухой круче. Внизу за рекой в сумерках лежало пространство, расчерченное границами по-зимнему спящих полей. Под самым берегом в кучке были шиферные крыши — это Приречье, дальний куток Оболешево. С кутка сюда к нему поднимались привычные деревенские звуки и запахи: мычание телят, аммиачно-острые волны навоза, звон молочной струи о жестяный подойник... Снежная пыль перемешивалась с этими звуками и запахами, с сизым парением от прибрежных ключей и, провисая, оседала на ивняке, на раkitах. Холодея, влажный туман залегал на сучьях тонкой, едва приметной сединой, а частью промозглая воздушная масса стекла обратно в низину, к речке и уже там клубилась, дыбилась и бугрилась, подбираясь к основанию кручи, но только с другой стороны и, отслаиваясь от подошвы — самой реки, обращалась в свободно текущие облака, чтобы здесь, наверху, снова отяжелеть, опуститься, осесть к утру по всему селу мохнатым туманом.

И тут сбоку, из створа долины, повело воздухом, в сизоватости воздуха образовались провалы, в них глянуло солнце, и все смешалось; и синее сделалось черным, сиреневое — красным. Но вот луч мигнул и убрался, однако к прежнему уже не вернулось. “Небо для света, для Берегини, — подумал Егор. — А там, внизу, чернеющий измрак”...

Село отдыхало. И сердце Егорово стучало все глуше, где-то на доньшке оставалась обида, но уже не на Стешку, а на себя, на всю свою никчемную жизнь, это в душу его, а не за край земной западал утесняющий солнечный круг...

— Его-о-ор! — послышался Стешкин голос откуда-то выше, за садом, на взвершье.

Егор сидел, обхватив руками колени. Душа, говорят, есть число, она подвергается счету, учету, анализу. Чужая, может, и подвергается, а тут ведь своя. Он, наверно, максималист, хочет слишком многого, думал когда-то, семья — это обуза, а все-таки женился. И вот жена ушла, уходит другая, самая близкая...

— Его-ор!! — крики приблизились, они уже были рядом, совсем рядом.

Он впился ногтями в ладони и костенел, боясь колыхнуться, чтобы с кручи на него не просыпался снег.

— Его-о-о-ор!!! — это было совсем-совсем близко, протяни только руку, только слово скажи, сделай шаг.

И долгие крики исчезли, ушли. Как глупо все получилось. Он не способен делать людей счастливыми, от него исходят только боли, только несчастья... Егор встал. Где-то тут, в заброшенном саду, должен быть заброшенный дом. Да вот же! Горбатая, сумрачная махина. Ставни забиты досками крест-накрест, на двери два замка. Пора на ночлег устраиваться, пока не совсем стемнело. Ветром качнуло чердачную дверцу на ржавой петле — Егор вздрогнул. Попробовал влезть по двери. В носшибануло гнилью, полыхнули два зеленых огня. “Ко-от!—обрадовался Егор живому существу, словно другу-товарищу.

— Кыс-кыс-кыс... У, Распутник!”

Егор сорвался с двери, и огни тут же погасли. Пиковое положение, хуже не придумаешь. Егора знобило, начинало трясти, вскоре его уже колотил колотун. Там, на чердаке, есть, наверно, сено или солома, закопаться бы, свернуться калачиком, согреться собственным теплом.

Рядом со Стешкиной была еще одна нежилая хатенка, пониже и потеплее; вся семья, должно быть, вымерла, до последнего человека. И уже в темноте Егор нашел эту хатенку. Ему показалось, что со Стешкиным домом она так близко, ну прямо стенка к стенке. Из давно погасшей печки тянуло прогорклой гарью. А ведь и тут люди жили, любили, растили детей, на что-то надеялись. Егор положил ладонь на лежанку, на холодные голые кирпичи, и ладонь утонула в пыли — пыль забвенья, мета веков...

Он швырнул на печь охапку бурьяну, такого добра здесь хватало. Лег и, как в детстве, свернулся калачиком. Дыхание согревало живот, но спине было холодно... И опять перед ним заматались сполохи. И в высокой деревянной кровати — Стеш-

ка. И одна рука была в кулаке, а другая — вокруг шеи; прижалась — атласная, шелковистая кожа... Брр, с ума сойти можно, собачий холод...

Егор спрыгнул с печи и начал ходить по битым кирпичам, разломанным стульям, разбитым горшкам. Вряд ли их склеишь, да и глупо склеивать битое, чинить ветхое, лавки отслужили свое на свадьбах, проводах в армию, похоронах, поминках...

К утру Егор выходил из хатенки, как вор, крадучись. Для полного счастья не хватало еще столкнуться с кем-нибудь из случайных прохожих. Ну и видик: рожа помята, на кого похож. В войну люди умели спать не только на кирпичах, но и просто-напросто на снегу. Кто-то шел навстречу, видно было, как мелькнул тенью под фонарем. Егор весь напрягся, но нет, то была не она, не Стешка.

Не привыкать, не солоно хлебавши, возвращаться домой. Было то дрожкое состояние организма, которое возникает обычно у него от бессонницы и сменяется тяжестью в теле, апатией, равнодушием ко всему. Надо было добираться до Алатыря как можно скорее.

Дорога вильнула к околице. Крайние дома, а ни деревьев. “Лодыри, не могут ракирку ткнуть в землю”, — плюнул Егор. Где-то он видел еще такую деревню. Тогда ему объяснили, что, мол, почвы скудные.

— И за Полярным кругом растет, — высказался Егор. — Ткнешь палку — вырастет оглобля.

Дорога, все та же дорога. Только в обратную сторону. И было так плохо, хоть плачь, и было, хоть плачь, так хорошо. “А единичка в цифре “100” на том доме — это все мы; все прочее — ноль-ноль, пусто-пусто. Все проходит, пройдет и это”.

XXI

На урок он все-таки опоздал, всего на каких-то десять минут. Так приходил из Алатыря подшибякинский автобус. Однако Ева тут же понесла по кочкам, не нужны ей такие работнички, которых таскают по прокуратурам, они еще и опаздывают на целых десять минут. Весь день после этого Егор только и делал, что объяснялся, кому-то говорил незначашие вещи, кому-то просто улыбался. К вечеру он выдохся. И, возвращаясь к себе в “судейскую комнату”, думал невесело: “Стражи порядка” — это ведь свет Подшибякино, интернатовская элита. Всегда были они наверху, возле директора, и вдруг я на какой-то момент возле Евы. Я — земляк ее, мы оба ярищенские, и клубничка какая-никакая, все же педагог-агроном. Да ведь это им нож по сердцу, они из себя вышли, чтобы оттеснить меня, занять возле нее свое привычное место. Я нарушил иерар-

хию, оказался возмутителем спокойствия. И это они, именно они — только Евиными руками — устроили мне “прокуратуру”. В конце концов они судят не мое “преступление”, они судят меня как человека, как, очевидно, лидера, все же единственный мужчина среди молодых. Потому что, если уж мне они сумели дать по мозгам, то, будьте уверены, после не возникнет даже Клара Зарецкая. И все остальные будут сидеть, как мышки. Что и требуется. И опять статус-кво. Опять тишина, в гробах покойнички летают... Но чьим лидером слывет теперь Ева? На чью сторону стала? Что за люди с ней и вокруг нее? У одной пьет муж, и сама она тоже. Другая за трояком в учительской забралась в сумочку и была поймана с поличным. И все шито-крыто. И вот они, “стражи”, собрались в кулак и договорились: будем править. И правят. И в конце концов Ева выполняет их волю. И опускается до них, и уже бы совсем опустилась, если бы ей не надо было выходить за пределы спец-интерната, в общепедагогические сферы... Они и его, Егора, готовы принять в свое лоно, но лишь на одном условии: делать все, как и они, стать в итоге таким же, как и они, быть в общем шлейфе у Евы. Значит, Ева — слабый руководитель, лидер бесстыжих. В ином случае она опиралась бы на личности, растила бы личности, росла бы на них сама и вместе с ними поднимала бы общий уровень. Тогда Ева была бы воистину лидером, а это не просто”...

Уподобиться им Егор, конечно, не смог, смириться тоже. “Не могу и не хочу!..”

В воскресный день на черной подношенной “Волге” домой к Егору заскочил Лихопек. Поделился новостью: в Алатыре его сватают директором совхоза “Подшибякинский”. И вот в здешней конторе ему дали машину, сегодня в свой выходной Лихопек решил проскочить по хозяйству.

— Поехали, — приоткрыл Лихопек дверцу, он сам был за рулем. — Проскочим, осмотрим владения.

Когда-то это был особый совхоз — племенной. Элитные овцы — “ромни-марши” — были закуплены еще до войны за валюту. В последнее время хозяйство постепенно разваливалось, народ покидал обжитые места. Особенно с того времени, как увезли отсюда райцентр. Вот уж, действительно, живешь и работаешь, и ничего толком не знаешь о той земле, где живешь и работаешь. Многие еще предстояло узнать Егору...

— Есть идея, — за рулем Лихопек чувствовал себя хорошо, — вернуть райцентр в Подшибякино, иначе нельзя. Да, приветик тебе от Бодракова.

— А Бодракову от Риты.

— Какой?

— Он знает, — усмехнулся Егор.

Дорога шла краем речной долины — речка эта, кажется, Раковка, впадает в Зушу, а Зуша — в Оку. И у рек, конечно, своя иерархия. То и дело встречались островки, целые острова из былого — среди степи в сухом, омертвевшем по-зимнему бурьяне вдруг возникнут раkitки, брошенные сады, следы поселков и деревень — печальное эхо истории.

— Весной в Кочетовку из центральной усадьбы возят людей картошку перебирать, — нарушил молчание Лихопеков.

— Хрущев дал паспорта, — заметил Егор, — вот народ и уехал. Не надержишься, не крепостные.

— Мы и сейчас каждый себе на уме, — покачал головой Лихопеков. — Друг другу не доверяем, поделиться боимся, разве не так? Порой даже сами себе в чем-то признаться не можем, разве не так? Вот как вбито... С паспортом ты — гражданин, на паспорте герб страны и твоя фамилия полностью, вот и свершай, отвечай за свершенное. А без паспорта кто ты — так, вроде сбоку припеку как заключенный какой-нибудь, неполноценный, разве не так?

— Так, так, — кивал Егор ему в такт ухабам, сам подумал: “Перевернул бы пластинку, а то крутит одно и то же”.

Издали было видать, как с ободранной колокольни бросалось вниз воронье. На краю Кочетовки встретила бабка, вся закручена в шаль по глаза, живот рушником обхвачен.

— Чего это ты, мать, так вырядилась? Вроде нехолодно, — придержал Лихопеков машину возле нее.

— И-и-и, — засмеялась проваленным ртом старуха. — Нам болеть, милай, никак нельзя. Больница бог знает где. Заболеешь — ложись и помирай. Помочь некому.

— Не дадим тебе, мать, помереть, — сказал Лихопеков и повернулся к Егору: — Видал, как живем? Людям вера нужна, разуверились.

— Да-да, — кивал ему машинально Егор.

И уже на обратном пути он стал рассказывать Лихопекову о своей никчемной жизни в специнтернате, поведал даже о вызове в алатырскую прокуратуру.

И, когда проводил Лихопекова, и после с неделю, Егор все переживал, думал об этом их разговоре, все мучили его и лихопековская черная “Волга”, и своя откровенность.

И вот позвонили из прокуратуры. Вызывали тогда, оказывается, совсем по другому вопросу, еще по тому, “картофельному делу”, но сами тут кое-что уточнили, и он, Тиганов Егор Трофимыч, бывший агроном ярищенского колхоза, уже им не надобен. Телефонный звонок снял камень с души. Да еще тетя Паша, техничка, убирала Евин кабинет и обнаружила под ковром — под ковер, что ли, забилось — письмо Вадима Карцева

Еве Власовне, директрисе. Всех обошло это письмо. Все читали его. Письмо было странно. Вадим сравнивал себя с Серым Дятлом, который делает светлым лес и который, как человек, любя все живое, умирает на дереве, на самой верхушке, от инсульта.

— Может быть, от инфаркта? — предложила свою версию Капитолина Инановна, завуч. — Любят ведь сердцем, а не головой.

Так и рассудили, что Вадим, вероятно, маленько чокнулся, а может, влюбился, подошел его возраст. В кого? Созрело бы желание, найдется в кого, хотя бы в Лобову Капитолину. И интэрнат успокаивался, жизнь сворачивала в свое русло. Ряской снова затягивало все, кроме бассейна, бассейн был по-прежнему сух со всеми не втекающими в него и, естественно, не вытекающими из него последствиями.

А все-таки ждали комиссию. Сначала из Москвы, потом из Орла, затем хотя бы из Алатыря. Всех Ева поставила под ружье. Везде чистили, мыли, красили и приукрашивали. То забивали гвозди, а то вытаскивали. Посещались уроки, заседали советы, комитеты и комиссии, подкомитеты и подкомиссии, общественность не дремала. Проверялось старое и составлялось новое — протоколы, акты, справки и заключения.

Бассейном занималась Ева лично. Ее уязвленность его бесполезность, и коллегам внушала она теперь свою уязвимость: как же так, бассейн, в самом деле, понимаете, налицо, а в него ничего не втекает и ничего не вытекает?

И отныне слова ее вытекали, а дела оставались прежними. Ранее в таком случае коллектив выражал свое мнение напрямую: дескать, лучше меньше, да лучше. А тут, после трагедии с Карцевым Вадимом, иные заимели внутренне собственную уверенность, что и “Ева-де не без греха”. Так лучше, в целях самосохранения каждой индивидуальности.

— А с нас дерет три шкуры, — уже почти в открытую говорили даже “стражи порядка”, рассчитывая, что после вышестоящей проверки Ева скорее всего слетит.

Но Ева знала, что делала. На взаимопосещениях и взаимопроверках педагоги уже начинали драть “шкуру” прежде всего друг с друга. Каждый педагог поворачивал каждого в сторону вины не только перед собой, но и перед коллективом, а потом уже и перед собой.

Расписание Егору было составлено с “окнами” — перерывами между уроками, и ему приходилось подолгу торчать в интернете. Вот и сейчас он сидел по привычке перед дверьми своей бывшей группы, читал взятый в сельской библиотеке свежий номер журнала “Наука и жизнь”. В своих войлочных тапочках Ева подкралась сзади, как пума. Взяла у Егора журнальчик, прочитала ехидненько:

— Так, “Творческое непослушание”... Нашел, что читать... Статья академика. Ну и что? Что этот Капица пишет! Ломоносов ударил по щеке Шумахера — руководителя Академии... А это что, про Микеланджело? Ну-ка, ну-ка, читаю: “Вот пример из эпохи Возрождения... Микеланджело выполняет заказ Медички, гм, Медичи. Когда один из Медичи выразил неудовольствие по поводу несходства его портрета, Микеланджело сказал: “Не беспокойтесь, ваше святейшество, через сто лет будет похоже на вас”... Когда в Риме Микеланджело исполняет заказ папы Юлия II, он проявил непослушание и ссорится с папой. Микеланджело кладет свою котомку на плечи, самовольно покидает Рим и идет к себе во Флоренцию. Когда об этом узнает папа, он сам садится в карету и со свитой направляется в погоню за Микеланджело, настигает его вблизи границы и уговаривает вернуться. Наместник бога на земле готов принести гению Микеланджело свои извинения и простить его непослушание, лишь бы не потерять его... А вот пример из русской истории. Когда ректор представил лучших студентов, после короткого разговора с ними Николай I сказал: “Не нужны мне умники, а нужны послушники”. Спрашивается, чему в данное время открыты более широкие двери — послушанию или независимому таланту?”..

— Ого! — прервала чтение Ева и воззрилась в Егора. — Ну и ну!

— А вот в заключение и про нас непосредственно: “К сожалению, когда школа воспитывает молодежь, она ценит больше послушание, чем талант. Что было бы в нашей школе с ломоносовыми? Может быть, многие отфильтровались бы от науки нашей школой? Мы не можем дать точный ответ, нужна ли на данном историческом интервале развития страны в данной области науки или искусства четкая и жесткая система и организация или свобода деятельности самобытных гениев. Вполне возможно, что сила и успех нашей эпохи в социальной структуре, а не в отдельных личностях... Гении рождаются эпохой, а не гении рожают эпоху”.

— Ну и правильно, — жестко сказала Ева. — Не в отдельных личностях дело.

— Так статья-то когда написана? — возразил ей Егор. — В период культа, представляете?

— Ломоносову можно, тебе — нельзя, — четко сказала Ева. — Представляешь, что получится, если каждый у нас будет творчески не послушаться? Одни из себя выходят: хлеб растят, машины делают, детей учат, а другие, “творцы” эти, что должны — разрушать?

— Это же наука, психология, перспективы, — отбивался Егор, как умел. — Микеланджело разрушает старую мораль, чтобы построить новую. В этом — прогресс.

— Прогресс — в том, — Ева была непреклонна, — чтобы сам ты лично уроки давал хорошо, на уровне. Вот и все.

После уроков Егора вызвала к себе Капитолина, завуч. Не глядя на него, она долго и путанно что-то внушала ему, из чего следовало, что ему, Егору, как не обладающему достаточной квалификацией и необходимыми способностями, она бы рекомендовали все-таки распрощаться с педагогикой и сосредоточиться на том, чему учили его, — на земледелии, где у него, вероятно, получается лучше. Скоро состоится педсовет по распределению нагрузок на следующий учебный год, и она, завуч, как ни жаль, очевидно, не сможет рекомендовать его преподавателем биологии.

— Где же логика? — остановил Егор ее словоизлияние. — То рекомендовал меня даже воспитателем группы, несмотря на отсутствие у меня высшего педагогического. А то забираете биологию, где я все-таки специалист, агроном по образованию.

— Не знаю, не знаю, — отводила глаза Капитолина Ивановна. — Разговаривайте с директором.

— Детей я не брошу! — заявил Егор.

И эта фраза облетела весь интернат. Что мы, право, за мужчины такие, если слова боимся молвить! Разве таких уважают современные женщины? Обычно “тришкин кафтан” — часы и нагрузки на следующий учебный год — делили в начале весны. А тут Ева назначила педсовет уже сейчас, в середине зимы, в выходной день Егора.

Егор отгладил брюки, чисто выбрился, хорошенько прошелся по лицу одеколончиком, надел свежую рубашу — приготовился к бою. Банально, но куда денешься: покой нам только снится.

Забегала Клара Зарецкая, чмокнула в щечку Егора:

— Узнаю настоящего мужчину!

— Без юмора в нашем деле нельзя, — был ироничен Егор.

На такой педсовет притащились все до единого — еще бы, часы делить, вопрос жизни и смерти, тут уж промахиваться нельзя. Раздельно, как две стаи на едином древе, расселись “молодежный корпус” и “стражи порядка”. Администрация — в лице директрисы и завуча, официально именуемой заместителем директора по учебно-воспитательной работе, — восседала за столом, перед всеми. Ева была строга, неподступна, это был ее день.

— Итак, рассматриваем один, но, я думаю, достаточно важный вопрос, — поднялась Ева. — О распределении часов и нагрузок. Мы тут посоветовались, вопрос предварительно проработали, надеемся, наши предложения не вызовут особых возражений...

— Есть предложение — нет возражения! — выкрикнул неприлично Тиганов Егор.

Ева тут же сделала ему замечание.

— Вот списки, особых изменений нет, кроме некоторых,

нагрузки известны, остается их утвердить, — заключила свою прелюдию Ева.

— Это мы еще посмотрим, — громко, на весь зал, сказала Клара Зарецкая.

И собравшиеся загудели, заволновались.

— Тихо, товарищи, тихо! — постучала Ева карандашом по графину. — Переходим к главному.

И стала зачитывать фамилии, предметы, группы, часы, нагрузки. Все было выслушано в гробовом молчании.

— Есть, может быть, недовольные? — теперь уже Ева была иронична, зорко оглядывала ряды.

— Есть, — поднялся Тиганов Егор. — У меня, например, нет биологии, испарилась. Даете несколько часов по труду, зато биология отдана специалисту по истории.

— Чтобы догрузить историка, у него не хватает часов, — подала реплику Капитолина Ивановна.

— Н-да? — Егор был тоже ироничен, но выдержан. — Я вас слушал внимательно и, хотя вы читали быстро, все успел записать... А часть истории отдали учителю немецкого языка.

— Товарищи, это демагогия, — поднялась Ева. — Все мы знаем, часов по иностранному языку у нас мало, мы всегда догружаем учителя иностранного.

— Во-первых, нет такого языка — иностранного, — Егор стоял уже, как стена. — А, во-вторых, и самое главное: зачем же вы добавляете учителю немецкого историю, когда у историка ее не хватает? Не лучше ли сразу отдать учителю немецкого ту же биологию, которую вы планируете историк? Историк удовлетворен? Думаю, да.

— В самом деле, — оживились в зале. — Почему бы не отдать сразу?

— Но тогда получается, — продолжал Егор без остановки, останавливаться нельзя, прервут — не дадут досказать, — биологию отдаете неспециалисту, а забираете у специалиста. Вот и стородили, если можно так выразиться, городу. В Киеве бузина, в огороде дядька. А вы просите ваши предложения утвердить. Они, по-моему, нуждаются в серьезной доработке.

И зал взволновался, раздались голоса: прошу слова, прошу слова! Лед тронулся, речка пришла в движение. Каждый увидел просвет в конце тоннеля, понял, что и от него что-то может зависеть. Но Ева была бы не Евой, если бы сдавалась так просто. И у нее оказались “домашние заготовки”.

— Воду мутит этот Тиганов Егор Трофимыч, — стояла и она за свое. — У него, видите ли, забирают биологию. Да, забираем. Он не биолог по образованию, а агроном. Разница, думаю, есть. И еще. Весь специнтернат облетела его крылатая фраза: “Детей я не

брошу!” Уважаемый Егор Трофимыч, скажите коллективу откровенно, коллектив ждет: а чьи дети брошены вами в Ярище и Орле, разве не ваши собственные? А мы еще говорим о какой-то морали!

Егор сидел, не зная, куда деваться.

— Лицемерка, — громко, на весь зал, сказала опять же Клара Зарецкая. — А сама уже в третий раз замужем, и еще неизвестно, где ее дети. Тоже, может, по специнтернатам.

И тут зал загудел: по работе говорите, работы касайтесь, а то — личное дело. Ева не ожидала такого оборота. Села и сидела, как вкопанная: вот нахалка, ну и дела, до чего дожили! Кто-то пожалел ее: ударили, дескать, в материнское сердце, попали в душу, залезли с грязными ногами просто-напросто в человека. А учительница начальных классов, старенькая уже, взяла слово и, наоборот, с места пожалела Егора. Это же мука отцу, сказала она, не жить со своими детьми. И от таких ее слов грудь сдавило Егору, и, чтобы не видел никто, Егор отвернулся к стене, уперся лбом в нее, нажимал головой до боли в шейных позвонках, до помрачения, ему нужна была сейчас эта боль.

И тогда раздалась еще голоса. А учительница, та же — из начальных классов, вот что сказала:

— Мужики, — говорит, — баб своих бросают, и хорошо! А то за кого бы тогда мы и замуж-то выходили?

— А вот Еву мужик не бросит, — поползло ехидненько по рядам. — У Евы деньжищ полно, директриса. Да и видная из себя, представительная...

Егор слабо вникал в происходящее: собрание, называется, чем тебе не колхозное? И Ева уже не пыталась что-то решать, самое лучшее — спустить все на тормозах, удачнее выйти из ситуации. И она ухватилась за идею Тиганова доработать проект с учетом высказанных предложений и рассмотреть позже.

Молодые уходили с педсовета кучей, “стражи” тоже все вместе. Ева покидала ристалище одна. И только в парке за липами, заметил Егор, поджидал Еву муж ее, мужу она и обрадовалась. А Егору вдруг стало плохо. Так плохо, ну хуже некуда. Стены интерната давили его, ему не хватало воздуха, нужны были просторы, поля. Вот когда чувствовалось, что он все-таки агроном. И тут перед глазами замелькали, замельтешили, запрыгали белые мухи, горло сдавили зеленые, красные, бордово-черные кольца. Это сердце, опять он, этот его Серый Дятел! Хоть бы как-нибудь дотянуть до конца учебного года. “История — это интриги царей, — подумалось Егору, и в мерцающем полусознании уходили от него и сама Ева, и муж ее, и вся пошлая действительность. — А это литература — интриги людей. И женщин больше тянет к семейному очагу. Но правило не для Евы, — врожденная интриганка, она — эта наша “железная леди”!”

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Напылили кругом. Накопытили.
И пропали под дьявольский свист.
И теперь вот в лесной обители
Даже слышно, как падает лист.

Сергей Есенин.

I

Острые, емшанные запахи забродившей земли кружили голову. И Егор в эти дни просто не мог усидеть в интернате. Выходил на окраину Подшибякино, к центральной усадьбе совхоза, где, не зная выходных, уже рычали с утра трактора. Там, в полях, свершался извечный круговорот природы — разворачивался комплекс великих весенних работ.

Приберегая себя Егор без нужды теперь не толокся в учительской. Свои уроки биологии он проводил кое-когда прямо на приинтернатовском участке. Не по форме, правда, но Ева пока не указала ему: ну его, сумасшедшего. Егор рассказывал детям про землю, как она спит-просыпается — дышит, как смотрит на нас, думает про всех нас и заботится, когда мы все думаем про нее. Он отщипывал от плужного отвала, клал себе на ладонь — какая она комковатая, земля-то. Выдергивал прошлогодний осот — какой длинный, мохнатый стержневой корень, качает воду из земных недр, артезианская скважина. Трогал травинкой пчелу на вербе — это плюс шесть — плюс семь центнеров хлеба на каждом гектаре, а гречиха без пчелки вообще невозможна. Егор ворошил свои агрономские знания, и это его возбуждало, отвлекало от нездоровья.

— Карцев Вадим мечтал стать пчеловодом, — смотрел Егор в сторону кладбища. — Я разговаривал в совхозе с исполняющим обязанности директора, обещают несколько ульев. Мы создаем свою пасеку.

Егор сформировал бригаду из тех, что были покрепче. Сам брал лопату, расхватывали лопаты ребята. Огород в огороде, городок в табакерке. Они попробуют скрестить огурец с помидором, с луком — картошку, даже салат с лебедой. Мы проникнем в тайны Всеживи, природы-матушки. Земля не любит неживых людей, нерадеев, чужих, она отдает тайны только своим...

— Егор Трофимыч, вы нас не бросайте, — обступали ребята Егора. — Мы будем делать все, что вы скажете. Мы будем за вас.

— Детей своих я не брошу, — говорил после Егор и верил в это больше, чем в самого себя.

К следующему уроку Егор выпросил в совхозе технику. Пришел старенький тракторишко “Беларусь”, зато тракторист молодой. Кудрявый, огненно-рыжий, только что из профтехучилища — тоже местный кадр, абориген.

— Кто технику заказывал? — высунулся он из кабины.

— Мы заказывали, — подбежали ребята.

— Привет, — подошел к парнишке Егор и наклонился по-свойски: — Слушай, можешь показать технику, удивить нас чем-нибудь, кроме, конечно, своей красивой внешности?

— Могу, — сказал парнишка солидно. — А ну, посторонись, живо!

И тут же сорвал с места колесное диво.

— “Штопор”! — кричал он, заходя на вираж, как “истребитель”, совершая развороты, разворачивая колесами землю.

— Стой, стой! — махал ему что есть силы Егор. — Стой, дьявол, ребят всех передавишь!

— Ну? — спрыгнул с “Беларуси” парнишка.

— Молодчина, — хлопнул Егор его по плечу. — Годишься для авиации... Знаю, у тебя на уме въехать вон в ту кочегарку, а выехать через директорский кабинет.

— “Покатай нас, Петруша, на тракторе”, — кокетничали девчата.

А ребята так те держались за животики, Петя им тоже нравился.

И Петя Неверов катал всех подряд. И это был праздник. После чего одна половина интерната заявила, что они тоже хотят стать трактористами, а другая половина — летчиками. На что ребята из старшей, Егоровой группы улыбались снисходительно: они знали устройство дизеля.

Зато Ева, пронюхав, что Тиганов механизатору этому, совхозному хулигану Неверову, предлагал якобы въехать в кочегарку, а выехать через директорский кабинет, написала на Егора приказ. Вот что за подписью Евы красовалось на Доске объявлений:

“”Ввиду превышения своих прав и педагогических обязанностей, а также за нарушение общественного порядка на площади села Подшибякино, носящей славное имя МЮДа, приказываю: объявить Тиганову Е. Т. выговор”.

Приказ тут же слетел со стены.

— Ну? — встретила Тиганова в рекреации Ева улыбочкой Монны.

— Что “ну”? — удивился Егор Монне Лизе.

— Читал?

— Что читал?

— Приказ на Доске объявлений.

— Какой приказ? Нет там никакого приказа.

Ева к Доске — нет приказа, действительно. Новый приказ носил следы уже Евиного гнева и был с нижеследующей припиской: “А ввиду того, что Тиганов Е. Т. сорвал первый приказ директора со стены, приказываю: объявить вышеупомянутому Тиганову Е. Т. строгий выговор”.

И опять приказ тут же слетел со стены. Завуч застала на месте преступления Мусрепяна Давида. Что делать, при чем тут, оказывается, Тиганов Егор? И во изменение второго приказа Еве пришлось писать третий, отменяя строгий выговор, возвращаясь к первому варианту. И опять же приказ слетел со стены. Тут уж Ева решила сама подкараулить. Все повторялось, как в случае с черным крестом.

Приказ сорвал мальчишка, очевидно, все тот же. Ева бросилась за ним из кабинета, да на стул у входа наткнулась, коленку зашибла. Чуть ли не выругалась по-простому. А смех как грохнет на лестничной площадке. Господи, твоя воля! Ну что делать: опять писать приказ? А куда вешать? Просто ужас какой-то, не интернат, а черт знает что, дом с привидениями! Во что на глазах прямо превращается воспитательное учреждение. Нет, надо успокоиться. Людей не возбуждать, а то воспитанники и воспитатели, весь коллектив, как бочка пороховая...

Так Ева и не вывесила свой приказ. А невывешенный приказ считается не действительным.

Больше всего человек боится оказаться смешным. Ева теперь ходила и оглядывалась. Все ей что-то мерещилось: то улыбочка невпопад, то взгляд чересчур благожелательный. Вот до чего можно дойти за короткий срок. А мы говорим еще, хлеб у администратора легкий...

— Ева Власовна, — поинтересовался Егор неделю спустя, — а что такое МЮД?

— Не знаю, — буркнула Ева. — А откуда ты знаешь?

— Площадь же у нас носит имя МЮДа, — объяснила охотно завуч Капитолина Ивановна. — Международный юношеский день.

— Славное имечко, — усмехнулся Егор.

* * *

И Егор всерьез занялся здоровьем — и не МЮДом, а медом. Привез из совхоза десяток ульев, поставил их в том березовом перелеске, где когда-то охотились на Вадима.

— А денег на пасеку я вам не дам! — сказала, как отрезала, Ева. — Нет у меня денег на ваши фокусы.

— Хорошо, — спокойно ответил Егор. — Заграница нам может. То есть шефы — совхоз.

Вадимов перелесок — так называли они этот березнячок. И самым красивым местом была поляна над прудом. Здесь и очертили территорию, стали шалаш городить. Шалаш возводили такой, чтобы можно было не только спать в нем, но и поставить улья, прямо тебе омшаник. Забивали колья, оплетали толстыми дубовыми ветками — сырыми, гибкими и с листвой. Крышу обкладывали дерном, поплотнее, без зазоров, чтобы дождем не пролило, если шалаш, так уж шалаш, а не какая-нибудь временка. А когда выложили, то шалаш стал вроде как невидимкой. Есть шалаш, и нет шалаша. Так и слился с окружающей местностью, весь в траве растворился.

— Робинзон Крузо такой же себе построил, — заключил Егор. — Наш даже капельку лучше... Ну что кашу будем варить, не возражаете, хлопцы?

— Не воз-рожаем, — сказал в шутку Шурик Логинов, новый дружок Мусрепяна Давида.

Ели все вместе казацкую кашу с дымком, а сами на небо поглядывали — майское, с обманом. Эх, как врежет ливень! Бегом-бегом все, скорее в шалаш. Вот крыша и пригодилась. Сгрудились ребята, а он перед ними, отвесный, а он, обломный, а он — стеной сплошной. На землю и в землю сразу, аж с засосом, вода на глазах пропадает.

— Земля как пить захотела, сухмень, — заметил Егор.

И как запузырилось по лужам, так вскоре и грянуло солнце, ударили птицы, наружу вырвались запахи. Егор даже затанцевал, как дикарь. А ребятня закатали штаны и давай босиком носиться по лужам.

— Ну хватит, хватит! — строжился Егор. — Марш в интернат на полдник, а то опоздаете. А то Ева Власовна баньку вам почище этой устроит.

— А я Брежнева не боюсь, а я Брежнева не боюсь — бегал по лужам, ускользал от Егора Васька — тот первоклашка, что срывал Евины приказы. Увязался за ними, чертенюк.

— А Андропова? — изловчась, шлепнул по попке Егор его, неслуха.

— А я никого не боюсь, — встал Васька напротив Егора.

Ребята ушли, а Егор остался. Обделал лопатой земляной выступ внутри — спальное место, набросал туда свежих веток. Взял косу, пошел подкосил травки, плюхнул на ветки луговой тяжелой травы. И знатная же получилась постель!

Три ночи Егор спал под открытым небом. И засыпал, и просыпался под звездами, чувствуя себя — лицом-то ввысь — на дне бездонного космического колодца. Его вбирала в себя бесконечность, и он становился звездной пылинкой, микро- и макрокосмом, абсолютно свободным в этом абсолютно свободном

пространстве. Он — человек, он — дитя космоса, где все естественно, подчинено законам природы, а они бескорыстны, эти законы, ибо они для всего и для всех. А что же законы земные, людские? Отчего так часто их не приемлет натура? Оттого, что так часто они эгоистичны, придуманы узкой группой в своих групповых интересах — они не космичны. И жизнь в интернате, сама Ева, его вынужденное вращение вокруг нее — все неестественно, лживо. И что главное — он был здесь не свободен, все могла она, ее группа, над ним, он же им — ничего... И вот он на ветру голый, как бы без штанов. И паучьи глаза Евины, сама Ева стянули ему паутиной лицо, и он обирает, обирает ее, паутину, и не может, липкую, никак обобрать...

— Тиу-тиу-тиу, — это сигнал из космоса сменить обстановку.

— Пиу-пиу-пиу, пью-пью-пью-пью, — а это над шалашом — алябьевские соловьи, поблизости тут, из Алябьево, это его земное притяженье, обитель земная, земля.

И, значит, он, Егор, не только космический, но и просто земной человек.

Все эти ночи ни единого сновидения. Свалился и спишь себе, как убитый. Очнешься — какая-нибудь пичуга на ветке прямо над головой. Досчитаешь до десяти — двенадцати колен, а дальше уже не хватает духа. Для сна достаточно трех часов. Утром вскочишь, как новенький... И Егор с отвращением подумал о своей “судейской” комнате, о тех кошмарах, которые преследовали его там все эти долгие зимние месяцы...

На рассвете проснулся Егор, хлоп по одеялу — вода! Прямо лужица, хоть карпа запускай. И уже Алешня-речка журчала в груди, и в нем по крови, как по речке, сюда к нему, в настоящее,плыли письма Решетовского-старшего. И сидел посеред его “судейской” комнаты Коршунов из Волчьего Шляха, его судили за колоски. А в Орле, на опушке Медведевского леса, уже открывался памятный знак репрессированным...

“Отчего, — лежал Егор глазами в Большую Медведицу, — нас с отцом не было на открытии?... Жив ли Коршунов? Почему нет ничего от полковника госбезопасности?..”

Это “Спидола” известила об открытии знака в Орле. Егор наклонился и выключил транзистор. Под лежащий камень вода не течет. Раз десять бы уж смотался в Орел или хотя бы в Ярище. Сам бы, наконец, письмо написал полковнику. Но в том-то и дело, что ни времени нам не хватает, ни даже физических сил, а скорее духовных, натура не дозволяет, натуре легче хвататься за телефон. Вот почему о нашей “партикулярной” жизни потомки будут знать не из писем, а скорее из газет, если, конечно, кто-то захочет их написать...

С тем и встретил Тиганов Егор четвертый день своего

пребывания в Вадимовом перелеске, на интернатовской пчельне.

Вместе с Егором ребята врыли столбы, между столбами натянули полотнище, написали, как могли, покрупнее: “Пасека имени Вадима Карцева”. И повалили сюда к ним экскурсии. Приходили даже из другого интерната — “ослабленные”, с ослабленными легкими. Даже из общеобразовательной школы — посмотреть на их “сладкую” жизнь.

Явилась, наконец, принимать объект и Ева Власовна. Кровь ударила Егору в голову при одном только виде Евы. Он уже отвык от нее, от холодной ее недоступности. Как паутиной пачуей, как бочку железную обручами, стягивала она ему голову до умопомраченья. За какую-то зиму потерять все: свободу, себя, стать у Евы полукрепостным — нет, какво? Бежать отсюда — не то настроишься на них — придурком станешь или зачислят тебя в придурки. В конце концов, каждый должен делать свое дело, грядет время специалистов...

Егор поднатужился, развернул плечи — и обручи лязгнули, пали к ногам. Так Егор пересилил себя. И Еве преподнесли в качестве “хлеба-соли” крутобокую алюминиевую чашу с огромными, желтыми глыбами; истекая, медовые соты сами просились в рот. Осторожненько, двумя пальчиками Ева взяла кусочек.

— Губа не дура, — смотрела она на Егора. — А что — сами качали?

— Наивный вопрос, — пожал плечами Егор. — А кто же еще?

И тут Ева заметила полотнище у главного входа.

— А это зачем?! — округлились у Евы глаза.

II

Так и жили на пасеке. Домок не велик, да спать не велит. С Кузькой тут у них завелось кое-какое хозяйство: чашки-ложки-поварешки. Перед входом в шалаш всегда стояло ведро с ключевой водой. Ключ здесь нашелся случайно, под самым носом, возле пруда, в густой, непрямой куге. Сам родничок слабенький, едва шевелит донный песок, а живой.

Вскоре на пасеке появился еще один член коллектива — Шурик Логинов. Шурик вернулся из Белгорода, поступал учиться на пчеловода, да там пока в общежитие не принимали.

— Причаливай, — сказал Егор Шурику. — Лишним не будешь.

Хотя насчет еды было не просто. Это только так кажется, что в деревне ее навалом. В деревне, когда не имеешь хозяйства, ее просто нет. Крупа в “Товарах повседневного спроса” да кое-какие консервы, все тот же “Завтрак туриста”, но самое главное — хлеб, это есть. Ну а много ли надо? Проживем как-нибудь на подножном корму.

Стоило костру разгореться. Стоило закипеть кулешу в за-

копченом ведре. Стоило ложке упасть со стола. Как вот он, мотор, — зарычал, знакомая песня. Тот самый, голубоватый старенький тракторок “Беларусь”. Тот самый Петруша-летчик. А с ним и Акимыч — старый совхозный пасечник. Он помогает Егору осваивать новое дело — пчелиное производство.

До вечера было еще далеко, но с пруда уже потягивало сыростью, становилась влажной рубаха. Акимыч запахнулся покруче, не расставался с фуфаечкой никогда. Пока Егор колдовал со своим кулешом, наливал его черпаком прямо из ведра в алюминиевые чашки, Петруша выкладывал на стол хлеб, лук, редиску, всякую зелень.

— К столу, мужики!

Сошло первое впечатление. Сошло и второе. Егор наливал уже по третьей миске.

— Ты вот пчелками божьими занимаешься, — повернулся Егор к Акимычу, старому пасечнику. — А пчелка божья мудрость дает человеку. Ты мудр теперь, как аксакал. Скажи-ка, аксакал, пчелка рабочая из улья трутня выбрасывает, это зачем? Он же нужен был природе, пчеле?

Акимыч говорил не спеша, куда спешить, впереди целая вечность:

— Может, и нужен был пчеле этот трутень. Нужен. Да стал вот не нужен... По трутню пчелка себя проверяет, насколько способна трудиться.

— А что, интересно, чувствует трутень, когда его вышибают из улья? — подсел рыжий Петруша поближе к Акимычу.

— Привык уже. Эволюция, понял? — поднял Акимыч указательный палец. — Эволюция — штука великая, покоя не даст никому.

— А революция?

— Революция была, когда трутня в первый раз выбрасывали. Сопrotивлялся. А дальше привык... Так поставлено в здоровом, рабочем улье. А в больном, что ж, больной и себя-то не кормит. Помнится, у нас в совхозе был директором кандидат наук. А совхоз при нем доби́ли до ручки. Мало ему одной машины — другую давай, черную “Волгу”. На “Волге” раскатывал, а после ни “Волга”, ни “козел” не нужны стали. Заперся в кабинете, а кругом хоть травушка не расти, хоть грабь, хоть тащи — ему все равно. А уж коли директору так, то нам-то что, мы люди маленькие. Сегодня гайку спер, завтра трактор сопру. Сегодня на одном боку перемялся, завтра — на другом, так оно и идет...

Стемнело. Костер становился все явственнее, все рыжее, на черном фоне сделался ослепительным. Рыжая голова Петруши сливалась с косматым пламенем. Егор откашлялся, отсырела глотка, что ли.

— Болееешь нешто? — покосился Акимыч.

— Да так, — замялся Егор.

— Вот, подлечись, — выставил бутылку медовухи старый пасечник. — Хорррошо помогает!.. Бывало, гости к этому кандидату приедут, он их ко мне. Ну, подвыпьют и давай беситься, про баб начинают. Какие у кого были, да что они с ними делали. Порядочный мужик, хоть и сделает свое прямое мужское дело, да после брехать не позволит...

Ночь сгустилась в темную, непродыхаемую. Березы теснились неслышимо; осинки над головой едва шелестели, подрагивая; и звезды живыми фонариками жались сюда ближе к осинкам — глазастые, грудастые. “Чего не хватает им, — приглядывался Егор, — так это бабьего зада хорошего. Как девицы, тонковаты больно, прогонисты...” Сколько раз сюда до них от Подшибякино доходили какие-то крики, взрывы смеха, магнитофонная музыка, яро брехали собаки.

— Мне на пасеку надо, — позевывая, поднялся Акимыч. — Спозаранку друг один ко мне обещался.

— Проводим, — предложил кто-то.

Шли лесом ощупью, вытянув руки перед глазами. “Ты, Петруша, иди впереди, присвечивай шевелюрой дорогу”, — шутил Егор, по телу уже разливалась Акимычева медовуха. И, когда дорога вывела в поле, все облегченно вздохнули: не Петруша, а звезды присвечивали путь им в свободном пространстве.

Назад идти было легче. Необъяснимая тревога овладевала Егором по мере приближения к пасеке. Мерещились голоса, звуки магнитофона. И вот уже всплеск дикого хохота, улюлюканье. По поляне мелькали электрические фонарики. Кто-то плеснул на костер из ведра. Затрещала ткань у главного входа.

— Э-э-э-эй! — не выдержал, вне себя закричал Егор.

С гоготом тени канули в чернь.

— Это наши, подшибякинские, — рассердился Петруша. — Сегодня одиннадцатое? Ну вот — Петров день, “солнцекараул”, солнышко караулят.

— “Какое варварство, дикари! — поморщился Егор, как от зубной боли. — Ничего себе, обычай распространился: завязывают двери, выкатывают на дорогу телегу... В прошлом году из-за проволоки, перетянутой через улицу, в Подшибякино насмерть разбился мотоциклист...”

После праздника всегда грустновато. Ждешь-ждешь его, праздник-то, глядь, а он уже позади. Медовуха тоже кончилась. Но грусть в душе оставалась, человеку иногда нужна эта грусть...

Работы — вот чего сейчас не хватало Егору. Работа держала его, он был в тонусе, настоящий мужчина, охотник, который вертит во все стороны шеей, но, в отличие от женщины, жажду-

щей приближения нужного ей объекта, сам для кого-то опасность, если он настоящий мужчина. И если эта опасность вовне, он первым чувствует ее и подает всем сигнал. Сейчас эта опасность во глубине его: вроде как полководец без армии. Кто же он тогда — безработный?

“Все! — решил Егор. — Налажу маленько тут быт ребятам — смотаюсь туда: в Житень, Тигановку, Оболешево, Ярище... к чертям на кулички... Зимой интернат из когтей не выпустил, так хоть сейчас”.



Глупый жалуется, что не знают его, умный — что не знает людей. Надо было отвлечься, обмануть болезнь, переключить себя на что-то другое... Егор ходил в Подшибякинскую библиотеку. Здание новое, а книги старые, это прекрасно. Что ни говори, Подшибякино — бывший райцентр, в свое время люди умели собирать общественные библиотеки.

Егор набрал целую охапку литературы по психологии, педагогике, агрономии, экономике, даже по медицине.

“Собственно говоря, образование дает только систему, объясняя, что искать и где, в каких кладезях, — размышлял Егор, усаживаясь за книги. — Страницы же мы заполняем сами”.

Пень этот от крупного, матерого дуба Егор обнаружил за шалашом. Бывает такое, стоит в чистом поле красавец, один-одинешенек, как рекрут на часах, — памятник человечности. Все его объезжали при пахоте, не трогали плугом и, видя его постоянно, раздавшимся за год, отдыхали душой. И он рос, закладывая в кольца память... И вот расчищена крапива, устроен стол из этого пня.

Сначала Егор заметил разницу в цифрах: одно и то же явление, факт, а разными учеными выражается в цифрах по-разному. Почему? Потом понял: у ученых-медиков, например, это элементарно — одно и то же, но в разное время они ценили по-разному. Скажем, писали о пользе глюкозы — сахара. Историческая справка: как маленький кусочек спасал порой человеку жизнь; кто-то вроде Цезаря перед речью в сенате пил виноградный сок, который, как известно, действует благотворно на организм и т.д. Ясно. Затем тот же ученый через несколько лет пишет о вреде сахара. Историческая справка: как маленький кусочек медленно, но верно подводил человека к смерти; кто-то вроде Цурюпы, одного из вождей послереволюционной неразберихи, единственное, что мог позволить якобы себе в те голодные годы, так это кусочек сахара, который клал он в стакан своего якобы морковного чая и т.д. и т.п.

То же самое с мясом. Еще Балзак заметил, описывая глубокий Прованс, что уровень бытия существенно изменился, лица деревенских людей стали осмысленнее, когда в этой местности появилась лавочка мясника.

Размышляя, Егор шел теперь по тореным и нетореным дорогам, словно босой по шипам. Это было так интересно — сравнивать и выявлять для себя...

Несколько раз Шурик то звал пить чай, то просто стоял перед ним и смотрел, как он пишет, читает, вздыхает о чем-то, негодует, кого-то ругает и улыбается затаенной, но найденной истине.

Подходил и Кузька к Егору. Ткнет пальцем в книгу, крутит им себе у виска: брательник, мол, не свихнись. Егор похлопал его по плечу, показал рукой по направлению к лесу, сделал по пню двумя пальцами шажочки — иди, братец, ищи грибы. Сам не выдержал вскоре и отправился следом.

По лесам — по долам сколько стало шастать людей из города. Проводниками с ними бывшие деревенские — жертвы социальной несправедливости. За какую-нибудь услугу бывший селянин расплачивается дарами своей “малой” родины, показывая грибные, ягодные, рыбные, ореховые места. И вот только гриб вылез на свет белый, еще даже не огляделся, а они уже тут как тут, вот они. По поселку как раз пропыхтел в сторону леса “Москвич”.

Идут Егор с Кузькой за “Москвичом” — глазами постреливают. Голоса в отдалении — крикнет кто-то там и поджидает ответа. В лесу каждый больше слушает другого, чем самого себя...

А вот и первый гриб. Вот второй, слава богу. Колосовики, грибы-скороспелки, разведчики.

— Во-во! — показывает Кузька под бузину.

— Да-да, — кивает брату Егор. — Красивые какие!

Это поганки. Красные шапочки на высоких ножках, как на каблучках. Ишь, как вырядились, словно перед женихами невесты. А тронешь — руки после надо отмывать в десяти водах. А это вот да, это гриб! Вроде поддубешника, но куда мощнее и ярче. Желтовато-багрово-синий. Угрюм. Ух, как смотрит, сердитый какой! Колдун. Это гриб сатанинский. Бабка Галя, бывало, наказывала: долго на него не гляди, сглазит, шаркнул взглядом и дальше, иди себе не задерживайся.

Вернулись они на пасеку с полным ведром — поохотились славно. Только стали трофеи перебирать, как у главного входа раздался протяжный, требовательный сигнал.

— Кто бы это? — встрепенулся Егор.

А Лихопеков уже шел к нему, широко раскинув руки.

— Ну вот и я, — просто сказал Лихопеков. — Директором совхоза назначили, заждался?

— Ага, — засмеялся Егор, как ребенок.

III

Вышли на берег пруда. Вода в пруду стоячая, затянута ряской, и оттого пруд, как луг, зеленел перед ними — обманчив, попробуй ступни.

— Ряску всколыхнуть надо, — вертел прутиком Лихопеков. — Не так ли?

— Так-так, — живо сказал он сам же себе.

Это была его манера — спрашивать самого себя и самому себе отвечать.

— Откровенно говоря, у Бодракова одно хорошее качество, — говорил Лихопеков. — Умеет, гори оно, людей заводить, но как, какими средствами добивается результатов? Верно говорю, так?

— Так, так, — подтверждал Егор, хотя знал, сейчас Лихопеков сам себе и ответит.

— Так, конечно, — сказал Лихопеков. — Я думаю, а что, если бы директором сюда направили вместо меня Бодракова? Что тогда?

— А ничего, — улыбнулся одними глазами Егор. — Сколько их тут всяких перебивало, директоров-то. И все Бодраковы. Зачем же еще одного?

Лихопеков поболтал с краю прутиком — в воде отразились березы. Поднял прутик, опять затянуло все ряской.

— Видал? — повернулся Лихопеков к Егору. — Вот так-то... А что нужно? Спустить воду, почистить пруд. В большом смысле вернуть обратно райцентр в Подшибякино.

С Лихопековым Егору было хорошо. Он понимал Лихопекова: ему нужны были не столько его, Егоровы, суждения, сколько близкий, просто живой человек, на котором, как косу на оселке, он мог бы оттачивать мысли.

— Первым делом дорогу доделайте, — оперся Егор спиной о ракиту.

— Соображаешь! — хлопнул Егора по плечу Лихопеков. — Я из тебя руководителя сделаю.

— Хватит с меня, — сказал Егор сдержанно.

Подкатила потрепанная "Волга". Из нее вышел и уже шел сюда к ним Мартынов, исполняющий обязанности директора.

Вдруг, словно вспомнив что-то, он вернулся к машине, наклонился над багажником — извлек оттуда пяток белых грибов.

— Еду лесом, а они глядят, — положил их на стол Мартынов.

— У нас в Рязани грибы с глазами, — подмигнул Лихопеков Егору. — Вы что же в Кочетовскую бригаду? — спросил он Мартынова.

— Да.

— Возьмите меня бригадиром, — решился Егор. — Там же нет бригадира, я знаю.

Лихопеков с Мартыновым рассмеялись. А Тиганов Егор с беспокойством глядел на небо: из-за дубняка выпирала лиловая тучка, ведьма такая, ее еще не хватало. “Волга” взяла с места, и тут же стало свежо, потянуло нахолодалым. Егор приглядывался к тучке: только града бы не было. Закон подлости: как хлеба косить, так, нате вам, ломка погоды.

До свиданья, ребята! Прощай, интернат! Скажут после, был такой зигзаг в его биографии...

Егора назначили бригадиром в эту бригаду, самую дальнюю в совхозе, а именно, в Кочетовскую — молочные реки, кисельные берега.

Кочетовка не так давно была отделением, и довольно населенным. Однако сейчас речь шла о том, чтобы хоть как-то удержать здесь бригаду. Перед тем, как отправиться в бригаду, Егор Тиганов зашел в кабинет к Лихопекову. Лихопеков как раз вел трудные переговоры с работниками облпотребсоюза. Они приехали из Орла по поводу закрытия Кочетовской пекарни.

— Идет упорядочение кадров, закрываем мелкие предприятия, — излагала свою точку зрения представительная, чернявая такая женщина. — Ну зачем, скажите нам, мелкие пекарешки, когда крупный, современный завод в Алатыре не загружен?

Егор уже где-то встречался с этим. В Тигановке закрывали начальную школу и малышей отправляли в соседнее село, а учителя Селиванова, в конце концов, на тот свет.

— Копейки экономим? — вырвалось у Егора. — А людей с места сдергиваем, пролетят миллионы.

— Это нас не волнует, — тверда была женщина, представитель Орла. — Это ваши проблемы... Село отдаленное, хлеб залеживается, люди туда за ним не добираются, — объясняла она ситуацию как можно спокойнее.

— Ага, к ним туда не добираются, а они оттуда доберутся за насущным-то? — старался быть Егор хладнокровным.

— Да кто хоть это! — обратила на него внимание Лихопекова она, эта женщина, областной представитель.

— Бригадир кочетовский, — сказал Лихопеков. — Наш человек в Кочетовке.

— Тогда будем знакомы — Питецкая, из потребсоюза, — подала она руку Егору. — Завтра, значит, приедем к вам на пекарню, так что встречайте.

— Встретим, — мрачно ответил Егор.

Вышел из кабинета, подумал: “Ну вот, как тут и бывал... Не успел принять бригаду, как сразу в бой!” И тут же, из кабинета директора, уехал в свою Кочетовку на первопопавшемся тракторе. В Кочетовку, в Кочетовку — толстовские места!..

Вечером, когда все уже отходили ко сну, Тиганов Егор шел по Кочетовке, стучал по старинке в оконца, бросал кратко в приотворяемые двери:

— Пекарню закрывают! С утра — на пекарню, будем отстаивать.

— Пекарню закрывают! — ахала какая-нибудь тетка.

И в хате вспыхивал свет. Тут же, Егор это знал, старуха кое-как надвинет калоши и полетит к соседке поделиться нехорошей вестью. До глубокой ночи село будет переживать эту новость, пока к утру не вызреет желание защитить свое право на существование. “Не спросили даже, кто я такой”, — усмехнулся Егор и пошел искать теперь уже бывшего бригадира (Щиток его звали), чтобы тот определил его на постой.

Когда ЗИЛ с Питецкой на борту подкатил утром к Кочетовской пекарне, на подступах уже толпилось почти все наличное население Кочетовки. Старики и старухи, пожилые женщины и ребята. Поодаль — отдаленно держались Тиганов Егор со Щитком. С ободранного, ребрастого купола церкви, заполошно крича, кидались вниз черными тряпками галки.

— Где бригадир? — выбралась Питецкая из кабины.

Ближние кивнули ей на Щитка.

— Есть решение исполкома по ликвидации, — крутнула областная перед носом Щитка бумажкой, косясь между тем на Егора. — Забираем материальные ценности. Увозим формы, завод в Алатыре нуждается в формах.

Щиток развернулся и угодливо затрусил к пекарне, которая была на замке.

— Нет, позвольте, — преградил дорогу женщине из областного центра Тиганов Егор. — Закрывать пекарню нельзя, не разрешаем.

— Кто же все-таки тут бригадир? — с Егора на Щитка переводила взгляд свой Питецкая.

— Он! — указали люди, какие поближе, на Егора. — Он — бригадир наш, кто же еще?

И стали собираться за спиной Егора, вытягивались в линию, чтобы можно было, в случае чего, взять друг друга за руки, сделать оцепление.

Облпотребсоюзовская машина так ни с чем и уехала. Кочетовцы расходились возбужденные, сдруженные, кляня чем попадя прежнего своего “вунтера” Щитка, который, хоть и создал им вроде бы “жисть”, но ведь и сам, подлец, ворует, тащит, нет спасу, возами совхозное сено. И не подумал о людях, о хлебе

насушном, а ведь земля вертится, время идет. Машина, чего доброго, и обратно вернется, надо быть начеку, чтобы в любой момент дать ей опять от ворот поворот.

Недолго изучал Егор состояние дел в Кочетовке, хватило каких-нибудь полдня. А чего там, народу почти никого, на ферме, правда, еще кое-кто шевелится предпенсионного возраста. Кормов всегда было внатруску, до весны не дотягивали. Зато в свои сараи сена набито на два-три года вперед. На совхоз можно ли надеяться, надейся лишь на себя.

Ведет Щиток Тиганова Егора по Кочетовке, то в один дом заглянут, то в другой. Перед Щитком люди делают стойку, смотрят в глаза Щитку по-собачьи. У них тут свой язык жестов и недомолвок. Стоит Щитку мигнуть, как они с Егором тут же застрянут где-нибудь на второй хате, а после третьей, это уж точно, валялись бы где-нибудь под лавкой или на полу. Но Егор все эти штучки знает, зорко следит за выражением глаз у Щитка, только попробуй мигни, не распоясывайся.

В одном подворье, когда Щиток было ринулся по привычке: “А то по порог землю отпятим”, Егор поморщился: “Не надо, старая песня”, а сам подумал: “Овцы съели Англию, а среднюю Русь — бригадиры”.

К середине Кочетовки Егор понял, что Щиток ему в тягость. При нем люди костенеют, становятся неестественными, врут беспощадно, как перед какой-нибудь делегацией из-за границы. Изолгались, изворовались, черти. Что — голодные, что ли, тянете все себе, закрома — сеновалы трещат ведь, а вам все мало, все надо тащить. Зачем хоть столько всего, добра всякого, ведь уже старые. При Щитке про сено не стал спрашивать, все равно не скажут, как, конечно, и при Щитке. Однако отослал с глаз долой его по какому-то пустяку.

В Кочетовке прежде “люди скрозь жили дом в дом”. Хаты стояли так плотно, что меж соседними не проедет, бывало, телега. А сейчас они, как зубы у ветхой старухи: один в правом верхнем углу, а другой носит в кармане. Вытесняться семьи начали еще до войны, уезжали на Донбасс — в шахты, на заработки. А войной Кочетовку еще проредило, а потом еще и еще, вот какая она теперь — поглядите.

А этот домок исторический. Вернее, эта хатка из природного камня, наполовину обожженного кирпича в закаленную сиюнюю крапину — давнишней, видать, еще довоенной выделки.

Вышла хозяйка — по лбу полотенцем повязана. То ли голова болит, то ли от ветра степного. В белой расшитой рубахе и черной цыганской юбке, нараспашку баба. Подпоясана красным шерстяным кушаком домотканого производства. Та самая, что встретила им тогда с Лихопековым.

— Здорово, мать, — поклонился Егор. — Ай трепака трепать собралась?

— Ага, — метнула боковой взгляд старуха. — Ты бригадир наш новый, ехал тогда на “Волге”, с новым директором.

— В курсе, — удивился Егор. — Вырядилась как, гостей, что ль, встречаешь?

— Мильены едут, сынок, большие тыщи, — засмеялась, прикрывая пустой рот, старуха. — Просто люди и авторы.

— И что на этом живешь, подрабатываешь?

— Особо летом едут, — не слушала его бабка. — Как к богу, едут к нему прислониться, к герою нашему — Петровичу. Был “фалетором” у Лева Толстого. Свадьбу устраивал, как настоящую. А Петрович верхом был, “фалетором” (форейтором, значит). Вот туточки он и жил, наш Петрович. Недавно помер, он, бывало, всем всем людям про Толстого рассказывал, а теперь вот я про Петровича...

И, войдя к себе в хату, старуха низко, в пояс поклонилась в святой угол, где едва заметно горела лампадка, а вместо иконы висел портрет Льва Толстого. Егор огляделся: тесненький зальчик, низкие потолки. Окна невелики, но глазасты, свету порядочно. “Хитрая баба, — усмехнулся Егор. — Приплела куда Льва Николаевича”.

— Вишь, сынок, как угол отошел, — пожаловалась хозяйка. — Скоро рухнет, нечего будет показывать.

— Вижу, — вздохнул Егор, сам подумал: “Дай дела разгребу, смотаюсь туда к себе, на “малую” родину, в ярищенские места”.

— Заплошали мы, мать, — сказал он ей просто и откровенно. — Людям вера нужна, разуверились.

— Дай-то бог, — вздохнула старуха.

* * *

В соседнем отделении сенокос подходил к концу, а в Кочетовке еще и не приступали. Вернее, лично для себя люди уже накосили, не приступали косить Неручевский луг-заказник, пойму вдоль речки Неручи, сберегаемую обычно для общественных нужд.

Егор зашел на ферму — клетки были пусты, овцы на выпасе. И только в маточнике мелко переступали ягнята, они появились не вовремя. Барашки были до того хороши, ангелочки. Увидев Егора, они дружно заблеяли, как детишечки, детскими голосами. Егор не выдержал, схватил и прижал одного к груди. Соломенно-навозные запахи, тлея в воздухе, кружили голову.

— Нравится? — подошел овчар.

— Ага, — не удержался Егор.

И оба они, два крепких молодых мужика, рассмеялись, так что шархнулась поблизости овцематка. И возле оконца, при свете узнав друг друга, они бросились навстречу — Егор и, кто бы мог подумать, Самсон Мусрепян, Давидов отец.

— Тут и живешь с семьей? — спрашивал Самсона Егор. — Переехал сюда, в Кочетовку?

— Тут и живем.

— И Давид с тобой?

— И Давид.

Егор прошел по дворам: завтра косить Неручевский луг, косить пойму Неручи. Но утром никого в условленном месте не оказалось. Притащился только Самсон, даже Щиток не явился. Пришлось начинать заказник вдвоем с Самсоном. Целый день они махали косами, уже на закате вместе с усталостью к Егору подобралась одна такая идея.

— Хозяин! Хозяйка! Завтра на сенокос, — с вечера опять обходил Егор дом за домом, но теперь добавлял: — Передовому косарю учреждена премия — транзистор лучшей отечественной марки “Спидола”.

На сей раз к ним присоединился еще и Щиток со своим дружком-механизатором Селиверстовым. Огромным таким мужиком, вроде ярищенского Природина. Пока комбайн его не пригнали из капремонта, накануне уборочной у Селиверстова было свободное времечко. Отчего не помочь животноводам?

Селиверстов работал отдельно от них, за полдня смахнул столько, сколько они все втроем не скосили до вечера. В конце третьего дня в Кочетовку поступило сообщение, что на центральную пригоняют с ремонта комбайны, и Селиверстов подошел к бригадиру:

— Ну?

— Что ну?

— Насчет приза.

— Так ведь еще не все скосили.

— Формулировка-то какая?

— Какая?

— Лучшему косарю.

— Лучшему, да, броня крепка, — подтвердил Тиганов Егор.

И пришлось кочетовскому бригадиру расставаться со своим транзистором, который верой и правдой служил ему целый год жизни в Подшибякинском специнтернате, скрашивая чересчур спартанский быт, согревая музыкой в холодные зимние вечера.

Без Селиверстова, лучшего косаря, можно было косить этот луг хоть до белых мух. А транзистор, тью-тью, улетел.

— Что это ты невселый? — выражал сочувствие Егору Самсон. — Может, думаешь, не скосим этот проклятый луг и до нового года?

— Нет, Самсон, я не грустен, — улыбался Егор через силу. Это я так радуюсь. То в Кочетовскую начальную бегало шестеро ребятшек — могли школу закрыть, а то с твоими теперь будет десять учеников, это уже хорошо, разве не так?

— Так, так, броня крепка, — кивал, улыбаясь, Самсон.

Отдыхая, они лежали в траве на опушке, под огромной березой с истресканным, черным стволом. Лес-крупняк, взбираясь по склону, был гулким; хрюкни кабан, ступни на сучок — сейчас же эхо оторвется отсюда, покатится неизвестно куда.

“Любят они, его земляки, наши глухие местечки, — косился Егор на Самсона. — Ну, а как же. Тут у нас своему пятьдесят рублей прополоть гектар свеклы, а ихнему — двести... Со своего чего взять, а с человеком со стороны — договор дороже денег... Такая-то, братцы, механика. Национальная политика, называется...”

Руки приятно гудели, ноги разряжались от излишней биоэнергии. Здоровьишко после интерната поправлялось, белые мухи переставали мотаться перед глазами. Акимычева бутылка медовухи полуоттягивала карман. В настроении — Егор поджидал со спины не кабана, не хруста сучка, а такого заветного, привычного голоса леса — стука Серого Дятла. Если сейчас он где-то раздастся над головой, если лес исполнит это его желанье, значит... значит... Егор не мог пока вообразить, чего бы хотелось ему, что бы поставил он следом за этим “значит”. Уж больно ждал он, даже приподнялся на локте, даже привстал на колени перед березой. Выставил уши топориком, водил\туда-сюда, словно антеннами, вдоль долины реки Неручи, бегущей, согласно речной иерархии, то же самое в Зушу, чтобы с ней уже разогнаться в Оку-реку. И тут, далеко-далеко, где-то в устье, Егору послышалось то, что ему и хотелось услышать. Много ли человеку надо, чтобы он оказался вдруг счастлив?

А Егор загадал: придут ли сюда на луг кочетовцы, пробьется ли совесть у них человеческая, черт побери, или они в три свои “лошадиные силы” так и будут мудохаться с этим лугом до скончания века?

* * *

Ожидали, что на пекарню в Кочетовку не пришлют из райцентра ржаную муку, не подвезут и муку пшеничную обойную. И таким макарон задуют пекарню, так сказать, экономически. Но самосвал привез мешки из Алатыря, значит, деятели из потребсоюза отступили.

Егор приглядел себе брошенный домик. Привел его в порядок и перевез сюда свои вещички из интернатовской комнаты, где теперь оставались только его воспоминания. Даже Кузьку

Егор захватил сюда временно, пока с осени вновь не начнет падать интернатовская кочегарка.

Второй вечер сидел Егор под старой вишней, под которой обещали еще совхозные отцы-сонователи, и вырезал буквы на чистой, струганой доске. Нож был туповат, навыка никакого. Но умение работать по дереву заменяли Егору упорство и большие чувства, та глубокая мысль, что вкладывал он в свое ремесло.

Егор порезал пальчик себе маленько, и алая капля упала на белую, отфугованную доску. Пришлось снова бежать к Мусрепяну, снова строгать. Бумажку, с которой Егор сравнивал текст, сдуло ветром. И, пока Егор поднимал ее и клал прямо перед собой, во весь рост перед ним вырос Селиверстов со “Спидолой” в руке.

— Бригадир, — козырнул он шутливо Егору и включил транзистор, полилась плавная музыка. — Задание выполнено: Неручевский луг скошен полностью.

— Скошен? — удивился Егор не столько сообщению, сколько маршу Чернецкого по транзистору. — Как скошен, совсем?

— Техника же, — улыбался широко Селиверстов. — Сенокосилка! Попросил у ребят в соседнем совхозе, заехал с утра пораньше и вот до обеда смахнул.

— До обеда? — не знал Егор, как ему реагировать. — Погоди, я сейчас, и кинулся в сенцы за квасом, вчера ему по-соседски принесли ржаного, мучнистого, доброго своего кваса.

Когда Егор выбежал с кружкой, Селиверстов уже заворачивал за угол. А “Спидола” на скамейке громко говорила, трещала, верещала, надрывалась, рыдала, наверстывала свое, вещая по “маяку”, что где-то в центральной Европе на город упал самолет.

— А транзистор? — крикнул Егор вслед Селиверстову.

Селиверстов обернулся и с улыбочкой этак погрозил ему пальцем:

— Ты, Трофимыч, эти штучки брось. Я твою “Спидолу” не брал, ты ее мне не давал, понял?

— Ну иди хоть кваску хватани, — настаивал Егор. — Квасок мирровой!

— Кваску можно, — вернулся назад Селиверстов.

Селиверстов пил квас, и с каждым глотком, с каждым движением горлового яблока — кадыка, будто всасывал в себя самого не только эту тягучую, мучнистую, кислотовато-сладкую прохладу, но и все вокруг, в том числе и Егора, будто вместе с ним вовсе и не Селиверстов, а он, Егор, пил этот квас с устатку, будто и не Селиверстов вовсе прошел на косилке весь Неручевский луг-заказник, куда, бывало, хаживал, говорили, на сенокос к мужикам сам Лев Толстой. Не они с Селиверстовым уложили на пойме, угомонили буйные травы. Селиверстов пил квас, а Егору казалось, что не он, а уже Природин, дружок от-

цов, цедит эту земную тягучую влагу и близко совсем Берегиня, совсем близко Житень, рядом родная Тигановка. “Господи, да дай управиться с сеном, только бы вырваться — посмотреть хотя бы в глаза этой Стешке, паскуде!.. Вот какие они, эти бабы...”

— А это что ты тут деешь, Трофимыч? — кивнул, отдышавшись, на струганую доску Селиверстов.

— А вот читай.

Доска с вырезанными буквами легла в ладонь Селиверстова.

— “Здесь жил человек, который живым видался и беседовал, — кашлянул в кулак Селиверстов и, набирая звука, продолжил, — с самим Левом Толстым. Это Панин Иван Петрович — по прозвищу “Фалетор” — прототип, из крестьян”.

IV

Владения таковы, что пешком за день не обойдешь, но объехать можно. Бригадир на лошадке — его высочество, а без нее, как и все. Заглянул Тиганов Егор на ферму: лошадей здесь хватает, тябунятся себе, одичали. Никто их не поит, не кормит. Носятся по полям эти кони, крутятся возле скирдов, но ферму знают. Кочетовцы тут их и отлавливают, когда надо чего-нибудь привезти — сена или дровец, или использовать еще по какой-либо иной крестьянской надобности. Но ни уздечки, ни хомута, ни телеги в бригаде. Телега и сбруя у Щитка на дому, который, будучи бригадиром, выдавал их по слезной просьбе или по великой нужде. Это была его прерогатива, главное средство управления Кочетовкой.

Со скрипом, правда, но свои “личные” дрожки и сбрую Щиток все же выдал Егору, не отказал. А лошадь — что лошадь, бери, какая на тебя глянет. А какая глянет-то? Все опустили головы, все возьмь уперлись, все и в репьях, как какие-нибудь мустанги, — одичали, долгогривые, бегут — гривами колотят себе по спине. Егор пытался поймать одного конягу, другого — никак;

— Сейчас они гладкие, — взялся помочь ему Аверьян, сторож при ферме. — Это к весне не на что глянуть... Ездят на них, не берегут. Весной Щиток разодрал кобылу на гололеде — сдали на колбасу...

В упряжи лошаденка оказалась спокойной, трусила себе по дороге с мечтой о возвращении в прежнее свое, полудикое состояние. Видно, сторож попал на ту самую, что и возила бригадира Щитка.

Просторы вдохновляли Егора. И хотя поля были запущены — в сурепке и осоте, непосильны бригаде, хотя в нем и прорезалась мысль, что лучше бы уж сосредоточились на меньшей пло-

щади, зато имели бы урожай, а все равно ехалось Егору в дрожках, и все больше проявлялось в нем жалости к той самой кобыле, которую тут весной разодрали на гололедице. И ни дрожки, что гремели четкой, ни запахи зреющей ржи, по которым он изрядно истосковался, не могли отвлечь его от этого чувства.

За пшеничным полем у Неручи, где трава была особенно рьяна, Егор выпряг лошадку, пустил покормиться. И только после, сделав крюк, заехал на выселки. Пяток дворов, двери заперты. Лишь в крайней хате теплилась жизнь. Подле погребницы он увидел старушонку, топором-она колотила по не менее ветхой двери.

— Здравствуй, бабушка, — подошел Егор. — За что же на сверстницу-то так осерчала?

— Бабка Мотя я, — сурово сказала Старуха — усохла как, живые мощи, а была, видать, мощная, широкой кости. — Да вот дверь справляю, чтоб я на зиму закрывалась.

Егор взял из бабкиных рук топор. Да так и застрял до вечера, пока не подлалил не только дверь, но и крышу. Дело дошло до колодчика. Тут уж Егор не выдержал.

— А сельсовет что же? — спросил он в сердцах бабушку Мотю.

— У сельсовета средств таких нет, — подняла она на Егора личико свое в кулачок. — Помогают нас, старух, хоронить, и то ладно. Той зимой померла соседка, дак месяца два пролежала в сарае, пока земля не оттаяла. Могилку-то в мерзлой земле кому копать? Сельсовет, слава тебе, выкопал.

— И одна и живешь туту?

— Одна. Я безродная, никого не осталось.

— А чем кормишься?

— С огорода, милок, с огорода. А хлебушка, слава те: почтальонка привозит, Нюра — хорошая женщина. А то, когда и Иван, мужик ее, заглянет, не померла ли я? А я все живу, зажились... Не подумай что, у меня на такой случай припасено, есть красенькая. Щиток, бригадир, мимо не проезжает.

И бабка Мотя засуетилась, заторопилась в хату.

— Да ты что? — испугался Егор. — Ты что, бабуля, дорогая, хорошая. Коли так, никогда не заеду!

И смотрел он на нее с нескрываемой болью, и представилась она ему молодой да при силе: как плясала, наверно, "барыню", девкой хороводы водила, как в вечерних сумерках поджидала парня у копен. И такое вдруг бросилось в душу Егору, застучал клапан в груди — Серый Дятел ("да ведь так же где-то и моя бабулька, моя бабка Галя"), что уж и слыхом не слыхал, о чем говорила старушка:

— Жизнь-то хорошая, только страшно.

— Чего страшно, а? — спрашивал он ее машинально.

— Грабят старушек по поселкам, пензию отымают.

Тут в глазах у Егора и потемнело, и, не помня себя, может, впервые в жизни закричал он на весь двор, может, даже на все эти выселки:

— Я их из штанов вытряхну, скоты — скот.. лянд — ярдды!!

— Кого? — испугалась старушка.

— Подлетов этих дорожных, — успокаивал бабу Мотю Егор. — Бандитов всяких мастей. Не жалеют ни людей, ни лошадей.

— Про Щитка, что ли, ты? — удивилась старуха.

* * *

Уже через пару недель Егор настолько вошел в деревенскую жизнь, что вряд ли чем выделялся из кочетовцев. Пропах современными деревенским запахом из соларки, собственного пота, хлеба, биомicina. В этом плане — что Кочетовка, что Тигановка, что Житень — один леший. И только нет-нет да и вспомнится, как главным агрономом колготился он в Ярище, куда сразу после смерти матери вернулся из города. Но главным все ж таки вернулся, а не бригадиром.

А вот Самсону Мусрепяну не так-то просто войти было в круг. Самсон сбивался уже на втором куплете про Хас-Булата.

— Хас-Булат удалой,
Бедна сакля твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.

затевала вечером на завалинке соседка-старушка. И слова эти волновали Егора. Со своей семьей он жил сейчас в самой “бедной сакле” села, в этой неказистой хатенке. А “золотой казной” его были дети, которые враз дали школе половину состава, не дай ей пропасть.

А ведь поначалу Мусрепянов поселили в лучшей обители. Неизвестно, кому и для какой цели домяка строился. То ли Щиток, бригадир бывший, держал его себе на уме, сам замышлял когда-либо переселиться. В первое время Самсон раскинулся по всем помещениям, а когда пришла зима и грянули морозы, — комнат вон сколько, потолок не видать, зверская вышина, чем топить, — все Мусрепяны сбились на кухоньке, доживали кое-как до весны. И весной Самсон приглядел попроще хатенку. А домяку стал обегать за версту.

Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою,
И за это за все
Ты отдай мне жену!

Тут Самсон обычно смолкал. И если кто-нибудь из коче-

товцев интересовался, почему он молчит, Самсон все равно не сказал бы по правде, а ответил бы, что жена его старая, верная. А при следующем куплете Самсон опять вступал, подпевая с удовольствием:

— Лишь играла река
Перекатной волной.
И скользила рука
По груди молодой.

И если опять же по правде, то Мусрепяны ушли из большого дома не только из-за топлива и собачьего холода, а и еще по одной причине. О той причине предпочиталось не распространяться. А дело в чем, по селу стали поговаривать, что дом этот — “княжеские хоромы”. Выстроен дом на совхозные, общие деньги, а живет в нем какой-то Самсон, который ничем пока себя не проявил, не вложил труда и на сто рублей, чтобы владеть домом стоимостью в тридцать пять тысяч рублей. Самсон и виду не подал, что понимает. И свое переселение в “бедную саклю” объяснял уже не только собачьим холодом, но и еще отсутствием двора. А тут домок, хоть и неказист, зато есть угодня.

Но Самсон об этом говорить не любил. Строить отношения с людьми, оказывается, — это тебе не дом строить, даже не колодец копать, не сарай чинить, не асфальтировать по подворью дорожки. Когда Самсон обжил местечко, решил гостей позвать. Пригласил на шашлык и Егора Тиганова, бригадира.

Егор перелез через вишненник, означающий межу, и очутился у Мусрепяна. Запахи жареного лука с мясом заполнили двор. Они поднимались выше деревьев, до самой макушки старой, величественной груши, под кроной которой у костерка Самсон и колдовал над своим шашлыком. Егор вспомнил их совместную с Бронькой поездку к “асфальтировщикам”, к дяде Тиграну с его друзьями, и улыбался, глядя на проворство волосатых Самсоновых рук. Уж кто-то, а он, Егор, знал все или почти все о Самсоновом шашлыке.

Дым лез в глаза. Но, как ни в чем не бывало, Самсон вертел над углями нанизанные на тонкие деревянные палочки, заменяющие шампуры, снизки из мяса и лука. И, когда снизки начинали чадить, переворачивал их как бы между делом, успевая нанизать следующую, доставая мясо из ведра, а лук — из кастрюли.

Подходил народ — кочетовские мужики, кто усаживался молча за дощатый стол под грушей, а кто постеснительнее — и так стоял. Все следили за чародейством Самсоновых рук, удивляясь только, как это стряпней занимается не баба, скажи пожалуйста, а мужик. И, когда у кого-то в животе заурчало,

перекатываться стали камни, словно пролетка проехала по пустым сковородкам, Самсон провозгласил:

— Все к столу, мои дорогие!

И вручил каждому по увесистой снижке. Ушло первое ведро с мясом, ушло и второе. На воздухе мужики до того разохотились, что не заметили, как захмелели от укуса, от черного перца, от резкой колодезной воды. Появились бабы, стали толкать их в шею домой да тоже присели. А как присели, так и не встали. За отцом-матерью прибежали детишки, закрутились у родительских ног. И каждому нашлось от Самсоново угощение, то словечко материно, а то щелчок по затылку: кыш отсюдова, кому говорю, босота!

— По Дону гуляет,

кто-то проверил голос.

— По Дону гуляет казак молодой,

поддержали другие.

И грянули удалью, поднялись разом голоса до самого неба:

— О чем, дева, плачешь, о чем, дева, плачешь,
О чем, дева, плачешь, о чем слезы льешь?

А Самсон стоял, улыбался и совсем не плакал от проклятого лука. Хороша песня, хороши мужики кочетовские, хорошо сидим, братцы!

Цыганка гадала, цыганка гадала,
Цыганка гадала, за ручку брала.

И бросались с ободраной колокольни вниз галки и воронье. И “колыма” вспомнилась Егору, и костерок ночной, пляс заезжих цыган, пляска Стешкина и сама Стешка вся в затертых золотых, серебряных да жемчужных монистах, гибкая, как змея.

Споткнулися кони, споткнулися кони,
Споткнулися кони на этом мосту.

Самсон принес новую порцию, жир капал со снижки на траву.

— Не из баранины, правда, — признавался Самсон. — Из свинины. Опустела закуска.

— Что ж ты раньше-то не сказал, — засмеялся Аверка-скотник, он же пастух на овцеферме. — Я бы такой есть не стал, — и протянул еще руку.

И все грохнули на Аверкину выходку: вот глотка луженая, широка. Силен бродяга, хоть самого в закутку теперь к Самсону. Аверьян смолотил и эту снизку, и еще. Привлекая внимание, заголосил по-бабы:

— Меня сватали за целку
Дураки-родители.
В эту целку влезет церковь
И попы-грабители.

— Дурачок! — смеясь, толкали бабы в спину Аверку. — Вот нехристь. Либо этим летом дождя не будет.

— Вот примем Илью-пророка в бригаду, — ответил Аверке Егор.

— А зачем нам дождь? — кочевряжился Аверьян. — Дождь нам не указ, у нас на это дело свое начальство есть.

— Вот примем Илью-пророка в бригаду, — ответил Аверке Егор, — тогда и спрашивайте с него.

— Наш дождь и Москве не подчиняется, — упорствовал Аверьян. — А не то что Подшибякино. Гоняю овец по буграм, а он анадьсь бузует. С овец, как с гуся вода, все в шерсти, а мне?...

— А ты весь в брехне, — гвозданул кто-то, и все грохнули. — С тебя, Авер, тоже слетит, не задержится.

Допоздна говорили со звездами звезды, кочетовцы с кочетовцами, и Егор, обхватив угол, само собой беседовал с Самсоновой “саклей”.

И все бы ничего, да через неделю-другую Егор заметил у Самсона перемену в настроении. Побледнел тот вроде как и осунулся. Если бы пил, можно было подумать, что пьет. Да ведь не пьет особо, не курит. Смущаясь вроде, обходил Егора он стороной, и ребятишки, содома мусрепяновская, тоже вроде как перестали гаметь. Сам Самсон ни о чем не заговаривал, а спросить неудобно. И решил Егор поразведать все боковыми путями.

Зашел Егор к Аверьяну вроде бы по делам, а сам разговор все к Самсону клонил, не бывал ли Самсон у Аверьяна, не просил ли чего. Аверьян в сторону уходил, на крючок не ловился, и только раз Егор его подцепил, но и того было достаточно.

Вот, на ночь глядя, во двор к Аверьяну ввалились гуси. Гыр-гыр-гыр, целый выводок.

— Гладкие, — кивнул Егор на них. — На речке отмылись.

— Худоба, — не глядя, сказал Аверьян. — И Самсону так ответил, когда приходил.

— А чего приходил-то? Купить хотел, что ли? Так у него свое мясо, свинью же недавно зарезал.

— Свиною?! Тю-тю, улетела, — сказал Аверьян. — А гусей когда рубят? Поздней осенью, когда ледку глотнут. А сейчас и перо-то не выдерешь, остья.

“Значит, так — подумал Егор. — Сначала мое, а потом каждый свое? Самсон заколол кабанчика, все ели, всем было хорошо...” И спросил Егор еще кое-кого, не заходил ли Самсон и к ним. Оказалось, заходил к одной бабушке, у которой кур полон двор. Но бабушке больше нравится собирать яйца и продавать в Подшибякино. И Егор окончательно понял, отчего у Самсона такое настроение. Подумал, как поедет в Подшибякино, надо не забыть выписать семье Самсоновой ярку, пока Самсон тут не оперился.

Отчего Самсон откачнулся от Самсона? А вот отчего, — осенило Егора. — Безрассудство это — ставить в одну упряжку сильного со слабым. Самсон еще крепкий, здоровый мужик. У него ребятишки, их поднимать надо, к тому же человек на новом месте, это возбуждает, утраивает силы. А Аверьян подносился, алкоголик со стажем, вроде бы хозяин положения, а не тянет. Вот и нервы, того и гляди, возникнет конфликтная ситуация... Соображать надо, Егор Трофимыч, ты же теперь не агроном — организатор работ... И там, в интернате, вся беда была в том, что Ева, хотя и с высшим педагогическим, а не поняла, может, самого главного. Сама она — лошадь ломовая, битюг, владимирский тяжеловоз, не чувствует своей силы, а с кем дело имеет, с какими людьми? С детства не просто ослабленными — с откровенно слабыми, больными детьми. Им, действительно, нужен щадящий режим...

“Самсону надо держаться подальше от Аверьяна, — определил Егор. — Переселить Самсона сюда, в наш куток. Тут народ попроще, откровеннее. Такая-то, брат, механика. Бригадиром быть тоже надо умеючи”.

Вызвал Егора на центральную — в кабинет к себе Лихопеков, директор. Держал перед собой Егорову бумагу о выделении Самсону коровы, овечки с ягнятами, денежной помощи для обзаведения. Положил в папку ходатайство, вздохнул как-то устало:

— Помочь надо, конечно, рассмотрим... Но будь, Егор Трофимыч, поаккуратнее. Я тут разбираюсь с делами... В общем, прежнее руководство имело привычку приглашать людей со стороны, особенно с Кавказа... Дело в чем — в обоюдных денежных интересах, понятно? И это уже серьезно.

Егор вышел из кабинета Лихопекова и крайне задумался. Как о дружбе народов, так и о местном патриотизме. И скорее нюхом собачьим, нежели разумом, почуял, что через какое-то время все это так обострится, просто земля загорится под восклицательным знаком, превратив его в национальный вопрос.

Понятно, со своими договориться сложнее. А с теми и речи нет ведь о трудовой дисциплине. И это точно, гори все оно синим огнем.

V

Принесли телеграмму — срочная, текст такой: “Болею приезжай проститься тетка Прасковья”. Дрогнули руки у Егора Тиганова, а потом охлаживать стал себя, разбираться: телеграмма-то из Волчьего Шляха. А почему от Берегини? Из Волчьего Шляха, ведь, а не из Ярища. Что-то не то, а ехать все-таки надо. Что-то, вероятно, случилось. Ехать сегодня, сейчас же, сию минуту!

Попросил Егор у Лихопекова, директора, машиненку и в Волчий Шлях напрямки. Не через Алатырь — Ярище, как все ездят, а через мост на Оке, через Медведевский лесной массив.

За какой-то час доскочили. Бабке первопопавшейся крикнул Егор из кабины:

— Что тут у вас стряслось? Берегиня где... помирает?

— Какая Берегиня, где помирает? — остолбенела бабка. — Это Коршунов...сотона... Коршунова черти никак не возьмут.

Как сто пудов разом свалилось с Егора Тиганова. Но заехать к Коршунову все же решил. Как говорится, на всякий случай. Раз уж тут оказался.

Дверь знакома. На себя дверь. Посеред комнаты гроб тот самый на возвышении. А в гробу — человек. Однако теперь уже смертный дух исходит от него, это точно. Сатана! Кожа да кости, одни глаза сверкают из тьмы.

Окинул взглядом Егор потолок: та доска так и висела над гробом, одним концом свесясь.

— Ты, что ль, отбивал телеграмму?! — спросил грубовато Егор.

— Я, — просипело из гроба.

— Во-какой — Берегиню приплел!

— Не приехал бы, — повернул Коршунов голову. — Прости-и — кххх-и...

— За что простить-то? — усмехнулся Егор.

— За все прости... за деда... за всех... Трофима звал, не пришел, хоть ты... прости, Егор Трофимыч...

Егор стоял и терзал фуражку в руках.

— За себя прощаю, — отвернулся он от этого полутрупа. — А за всех не могу. У них и проси. У всех, кого ты на тот свет спровадил.

Лежал Коршунов в гробу и помирал теперь уж всерьез. Другой месяц мучился неумемной болезнью. Другой месяц ходил в гробу под себя. Смердил на весь Волчий Шлях. Лежал в своем логове, как его смерть-то. Ведь ни черта не пожил, не поел, не

попил всласть. Не жизнь — каторга. Так чего жалеть-то ее, тачку. Так уйдет ведь и не вернется. Не вернется ведь... Приходила Фрося сюда к нему — деревенская дурочка.

— На, возьми тряпак, — подзывал ее Коршунов и упрашивал. — Полежи рядом, ну полежи.

— Что я, дура тебе?

— Ну отмой хоть, штаны постирай.

— Обмою, а ты еще встанешь.

— Как же я такой перед богом предстану?

— Какой бог? — смеялась деревенская дурочка. — У тебя бога нет.

За червонец эта Фрося принесла тогда ему молока.

И вот Егор положил на грудь Коршунову кулек жамок.

— Г-га-а! — вскинулся тот, глянул диким взглядом, по-сатанински.

Коршунов стонал, хохотал, скрипел зубами, в пыль бы зубы истер — не хотел помирать.

Кто-то положил руку на плечо Егору — тетка Прасковья, Берегиня — Берегинюшка. Это ты, тетка? Тоже пришла?

— Вши, вши, вши кругом, блохи, — зашипел, заклокотал, засвистал горлом Коршунов.

— Это он бредит, — сказала тетка Прасковья.

— Ненавижу вас, ненавижу весь род ваш Тигановский! — захрипел Коршунов, поставил бороденку торчком. — И ты, Паша! Ты всю жизнь мне угробила, не дала жить по-человечески...

— Отходи поскорей! — поправила платок тетка Прасковья, обнаружив свои седые виски. — Отходи сатана!.. Ты не то, что колдун, нехристь и конокрад. Ты хуже!.. Господи, да отпусти ты ему душу грешную, — перекрестилась Берегиня и взяла топор в углу, подала Егору: — На! Оторви доску на потолке, чтобы не мучился.

Егор приподнялся на цыпочках и что было сил рванул свесившуюся доску с потолка на себя. Помер бы Коршунов, да черт с ним! И как только земля таких принимает...

Явилась к Коршунову тетка Прасковья и ни словом ведь не обмолвилась ни о Стешке, ни о дочке его Полинке — вот что убивало Егора. Просто жить не хотелось, так им овладело отчаяние. В общем, куда ни кинь — всюду клин. В руки Егору на днях попался Возрастной гороскоп. Оказывается, он со своим тридцатью одним годом вступил в восьмую жизнь, именуемую Собакой. Вот, оказывается, каков прогноз его, по каким рельсам будет катиться судьба... “Да шутки кончились, наступила пора безостановочной работы. Обязательна женитьба (иногда второй брак), рождение детей, их воспитание, создание прочного хозяйства и одновременно карьера, открытие своего дела, своей теории, своей практики...” А что у него? Вполне достаточно

воли, чтобы стать настоящим мужчиной? Пришел тот вождельный возраст, который считается вершиной, и что этому соответствует? Это было раньше — семь раз отмерь, теперь уже надо резать — действовать. А его Собака, несмотря на преданность людям, уже совершает вылазки в мир личностей, индивидуумов, но именно это грозит катастрофой...”

— Ого! Как круто, — сказал сам себе Тиганов Егор и крайне задумался.

И жизнь покатила, как по ступенькам, под знаком той же Собаки. Собака эта внесла в душу сумятицу, обнажила тревогу. По прежнему работал он бригадиром в Кочетовской бригаде. Но встреча с Возрастным гороскопом и Берегиной у Коршунова переломили в нем что-то, повернули глаза вовнутрь. Все приобрело теперь дополнительный, трагический смысл. И он уже не сопротивлялся надвигающейся катастрофе.

Молния ударила в крышу старенькой, полуглинобитной овцефермы, что бельмом в глазу торчала посерединке села. “Молоком тушить надо”, — заикнулся было Аверьян, как Егор Тиганов кинулся уже в само помещение. Выталкивал оттуда котных овец, а овечки-то упирались, таращили свои белесые, пустые глаза, дергали нервно носами. Косматый, красноогненный хвост стелился по улице.

Самсон уже выводил из своего сарая корову, которую недавно выхлопотал для него в совхозе Тиганов Егор. Хлюпкий, зеленовато-дымный язык лизнул кровлю — полосу рубероида, вскоре с угла уже сыпало острыми искрами, исчез в дыму верх сарая. Какое-то время Егор стоял и смотрел на это безумство стихии с безразличием. И тут, как ребенок — мелко-меленько, раскатил голосок ягненок. Егор вздрогнул, попытался согнать с себя наваждение. Затем все произошло стремительно, без малейшего страха у Егора за жизнь. Егор схватил ведро с водой и, пробежав по куриной городушке, очутился на крыше сарая. Плеснул накатисто на тлеющий угол, отшвырнул пустое ведро:

— Аверка! Черпай в кадушке и сюда давай!

Угнувшись — на коленях ладони, Аверьян таращился в приотворенную дверь. Сильнейший пинок ногой под задницу заставил бы его пролететь расстояние, равное Атлантическому океану, отсюда и до Америки, если бы Аверка не задел башкой дверной косяк. Задом-задом, перебирая пальцами по земле, не успев приподняться, Аверьян вернулся на прежнее место. Поднял голову — перед ним в мощных кирзовых сапогах возвышался, как столбище какой стоял, этот Самсон.

— На, — сунул ему ведро Аверьян.

Красно-косматая птица переметнулась через крышу, облизнула яблоню. Самсон с Аверьяном носились по крыше.

— Воды!! — бесновался Егор.

Главное — не допустить, чтобы огонь перекинулся на хатенку Самсона, а с нее пошел бы драть вдоль всего плана до самой реки, как в былые времена, когда от Кочетовки оставались одни головешки.

Подбегали бабы с ведрами, старики — с баграми. Все выстроились в цепочку; летали по рукам ведра — от колонки к сараю, от сарая до колонки.

Между тем, угол совсем отгорел. Рубероид, не выдержав давления температурой, вспыхнул по гребешку. Егор бежал по наклонной плоскости, и хрястнула под ним балка, взметнулся столб искр, и Егора на глазах всех не стало. Все просто онемели. Обмотав мокрыми тряпками головы, Самсон с Аверьяном бросились в дверь...

Обгорелого, в лохмотьях, — Егора выволокли и положили на траву. Когда совали в зубы кружку с водой, Егор застонал.

— Живой, — обрадовались кочетовцы.

— Балкой ударило, — стоял над Егором прокопченный Самсон. — Спину не переломило бы.

Сдернули дверь с сарая. Положили Егора на твердое, на эту дверь. Подскочил на “козле” Лихопеков, хотел отправить бригадира в “козле”, но тут подоспел зиловский самосвал. Увозили пострадавшего на самосвале — положили в кузов, как был, на двери.

И лежал Егор на двери перед приемным покоем, вверх глазами — взгляд в одну точку, и при дневном свете над собой видел звезду, под которой родился и которая сейчас никла, гасла, переставала светить...

— Потом боль в теле притупилась, и тело надолго сковало железом. И лежал он в “деревянном бушлате”, так что некуда было податься. И оставался лишь сон ему, сны, где он мог двигаться хоть куда, отсюда и в прошлое, из прошлого сюда в настоящее.

“Ну, здравствуй, — наклонился над ним знакомый хирург в черных квадратных очках. — Вот мы и встретились снова, от судьбы, братец, не убежишь”.

Белые стены, потолок над головой, медицинские запахи. Единственно новое, что вошло в Егорову жизнь, была эта картина. И если это не явь, а бред, то почему все так явственно?..

Вот он топчется с поймы речки Неруссы. Сено в валках, можно уже подгрести. И дождь надвигается, и весь он в дурных предчувствиях, молния, что ли, должна ударить. И тут его задержал на месте удивительный случай. Где-то в Испании на корриде бьются с быками люди, где-то на Кубе петухи с петуха-

ми, а тут у них, под Кочетовкой, бараны с баранами. Один — местных кровей, выходец из местного крестьянского двора, другой — из “ромни-маршей”, завезен сюда за валюту из Америки или с Британских островов, черт его знает откуда. И оба бойцы — упираются, не уступят друг другу, роют копытами землю, земля фонтанами бьет из-под копыт. Оба лоб в лоб, рога витые — перевитые, закручены возле глаз. “За что бьетесь, господа офицеры?” — “За землю свою”, — проблеял выходец. — “За то, чтобы слышно было до самой Атлантики”, — проблеял его соперник. И вот один заходит сверху, разгоняется с бугра рогами вперед и хрясь тому между глаз, устоять невозможно, ноги аж прогибаются. А другой встречает его, и ни с места, ни шагу назад, позади Кочеточка. Тот, который внизу, — это вроде он сам, Тиганов Егор. А тот, что с бугра на него, — не то Бодраков, не то Ева, не то вместе они, в общем, черные силы реакции в сером бараньем обличи...

— “Спасибо на двери привезли, на самосвале, — слышит Егор над собой голос хирурга. — Если бы на “козле”, могли поломать...”

Но вернемся к нашим баранам. Сколько можно бить по рогам? Будет он жить или нет? Жизнь или смерть — выбора нет, это только так кажется, что ты выбираешь, на самом деле выбирает судьба. И ты привык, что тебя выбирают, ты в длинном тоннеле, в конце которого — свет или тьма — в зависимости от того, что тебя выбирает. Тебя, естественно, тянет на свет, тебе хочется света. Почему? Из чувства противоречия или от неподготовленности к другим ощущениям? Смерть нам, живым, кажется страшной из-за того, что она перед нами такая урода, со ржавой косой, с отвратительным, захламленным кладбищем, с дикой пьянкой на поминках и скорейшим забвением, несмотря на родительский день. А жизнь, что она, наша жизнь? Вечный страх перед смертью, ожидание несчастья, всевозможных падений, гонка на гонке, лицемер на лицемере...

— “Доктор, он будет жить?” — это голос Лихопекова. И еще люди с ним — Аверьян, кажется, и Самсон, Кузька и Давид Мусрепян. — “Я буду, буду”, — шевелит пустыми губами Егор.

Поменяться ролями. На бугор самому. Вот его баран на горшке, разбегаются рогами вперед, свечкой ввысь, сейчас обрушится сверху рогами в рога, аж искры просыплются, и из искр возгорится пламя, и молнией ударит по крышам, вспыхнут по Кочетовке лампочки Ильича...

Всю жизнь только и делаем, что раздваиваемся и бьемся, бушкаемся сами с собой, и нет врага более опасного, чем ты сам себе, и нет друга более верного, чем ты сам себе. Закрутили-замотали японскими, магами. И когда ты веришь сам себе, то

Смерть в конце тоннеля кажется маленькой, с комара, который, может, однако, влететь в горло и испортить обедню. Но смерть тебе уже не страшна. Церковь умела готовить человека к отходу в иные миры, мы же и через аутренинг пока не способны на это, нам страшно. Боялся ли Смерти Христос, когда ему прибивали руки гвоздями к распятию, или уже не боялся, зная, что он бессмертен?.. Мы же в созданных нами комплексах больше боимся даже не Смерти, а всего-то начальства, болезней, катаклизмов всяческих, нищеты...

Все сон, все доктор в черных квадратных очках. Все то же ощущение борьбы. Это Бодраков сковал и положил его в “деревянный бушлат”. А Ева забивала гвозди в деревянную крышку. И он должен теперь лежать в гробу, как и Коршунов после смерти, — спокойненько, в исключительной благодати, ничего не желая уже, не протестуя. Иначе его “бушлат” поставят в сырое и темное место, чтобы он никогда уже не возникал...

Егор открыл глаза — тьма, сладковатый, гнилостный запах. Страх проникал постепенно в Егора. Он попробовал пошевелить пальцами — пальцы ощутили ткань, материю. Встал со своего ложа, повел рукой по стене: стеллажи, со стеллажа свешивалась безжизненная рука. О, ужас! Где дверь, где стены, пол со потолком, — перепутал все, дикость какая. Вот и живи, не зная границ между адом и раем, между собою и остальными. Наконец, он заметил связующую его с жизнью светящуюся щель, очевидно, дверь неплотно закрыли.

Кутаясь в белую простыню, как святой в саване, Егор ступил в яркую комнату. В углу за столиком сидели и выпивали двое. Мужики обернулись, и у одного кусок застрял... возле уха, у другого рука сама подлетела ко лбу.

— Господи, — прошептали оба, смертельно белые, пока Егор проходил мимо них.

Через день, уже в палате, в десятом номере, куда определили Егора, он был способен поведать об этом больным, и один из них, скорее всего руководящий товарищ, поморщился:

— Старая байка-то, парень. Это еще до ликбеза, по темноте своей верили... У нас из моргов живыми не выходят, понял меня?

— Понял, — вздохнул Егор, а сам подумал: “Мужик-то знающий, уж не из тридцать седьмого ли?”

* * *

Не одну неделю пролежал Тиганов Егор в Подшибякинской больнице. Наконец, ему было позволено выходить в сад. В сером байковом халате, как с тузом бубновым на спине, никуда дальше сада не двинешься. Под гипсовым корсетом во всю грудь

тело зудело, чесалось, не давало житья. Всякий раз зуд возникал в какой-нибудь самой неподходящей точке, где-нибудь промеж лопаток, куда по-нормальному не дотянуться. Егор чухался то об угол больничного здания, то об яблоню. Как у лошака у нерадивого конюха. Для успокоения нервов вспомнил Егор где-то читанное, как еще в восемнадцатом веке даже императрица Екатерина в пышных одеждах на пружинном каркасе, страдая и не желая терпеть, до чего, интриганка, додумалась. Приказала изготовить себе (нечто вроде указки) венецианскую спину и даже на госприемах, когда это надобно, изящно водила ею позади себя, успокаиваясь, почесывала промеж лопаток. Спицей Егор, естественно, не располагал, а вот веткой от колючей акации Егор себя пользовал, утешаясь в аутотренинге тем, что и у него, видите ли, тело просит того же, что и у высочайших особ, бригадир все же, не какой-нибудь смертный, вот и жив до сих пор.

Был уже конец августа. Стояли ясные, безмятежные дни. Летящая по воздуху паутина, цепляясь за лицо, раздражала Егора. Долготерпение — дно из первейших качеств русского народа, про себя сейчас он бы этого не сказал. Раздражение произошло само собой: не сумел распорядиться здоровьем, второй раз, черт возьми, попадает под нож хирурга.

Скамейка, открытая им в глубине сада, только подчеркивала одиночество. Егор упивался своим одиночеством, страдая не столько от опостылевшего режима больничного, сколько от осточертевшего нежелания быть с собой наедине. Устал, что ли, от этой путаницы, сумасбродного года? Без отца, без Берегини, без Стешки — без близких, дорогих его сердцу людей. Одиночество — это то, что съедает тебя и может окончательно съесть. Страх за жизнь миновал, оставался страх за Стешку, за дочь их Полинку, а где-то уж в самом конце и за собственное здоровье. Вдруг да не так срастется, какие тут костоправы-то. Но все это от праздности ума, от вынужденного неуделия. Однако не сошелся свет клином на Подшибякино. От больных, привезенных извне, чего только не услышишь: на Полтавщине, что ли, живет такой человек по имени Касьян. Так он втемную из черепков разбитый горшок в мешке, говорят, возьмет и составит. А уж человека прощупает, перетряхнет, столкнет с рук своих на ноги и иди, как новенький. Касьян внушал Егору кое-какое доверие, а это немало в его теперешнем положении. Нет хороших лекарств — лечись молодостью, милосердием и оптимизмом.

Прогудела мимо машина. Молодые голоса, инструментальный ансамбль. Скорее всего агитбригада из Алатыря. Как увезли райцентр, так и баяниста-то в Подшибякино не займут никак, а тут этот ансамбль. На днях в больницу к нему загляды-

вал Лихопеков. Под строжайшим секретом поведал, что в высших сферах начинаются изменения: в Подшибякино, вполне очевидно, в ближайшее время восстановят район. Эта новость слабо утверждалась в мозгу Егора: всего, братцы, за жизнь на-видались. Сколько можно туда-сюда, сколько всего сливали и разливали опять, трали-вали, разваливали. Удивляло другое: как, кроме него, могло просочиться такое в нижние сферы, в больничные палаты, по какому каналу, если это “совершенно секретно”, а все об этом только и говорят?

Корсет стягивал Егора. Егор двигался по больничному коридору или по садовой дорожке и был так неестественно прям, неестественно ровен, как прокурор в своем кресле, который вместо завтрака проглотил кодекс законов, чем в последнее время он, Егор, лично зачитывался (а нельзя жить втемную, чтобы не скушали) и потому нес этот кодекс в себе с такой неестественной гордостью.

Егор расстегнул на рубашке пуговицу, сами жадно раскрылись ноздри: из сада тянуло невероятным запахом яблок. В последние дни Егор принюхался к этому запаху. Входя в палату через распахнутое окно, запах зреющей антоновки заглушал собой тление бинтов и лекарств. За ночь что-то случилось с антоновкой, и вот ее запах уходящего лета, медленность травы, жужжание пчел, шелест вековых лип, детские голоса. Егор услышал, как вода в речке Неручи, словно яблочный сок, заплескалась на камне. Он не выдержал и сделал несколько шагов. В глубине сада был таинственный уголок, о котором он и не подозревал. медоносные травы, жужжание пчелы. И яблоня перед ним — чудо природы. Созрела, выдюжила — балерина, красавица! И даже годы, даже по-больничному серый байковый ствол не в укор ей. До чего удивительна, а плоды ее результат — желтые мячики яблок. От них-то и шел тот аромат, который сюда и привлек Егора. Антоновка старых, еще довоенных сортов. Давно ее вывел какой-то Антон, и вот она докатилась до нас. Скрижапель, может тоже хорош — в овечью голову, лежкий, но антоновка наша на все хороша.

Сегодня праздник у нее и у нас, стало быть. Егор встал под вытянутую по-над поверхностью земли тяжелую ветвь и через нее, плодородную, глядел в небо, в самую высь, в невообразимые пространства. Огромны, желто-туманные шары в бисеринках росы, и крупны же, светятся в этих своих зеленых листьях, и все в солнечных бликах на фоне синего неба. Ликование, апофеоз! Если и есть на земле счастье, — вспыхнуло и не погасало в Егоре, — то вот они, эти яблоки! Ради такого, чтобы только увидеть это, стоило мучиться год в интернате, испытывать унижения от Евы, пройти через Вадимову смерть, упасть в горящий сарай. Люди! Ради этого стоит жить...

Егор заторопился в больницу, чтобы привести кого-нибудь, показать, поделиться, иначе всего его переполнит, разорвет на куски. И тот, кого он привел, педагог из соседнего интерната, вдруг протянул руку к ветке и тряхнул ее с силой. Желтые, крупные мячики пали на землю. Слезы навернулись на глаза Егору. Педагог подбирал яблоки, щурясь, искал ответного взгляда Егора. А Егор все воротил лицо в сторону, показать боялся лицо. Праздник кончился, ветка была пуста...

Обидно даже не оттого ведь, что тебя кто-то не понимает, обидно оттого, что ты не понимаешь его. От жестокости устает, от зла становишься злобным. Может, единственный раз в жизни ему повезло, Подшибякино преподнесло ему этот подарок, эту яблоню в ее наивысшем взлете, чтобы он, Егор, не держал зла на Подшибякино. Если есть что-нибудь ближе всего к человеку, так это земля, из которой все мы вышли и куда все конечно, уйдем.

VI

И второе бабье лето отзвенело. Серебряной паутиной. Отколотили по земле яблоки, откурлыкали журавли. Рябина, калина, шиповник да боярышник отдали свои ягоды людям, и те досушивали их на железных противнях в печках или на вольном духу. Тополя были голы, просторы сквозисты. Легкий пар с утра подвивался около рта. Однако днем было тепло, вполне нормально в серой байковой больничной одежде, с которой Егор настолько сросся, что принимал уже за собственную шкуру в сером своем существовании.

Загребая ногами жухлые листья, Егор возвращался из специнтерната. Встреча с бывшими коллегами его не обрадовала. По сути молодежь разогнали. Клара Зарецкая уехала к себе в Казахстан рожать, Тонечка Фирсова устроилась учительницей начальной школы в соседнем селе, кто-то покинул Подшибякино, не отработав диплома. Взамен Ева набрала новых молодых специалистов теперь уже не с пединститутом, а после педучилища, так-то.

Все, однако, живо было в Егоре. Только что в спальном корпусе он стоял перед дверью в Вадимову комнату: живут все люди на земле — Вадима нет... И молодые педагоги трещали, как сороки. И были полны надежд, возбуждены предстоящим: посвящением Подшибякино в статус районного центра. Все это было, было, все это прошло...

Пока Егор валялся на больничной койке, Подшибякино пережило все стадии нового своего состояния. Создан был оргкомитет, оргкомитету передали одно из зданий специнтерната — с Евиной “стенкой чудес”. В

прошлом здание райисполкома. В нем комитетчики и заседали, работали на перспективу. Во-первых, под Дом Советов за садом уже расчищалась площадка. Трехэтажный офис намечено построить в кратчайший срок — в течение года. Во-вторых, строения под бывшими райучреждениями взяты на строгий учет, произведен ремонт, вот-вот появятся вывески. Плакала, Егор, и твоя комната. Скоро и ее покой огласит опять: “Встать, суд идет!” В-третьих, и что, может быть, самое важное — все окрестные хозяйства будут именоваться впредь не алатырскими, а, как и прежде, подшибьякинскими, дьявольская разница.

День Восстановления был назначен спешно, на завтра. Почему так? Никто толком не знал почему, начальству виднее. Однако рассуждать было некогда, подшибьякинцы ринулись ревностно исполнять указания, готовиться к празднику. В Подшибьякино должен был приехать сам Старик со своей свитой.

До торжеств оставались считанные часы — полдня, ночь и еще полдня. Именно за такое рекордное время селу, столько лет отстраненному от всего, надлежало придать достойный вид. Предстояло свершить еще один подвиг в летописи славных дел Подшибьякино. Годами создавались Авгиевы конюшни, а вычистить их собирались за ночь. Это мы можем, этого у нас не отнимешь, это по-подшибьякински.

Эпицентром взрыва народного ликования должна была стать площадь между Домом культуры, больницей и магазином “Товары повседневного спроса”, где волглыми тряпками срочно смывали засиженные мухами полки и заставляли свободное пространство банками, тем же неувядаемым “Завтраком туриста”, на который даже мухи перестали садиться, предпочитая отсиживаться на покупателях. Здесь, на площади, как грибы после дождичка в четверг, где-то в потемках, между заходом и восходом солнца, и должна была вырасти целая деревня из фанерных ларьков, можно назвать ее городом, городком, поселком; “волшебным дворцом”, а чего еще можно построить за ночь? Братцем Иванушкой, точнее Главным Распорядителем, был назначен учитель из Евиного специнтерната, показавший ранее себя как художник; в считанные дни он совершил чудо, изобразив “стенку чудес” и перекачав тем самым энную сумму из одного кармана в другой.

Председатель оргкомитета, которому с завтрашнего дня предстояло стать Первым, заявил ему во всеуслышание:

— Сколько надо материала — дадим! Сколько требуется людей — обеспечим! Главное — действуй.

К вечеру из окрестных селений стали сбегаться машины с рабочими. Из Орла доставили столько банок всевозможной краски, сколько местный хозмаг не подымал и за три пятилетки.

В эту ночь не спал Егор, да как можно. Высунулся в окно и смотрел, что творилось перед больницей на площади. Ночная картина разворачивалась перед ним, изумленным: Вавилон, смешение красок и языков под автомобильными фарами. Где-то в толпе мелькнул Щиток. В другом месте пробежал с молотком Самсон Мусрепян...

Еще засветло Главный Распорядитель приказал вкопать посеред площади столб, подвести к нему освещение. Председатель оргкомитета даже крикнул от удовольствия: далеко смотрит, подлец! И пошел домой спать: на завтра нужны будут невероятные силы.

Доверие воодушевило автора Евиной “стенки чудес”, и он положил на алтарь служения делу свой талант целиком. И работал теперь масштабно, из “стенки” делал “Площадь чудес”. С первого же сооружения, которое возвели ранее всех, надо было снять обезличку, придать ему больше выразительности, дать, наконец, имя. Сначала над ним присобачили вывеску “Ларек имени Чапаева”, потом подумали и оторвали, повесили более уточненную: “Ларек колхоза имени Чапаева”. Некрасивость какая-то, серость. Еще подумали, взяли и оторвали. И вот этот первый ларек Главный Распорядитель приказал выкрасить как-нибудь повеселее: сначала в бордовый цвет, затем пройтись по фону белилами — сделать белые пятна. Получился гриб мухомор. Наивно? Да! Но — детское восприятие, вот именно. Что вы понимаете, это же подсознание, высшие сферы искусства.

Все это так восхитило Главного Распорядителя, что следующий ларек он приказал выкрасить уже в белое, а пройтись по нему бордовыми пятнами. Присутствующие были изумлены, обалдеть можно, и только Егор достойно приветствовал осуществление замысла автора гомерическим возгласом из окна через площадь:

— Что-то я таких грибов не знаю, товарищ!

— Я так вижу! — отрезал художник, чем и утвердил собственное решение, дав указание следующий ларек красить, однако, под гриб боровик. Это, чтобы заглушить критику снизу, против “полковника” не попрешь.

Но такой краски не было — палевой, бледно-желтой с розоватым оттенком. “Крапlachком его, крапlachком”, — бегал вокруг художник и вдруг сорвался с места, помчался звонить Председателю, которому завтра надлежало стать Первым. Вскоре на площадь влетела грузовая машина и после соответствующей инструкции Главного Распорядителя пропала во тьме: на базу в Алатырь, на базу!

Стучали топоры, лежавшие до поры, по освещенной площа-

ди мотались люди, метали досками и молотками. Докладывали о готовности то одного, то другого объекта.

Ближе к рассвету, когда Егору уже стало скулы сводить от усталости, под столб освещения подскочил “козел”- броневичок. Это не выдержал Председатель, решил проверить “подвижки”. Глянул налево — на выросшую за ночь аллею из елок. Нормальненько, ели как ели.

— А это что?! — показал он на ряд ларьков справа от столба освещения.

— “Площадь чудес”, — раскрыл, наконец, свой замысел автор, явно гордясь собой и содеянным столь оперативно.

— Вижу. Определись, что они у тебя несут?

— Дары природы, — спокойствию автора перед лицом начальства не было предела. — Грибы, мухоморы то исть!

— Грибы?! — пошло пятнами лицо у Председателя. — Да ты что?!

— Как что?

— Поганки?! — явно не грибник был Председатель. — Перекрасить. Под груши, под яблоки, под картошку, под свеклу, под что угодно... А вы можете быть свободными, — ткнул он пальцем в живот работнику оргкомитета, стоящему рядом с представителем творческого труда. — Понадейся на вас, вы тут такое сварганите.

От такой демократической выходки Евин человек не стал свободнее. Наоборот, весь сжался, сразу стал крайне мал и задумчив, перейдя в знак вопроса, который, если на него плюнуть для смазки да еще поставить на доску чуть наискосок, с одного маху молотком можно вогнать в эту самую доску по эту самую шляпку. Так что прямым никогда назад и не вытащить. А мы еще говорим, что все знаем, что у нас, дескать, развитой социализм. И жаль стало Егору автора, ведь не придурок, тоже все-таки человек, а произведение его — эквилибристика, голая публицистика, если все творится на глазах публики, но никому нет никакого дела ни до чего, ибо все наше и ничего моего. И закрыл он окно в палате спиной, вроде как амбразуру, а потом пошел и лег на постель прямо в обуви: в ногах правды нет, и на завтра без ног нам нельзя, утро вечера мудренее.

Вот и настал День Восстановления. На домах с официальными вывесками заплескались флаги. Из сел и деревень потянулись машины с народом. Подшибякино опять становилось столицей. И на площади, супротив Дома культуры, магазина “Товары повседневного спроса” и больницы, в новопостроенных

и свежепокрашенных павильонах, в основном болотного цвета, закипела торговля. Алатырский райпищеторг реализовывал по натуральным, а не по взбесившимся ценам “давальческую” колбасу (это когда, как говорится, из мяса заказчика), свежее пиво из Орла, живого карпа из Курска и еще кое-какие продовольственные товары, а также промышленную колбасу, к которой подшибякинцы имели особое пристрастие, вероятно, больше из-за того, что ее не было в вольной продаже, и потому кровный, честно заработанный рубль пробуксовывал в этом смысле. Гвалт, крики и выкрики, смех сквозь слезы и слезы сквозь смех — вот это для подшибякинцев дело привычное. Подшибякинцы не то, что какие-нибудь москвичи, — очередей не признают, лезут всегда, куда выпрет, то ли в автобус, то ли в магазине, а то ли к такому вот фанерному ларьку за ржавой седлкой, которую и у себя-то в деревне покупать погодили бы, а тут готовы глаз выбить или юбку содрать. А где же еще, извините, попробуешь голос, проявишь характер!

На краю площади из струганых сосновых досок сколотили помост. Возле помоста сидел духовой оркестр, составленный из сотрудников Алатырского райотдела милиции, которые были так огорошены вниманием, что забыли о бдительности, дули каждый в свою дудку, а ведь перед ними были не только порядочные люди, но и потенциальные воры, может, даже крупные взяточники, не говоря уже о мелких жуликах и лицах с просроченным паспортом. Трубачей уже дважды полным составом подводили к ларьку с пивом, где перед ними все расступались, через головы им подавали полные кружки за счет спецфонда, чтобы ребята лучше дули не только пиво, но еще и марши Чернецкого, вдохновляя на профессиональную работу хулиганов и рецидивистов.

Столько народу сразу сроду не видывало Подшибякино. На автобусе подъехали овцеводы из Кочетовки, из Мыррино привезли полеводов, механизаторы села Узеления совали вперед своего товарища, у которого по пиджаку продолжала плясать медаль “За спасение на водах”. На телеге из Высокого прикатили старушки-песельницы, наши бабушки, обожают всякие сборища, до Москвы бы добрались. В одиночку и семьями все пришли-приехали, заявили на праздник. Даже родственники из городов и весей, даже друзья-товарищи. До того натерпелись без районного центра! Двое мужиков, на виду всей деревянной сцены, передрались, — оказалось, алатырец и подшибякинец. “Хватит нас в своем идее держать, — орал подшибякинец. — Попились кровушки, будет. Возвращайте средства!” — “Драли и будем драть, идивот! — не отступал алатырский. — Милиция у вас все равно будет наша, алатырская”. А в основном подшибя-

кинцы держались культурно, не лузгали семечки, они были теперь райцентровские. Егор взял у соседа по палате новый пиджак и шмыгал по толпе в пиджаке. Хоть в чужом, а все же не в серой больничной байке, в которой, как тузом бубновым, жмет по спине. От обилия лиц у Егора в голове притупилось, заболела шея, вертеть невозможно, визнавая знакомых.

Близко прошествовал новый заведующий почтой, теперь он будет называться начальником. Полуэктов, длинный и тощий мужик, как кабель связи, который то и дело пересекают, когда без всякого плана роют канавы то под водопровод, то под сточные воды, кому и где когда вздумается. Полуэктов остановил управляющего госбанком Колбасникова, всегда тут был, из района никуда не девался.

— Карп — рыба живая или мертвая? — спросил Полуэктов скрипучим голосом, видимо, недовольный тем, что его переводят сюда из Алатыря, сколько можно тут ночевать на столе своего кабинета.

— В каком смысле? — засмеялся бесхитростно этот здоровяк Колбасников от сладкой перспективы в связи с возвращением райцентра, обломится что-нибудь и ему как стойко все перенесшему.

— В смысле? — сверкнул ядовитым, мефистофельским взглядом старик Полуэктов, он был против всяческих привилегий. — На воде Курской атомной... замкнутый процесс...

— Ишь ты, — съехала улыбка с лица банковского воротилы. — А везут сюда к нам, в райцентр. А мы тоже не свиньи.

— А что свиней можно? — подвернулся Егор, нарушив интимный процесс их общения.

И оба глянули на него как-то странно: чужой. И застегнулись тут же на все пуговицы: шныряют всякие, вслушиваются в разговоры.

Особой кучкой у сосновых подмостков держались мужики повиднее и понаглее, как понял Егор, руководители хозяйств и специалисты. Дважды появлялся Лихопеков и куда-то исчезал. “Замотан, — отметил Егор. — То был один здесь, директор, фигура, а то вон их тут теперь сколько соколиков, и все в югославских ботинках”. По причине того, что на нем был пиджак с чужого плеча и штаны из серой больничной байки, а не какие-нибудь галифе, Егор постеснялся войти в круг коллег. Стоял в отдалении, но обрывки слов слышал. Как понял Егор, все ждали самого Старика из области, связывали с ним большие надежды в смысле развития...

Раздалась барабанная дробь, ясный блекловато-сатиновый день прорезали звуки горна. И на площадь ступили пионеры. Первой под знаменами прошла общеобразовательная школа. За

школой двигался интернат детей с ослабленными легкими. А уже за “ослабленными” вот он, и его специнтернат. Егор глазам своим не поверил: чуть сбоку чеканила шаг она, Ева. Отбивала рукой:

— Раз-два-три, раз-два-три...

— “По долинам и по взгорьям, — застучало Егору в виски.

Ева была на пределе оптимизма, всюду улыбалась. “Улыбается, — язвительно сказал кто-то в толпе, — а денежку в Фонд защиты мира зажала”. Егор захотел взглянуть, кто бы это сказал, но того уже и след простыл, скрылся в толпе.

Пионеры занимали отведенное место, ветераны с алыми лентами через плечо вставляли на почетную вахту. Напряжение возрастало, интересно, на чем приедет Старик — на белой или черной “Волге”, а то, может быть, и на “Чайке”?

Районное руководство с приглашенными сосредотачивалось позади сцены. Кто за кем, согласно иерархии: сначала народные артисты, потом заслуженные, а потом и артисты из народа.

И тут позади толпы взорвались ругательства, вопли взвились до неба: в ларьке имени Чапаева” кончилось пиво. Тут начальство заметило, что и у других ларьков, несмотря на указание, кипит всю внутренняя и внешняя жизнь. Черти их раздирают, надо им торговать, нашли, понимаете, время.

— Ну что это? — поморщился Председатель оргкомитета, которому через какой-нибудь час предстояло стать Первым, и постучал ключом по микрофону. — Раз-два-три... проба, проба... раз-два-три...

“По долинам и по взгорьям”, — опять застучало в висках у Егора.

И глаза его встретились с Евиными. Евины глаза округлились, и она... улыбнулась Егору. До чего день интересный, невозможно представить! Но на этом удивления Егора не кончились: через пяток минут он увидел, кто бы мог подумать кого, — Броньку Летягина! “Ты чего тут, прохиндей этакий?! Что тут далаешь?” Еще через минуту оба плечом в плечо, как все порядочные граждане, стояли у сцены и ждали появления черной “Волги”, а то, может, и “Чайки”.

— “Берегиня прислала, зовет, — шепнул ему на ухо Бронька. — Упала с лестницы, плохо ей.”

— Я из радио, радиокomiteта я, — вырос перед ними парень с магнитофоном. И сунул в нос микрофон: — Что вы ждете от нового района?

— Свежего пива.

— А серьезнее.

— Трех выходных в неделю, броня крепка и стежки наши склизки, — бодро ответил Бронька. — И это очень, очень серь-

езно... Во французском парламенте как раз обсуждают вопрос о трех выходных в неделю, а тут у нас в Подшибякино до сих пор дети имеют один. А как у вас в Алатыре?

— В Орле, я из Орла.

— А в Орле, наверное, два? Все же область.

— Нет, один тоже, — пролепетал несчастный корреспондент.

— Я так и знал! — взвился Бронька, измученный этим стоянием. — Бедные дети! Взрослые дяди отобрали день у детей, и теперь у них два.

— А вы, товарищ, сами откуда? — наконец, пришел в себя областной корреспондент.

— Оттудова, — подмигнул Бронька Егору. — Из сельской местности. Так у нас вообще никаких выходных.

— Как никаких? А Конституция — основной закон?

— Основной закон есть, а выходных нет, — сказал Бронька Летягин вполне серьезно. — И побочных заработков тоже, день и ночь вкалываем. Черные субботы и воскресенья...

Диалог, понятное дело, происходил во времена, которые несколько позже назовут “периодом застоя”. Хотя кое-какие, так сказать, “белые пятна” на бурой шляпе всеобщего “мухомора”, как например, вот это восстановление районного центра, и тогда были. Но это — исключение из правил, а правилом правило не кто-нибудь, а правительство.

— “Ну и что же, врач был у тетки Прасковьи-то? — подтолкнул Егор Броньку Летягина. — Перелома нет, так, может, ушибы? Да уж не ожог”.

Только Бронька собрался ответить Егору, как тут же, за поворотом, откуда видать Алатырскую дорогу, закричали:

— Едут, едут!

Сумасшедшие, — у Егора пиджак с плеча едва в пыль не свалился. Стреб Егор Броньку, а заодно и корреспондента и потащил в больницу к себе. Со второго этажа все видать даже лучше, чем если бы ты отирался возле начальства.

Показалась черная “Волга”. Пока она подкрадывалась к деревянным подмосткам, а остальные машины, целая кавалькада, останавливались позади, возле дороги, все, которые возле трибуны, затрепетали, как лепестки. Прослезились даже в наивысшем выражении чувств. Народ в основном бывалый — не одно кресло протерли в кабинетах, не один кабинет сменили, не один “козел” был загнан каждым в могилу вместе с его лошадиными силами, а тут затрепетали: вот он выйдет сейчас из машины — флагман.

Нога Старика ступала на здешнюю землю еще на заре его деятельности, когда от Подшибякино можно было еще чего-ли-

бо ожидать. Сейчас он выйдет и вынесет из машины свою пышную белую шапку, и пышная, белая шапка волос всколыхнется над всеми.

И все замерли. Губы растянулись в улыбке, лица настроились на одно выражение — маску надели. Начальство, милиция, депутаты. Застыли палочки над барабаном, липа нависла над площадью, тучка — над липой.

Вздых разочарования перехватил площадь: из черной “Волги” вылез совсем другой человек. Моложав, подтянут. Золоченые очки, а челюсть молотобойца. Хрящеватый, с горбинкой нос, хищные крылья ноздрей. Вздых разочарования длился до тех пор, пока представитель из Орла не сообщил, что он-де уполномочен шефом, а сам шеф, дескать, уехал в братскую страну представлять. “Тоже надо”, — вздохнуло местное руководство и, куда денешься, стало опять улыбаться. Сначала через силу, потом для воодушевления масс, а после так разошлись, что и не остановишь. И хорошо ведь, что без самого, так вольнее. Как говорят в народе, кавун с возу — колуну легче.

— “Слышь? — наклонялся к Броньке Егор. — Машина моя у хозмага, давай сбежим к Берегине?”

VII

Пока хлопотали на сцене. Пока местное начальство изображало радость и воодушевление по поводу и без всякого повода, расточая немотивированные улыбки. Пока милиция оттаскивала людей от ларьков. Всю площадь облетела фамилия представителя Старика и его должность — Матарас, заместитель председателя исполкома. В два ряда — областные и районные — встали на помост перед сотнями лиц. Если бы Егора поставили рядом, он бы чувствовал себя, как на эшафоте, это точно, а им даже нравилось — грудь выпирали, тянули из шеи голову.

— Пиждачок-то у него финский. Ездил недавно, возглавлял делегацию, — обратил внимание Егор на окно по-соседству, где один из больных, председатель колхоза, посвящал шепотом собеседника в “тайны орловского двора”. — И галстучек французский.

— Тоже возглавлял?

— С базы... А кинокамера — вишь, на стул положил? Японская, привез из Японии...

— Тихо, вы! — одернул их корреспондент из радио, аппаратуре которого мешали даже мухи, жужжащие над головой.

Матарас подошел к микрофону, на край сцены. Толпа сомлела от ненависти и любви.

— Дорогие товарищи! — глядя в горящие глаза, привычно

сказал Матарас. И забыл, что же дальше. И смотрел на ближние, на средние, на дальние головы, но на память ничего не приходило. И тут рука сама полезла в карман. Нашупала в кармане бумажку. Матарас, косясь, неумолимо клонился к карману.

— Товарищи... дорогие! — уже менее уверенно произнес Матарас и решил, дай покамест скажу от себя. — От имени и по поручению областных организаций, открывая это высокое собрание, позвольте и от вашего имени выразить слова глубокой благодарности нашей верховной власти во главе с верным продолжателем дела предыдущих товарищей...э...э... за то, что мы собрались сегодня здесь и, думаю, не ошибусь, если выскажу наше общее мнение и пожелание всем нам еще больше трудиться на ниве всеобщего блага, во имя процветания всей нашей многонациональной страны, вошедшей в период развернутого строительства развитого социализма, а также повышения благосостояния каждого... каждого...

На этом Матарас обычно заканчивал, когда открывал менее значительные объекты — например, культпросветучилище или новое здание ДОЦа — деревообрабатывающего цеха в г. Орле. А тут все смотрели и ждали: что дальше? И Матарас уже откровенно стал подглядывать себе в ладонь, на которой лежала бумажка:

— Наши новые мероприятия по поддержанию мира и безопасности, наши последние заявления свидетельствуют о той высочайшей степени ответственности, с какой мы все, безусловно, поддерживая наше правительство, относимся к сохранению шаткого равновесия на планете, к политике мирного сосуществования разных социальных...

Воробей влетел в окно и капнул Броньке на шею. Бронька выругался, Егор его осадил.

— Да тихо же, тихо, пишу ведь! — взмолился областной корреспондент, закрывая телом магнитофон.

— Как ты здесь оказался? — шепотом спросил Броньку Егор.

— Да за тобой, за тобой же приехал, черт! — засмеялся Бронька. — Стешка послала...

— Товарищи! — передохнул оратор, начиная следующий виток. И вытянул прямо перед собой бумажку уже без всякого стеснения.

— “Петр Первый запрещал говорить по бумажке, — наклонился к Броньке Егор. — Дабы дурь каждого всем видна была”.

— Мы все собрались по такому значительному поводу, как открытие нового, вернее, восстановление Подшибякинского района...

— “Наконец-то. Спасибо за закрытие, спасибо за открытие”, — наклонялся теперь уже Бронька к Егору.

— “А Берегиня что? Что, говорил, Берегиня?” — не унимался Егор.

— В этом значительном акте выражается забота о дальнейшем расцвете вашего края. Ведь что там говорить, мы устали от лжи демагогов, которые обещали народу многое, но ни на йоту не продвинули вперед ни демократию, ни народное благосостояние. Еще на нашей памяти дома в деревне топили соломой, где вы теперь найдете дома, крытые соломой? В каждый дом пришел уголь и газ. Наши достижения налицо, и только враги могут не видеть, не желают видеть прогресса...

— И все же зачем ты, Броня, тут оказался? — ехидно спросил Егор Бронислава.

— Да Берегиня же, Берегиня говорила, за шиворот его и тащи сюда! А не пойдет — силком тащи, не то пропадет, паразит, черт тебя подери! И Стешка, говорит, без тебя, паразита, совсем никуда...

— Да тихо же, тихо; пишу ведь, ребята!! — возопил корреспондент.

— Вспомните только, какие разрушения оставила нам война, — выжимал слезу Матарас. — Я вижу в первых рядах ветеранов с орденами, медалями. А ведь многие не вернулись с войны. И дождем льются слезы над могилами наших людей по всей Европе. А тут по деревням обелиски с длинным перечнем павших. Только наша область потеряла погибшими больше, чем Соединенные Штаты во всей мировой войне. Может быть, поэтому до сих пор орем — плачем по нашим потерям...

— Гляди, — заметил Бронька, — бабы взялись за платки.

— Наш народ добрый, чувствительный, — ответил Егор. — А все же зачем я тетке Прасковье понадобился?

— Ну, Стешка бывает у тетки, Стешка! Черт подери, неужели неясно? Детей производить на свет мы умеем, а вот насчет всего остального дебилы.

— Ох, яти вашу мать! До чего же народ пошел, хоть не проси. Ведь пишу же, пишу!! — не на шутку разозлился, просто рассвирепел корреспондент.

— Где вы найдете еще такую любовь к родине, такой патриотизм, как у сельского жителя! — восклицал Матарас, ощущая безусловную поддержку одних, они прямо глазами ели, ловили каждое слово, будто все это впервые слышали, открывали для себя какие-то истины. А у других была глухота, лица непроницаемы, стянуты губы гримасой, на таких Матарас избегать смотреть, больно вышколены. — Сельский

житель любит свой берег речки и туманы синие за окном... — едва не запел Матарас. Он опять пихнул бумажку в карман, и его понесло, куда захотело, но в пределах темы и той системы, в которой он был, как рыба в воде. — И великим наш народ сделала не только русская печь — по-английски “камин”, это с точки зрения тепла и пищи, материальной стороны. Но еще и духовная сторона — наша русская песня, которая, да что греха таить... ушел район — перестала звучать и песня. Открывая район, мы надеемся, что и народной песне вольнее станет на наших деревенских просторах, среди наших полей и ферм...

“Милая ты, моя говядинка”, — вздохнул Егор и сказал Броньке вслух: — Эх, дубинушка, ухнем! Без дубинушки мы не можем.

— Кто-то им петь тут мешал, когда райцентр был в Алатыре, — усмехнулся Бронька и стал в позу, протянул по-шалапински на весь коридор: — Много песен слышал я в родной стороне-е-е...

— С ума сойти! — аж заскрежетал зубами областной корреспондент. — УФФФ!! — взмахнул он магнитофоном над головой — то ли тут же о пол его, то ли в окно.

— Да ты что, парень?! — подскочил к нему Бронька. — Нервный, да? А чего на такой работе работаешь?

— Сельские труженики — опора государства, столп нации, всего нашего общества, кормильцы в самом серьезном смысле этого слова, — повело Матараса на новый виток. И одним он лил бальзам на душу, другие стояли мрачнее тучи, спасу нет, надоел. — Попробуйте вырвать крестьянство из наших общих рядов, образуется незаменимая брешь, куда готовы прорваться всякие слухи, домыслы, сплетни. А мы подняли крестьянство на такую высоту, на какой оно никогда не бывало. Посмотрите, сколько из вас депутатов от сельских до высших органов власти, сколько отмечено орденами и медалями. И мне думается, кормильцы ответят за это преданностью, массовым трудовым героизмом...

— Бросай бригадирство и давай домой, — заявил Бронька решительно. — Пока тебя тут не доконали.

— Подумаю, — вздохнул Егор. — Нельзя же вот так, с кондачка.

— А чего думать-то, броня крепка, — толкнул Бронька локтем Егора, попав в гипсовый корсет.

— Крестьянскому здравому смыслу мы отдаем дань уважения, когда принимаем важнейшие государственные решения. — Матарас никак не мог остановиться, конец речи был где-то близок, а концы с концами никак не сводились. — Трезвый подход

к сложным явлениям жизни, неподдельная любовь к земле, ко всему живому...

В этот момент на нос областному представителю упала малявочка-капля — то ли от того же воробья, что немного раньше Броньку в больничном окне поздравствовал, а то ли из тучки. Приподнял голову Матарас — действительно, тучка. И, увы, далеко не золотая, а вполне грозовая, набухшая. “Сейчас, или никогда”, — забеспокоился Матарас, ведя ладонью по югославскому своему пиджаку. И тут же поставил точку:

— Приветствую и поздравляю вас, товарищи, с успешным подъемом зяби!

И, как соску, отпустил микрофон.

Корреспондент записал еще Председателя оргкомитета, ставшего только что Первым. Остальные ораторы — свои, неприезжие, обойдутся. У корреспондента руки чесались, хотелось сейчас же проверить, что у него получилось. Он перемотал пленку обратно, запустил напрямую. Егор с Бронькой склонились над аппаратом.

— Дорогие товарищи! — в потрескивании, неясном гуле толпы раздался представительный голос Матараса. — От имени и по поручению... мероприятия по поддержанию мира... “Стешка послала”, “ятить твою мать”, — это выругался сам корреспондент.

— Видали, какая акустика? — выключил он свой магнитофон. — Говорил же вам, просил... Надо стереть.

— Не надо, все по пути, — взмолился Егор.

— Наши достижения налицо, — продолжал Матарас, и только враги могут не видеть, не хотят видеть нашего прогресса, “и зачем все же тут оказался?” — это уже голос Егора.

— Что вы мне натворили! — вспыхнул областной корреспондент.

— ... орем-плачем, — чеканил далее Матарас, — по нашим потерям, “Берегиня говорит... ”дебилы”, — это уже опять голос Броньки.

— Кто “дебилы”? — зелеными, злыми глазами воткнулся в них корреспондент.

— Да это мы про свое, — сказал примирительно Бронька. — А ты прямо сразу на пленку, в эфир, шустрый какой.

— Знайте, что говорите, — не сходила строгость с корреспондента. — Вы думаете, если праздник, то все можно? Праздники для того, чтобы показывать достижения, а не уродства.

— Видал? Броня крепка и стежки наши склизки, — шелкнул Бронька Егору по гипсовому корсету. — Нас, брат, не запугаешь, понял?

— Да я не в том смысле, ребята, — смягчился областной радиоорганизатор. — Я в смысле передачи. Чтобы все было в ажуре, за что же мне гроши платят?

— Ого! — ткнул Бронька пальцем в небо: вот-вот грянет гром.

И полетел к киоску, пока дождем не разбавило пиво.

В тот же день, к немалой гордости жителей, из Подшибякино на Орел в первый рейс вышел автобус. Так районный центр напрямую связан был с областным. Для кого как, а для подшибякинцев это событие, равное выходу человека в открытый космос; пешком — туда и обратно — в Орел, как и на Марс, не сходишь.

VII

Самсон заходил проведать Егора в больнице — бутылочку, Щиток — бутылочку, из интерната девчата забежали — и те принесли бутылочку. Вон их сколько скопилось у Егора в палате — целая батарея. Главный врач при обходе заглянул за тумбочку, насупился:

— Артиллерист?

— Почему?

— А батареей командуешь. Выписать!

Так Егор оказался, наконец, вне больницы. Осточертела ему эта больница! И сразу же он решил отправиться домой к отцу, в родную Тигановку. Однако, к его неожиданной радости, отец встретился ему уже в Алатыре, на автовокзале.

— Отец! — окликнул Егор, видя его со спины. И похолодел: уж не обознался ли, как тогда Вадим Карцев?

Но нет, это был натуральный Тиганов Трофим Петрович, честь честью, собственной персоной. И, чтобы предупредить естественный вопрос о здоровье, Егор перебил его собственным. Все это время, — и пока лежалась в палате, и пока ехалось из Подшибякино, — зрел в Егоре, вызрел, в шило-таки превратился вопрос этот.

— Слушай сюда, — сказал Егор отцу как-то оглядчиво. — А письма дедовы где, так и пропали?

— Да они никуда и не девались, — ответил отец. — Забыл тебе написать... Сунул их в шифоньер, а они — за шифоньер.

— Ну, а тот полковник ничего тебе не присылал?

— Ты о чем?

— Ну, о том! О письме от полковника. О Решетовском.

— А-а, нет, сынок, не получал.

— И я нет... А махнем-ка давай туда, пока мы с тобой тут, на вокзале? Вон как раз на Орел и автобус.

Живописно, в картинках, Егор рассказывал теперь уже знакомому полковнику госбезопасности о смерти старика Коршунова.

— Разумеется, мы в курсе, — сидел полковник по-прежнему спиной к окну, а они с отцом — лицом к свету. — Но за рассказ, столь психологический, разумеется, спасибо... Игнат Коршунов, между нами, сволочьё был препорядочной... Да, а вот о Решетовском — вашем ближайшем родственнике — пока сообщить ничего не имеем. На наш запрос ответ еще не поступил... Да, но если вы уже в курсе, к тому же Коршунов, действительно, умер, мы можем ознакомить вас кое с какими документами... Разумеется, связанными с судьбой вашего отца, деда... Разумеется, не для широкой огласки... хотя это, впрочем, уже история...

Полковник в своем цивильном костюме не был похож на полковника. Но вот он встал, прошел к стеклянному шкафу, извлек из множества дел нужное ему "дело Решетовского". И Егор понял, что он все же полковник.

— Вот, — вытащил он из "дела" листок. — Вам, Тиганов Трофим Петрович... Если бы не эта бумага, вы, очевидно, носили бы другую фамилию, да и отчество.

— Д-д-донос-с-с! — побелели губы у Тиганова-старшего, и они с Егором впились в скупые, скрипучие строки: "...принадлежал к так называемой "рабочей оппозиции" троцкистско-зиновьевского толка... в своих лекциях призывал к свержению существующего строя, выступая против генеральной линии..."

— Кто автор — Коршунов?! — едва оторвался Егор от желтевшего, в клеточку, из ученической тетради, листка.

Буквы бежали вразвалку — то мелкие, то крупные, корявые, неустойчивые, буквы из тридцать седьмого года.

— Писал-то, разумеется, он, — сдвинул брови полковник. — А вот автором мог быть и другой... И вот взгляните! — переменял тон полковник, и, расстегнув верхнюю пуговичку, стал совсем иным человеком хозяин этого кабинета. — Вот порыв души! И это писал ваш Решетовский... письмо одной девушке...

— Берегине! — вырвалось у Егора.

— Прасковье Тигановой, — прочел полковник на другой стороне листа и передал его в руки Егору.

И вспыхнули давнишние строки, ожили молодые, красивые лица.

"Мой добрый ангел, душа моя!

Милая, милая!

Пишу и не верю, что ты когда-нибудь это прочтешь... и все-таки, все же... Да, у меня семья, у меня растет мой малыш,

мой Трофим... Но ты мне сияние здесь за этой решеткой, и все, к чему ты прикоснешься, получает свойство светиться, и сама ты идешь, сияя, по облакам, и меня вырываешь отсюда. Ты — верная, знаю, пойдешь скорее на гибель, чем предашь (вымарано)... предатель (вымарано)... Люблю тебя, молюсь тебе, на коленях стою. Ты — нить моя, ухожу, а ты живи, моя жизнь (зачеркнуто)... береги себя, береги себя, береги себя, Берегиня..."

Трофим плакал. Егор лежал лицом у отца на плече. Полковник отвернулся деликатно к окну. Невыносимо, когда настоящие мужчины плачут вот так о загубленной человеческой жизни.

* * *

Мир у Егора разделился на белое и черное. На белых и черных, на предателей и героев. И никакие силы в мире не могли сейчас сдвинуть его, растворить в себе эту линию между ними. Егору никого не хотелось видеть. Ни идти к отцу в родную Тигановку, ни ехать назад в Кочетовку. Ни отдыхать в отпуске, ни опять бригадировать. Ни спать — ни бодрствовать, ни есть — ни пить. Он тупо смотрел прямо перед собой и не воспринимал ничего. Как сковала его несвобода. "О, люди, люди! Исчадие крокодилов..."

Там мне кричат издалека...
Что я похож на паука...
Что безобразные горбы
Торчат и спереди, и сзади...
Так глухо надо мной в дупле
Постукивает дятел пестрый...
И голос раздается грубый:
"Любовницей моею будь!"

Нет, сейчас ему в Житень нельзя, к Берегине. Она — святая, а он такой грязный, ничтожный, как этот паук из стихов Андрея Белого, что висит над ним перед окном и застит ему белый свет. Он понял, что больше всего сейчас, после травмы позвоночника, боится, что у него начнет расти горб — "и спереди, и сзади". И боль душевная была теперь сильнее боли прежней, физической.

И жил Егор ни у отца, ни у Стешки, ни даже у тетки Прасковьи, а как бы нигде — в частотько привычном месте, что этого места для него как бы не существовало. Само собой жилье — этот дом деда Петраки в Тигановке, их родовой дом. Сама собой пища, ее приносила Тося — жена отцова, а он ни-

чего не замечал — ни пищи этой, ни самой Тоси, ни даже Тигановки, ничего.

Егор нашел в погребе флягу с брагой — еще Петраковы похороночки. И пил. Вот уже неделю. Вторую. Третью. Пил и растал бородой. Пил, и хотелось плакать, но он не мог, не получалось. Пил и не знал, что рядом, в отцовом доме, Тоська с Трофимом денно и ночью сокрушались, что же делать с ним, таким молодым еще, и таким уже опустошенным.

И Тоська, башковитая баба, нашла выход. Оделась попрличнее, пошла на остановку автобуса.

На другой день вдоль да по Тигановке, единственной улочкой от дома Трофима Тиганова до хаты деда Петраки, — лузгая семечки, под ручку со своим мужиком Петром-скотником прошла (кто бы мог подумать!) эта, стервы кусок, эта Стешка. Туда сюда, хаха — хихи. А перед окнами Петраковой хаты еще и задержались, расхохоталась.

Егор швырнул в угол вонючий стакан, окатил ее взором всю от затылка до пяток. Нагие, полуголые ноги. Если бы было у него ружье под рукой!..

И над хатой деда Петраки заколыхался дымок, это Егор затопил русскую печь. Натаскал воды, стал греть ведерные чугуны. А после залез по горло в кленовую лохань и долго мылся, плескался, кряхтел, раззадоривая себя то матерком, то березовым веником. Исстегав всего себя до потери пульса, пошел к дому отца — Трофима Тиганова, отыскал в нужном месте неодеванную белую рубаху, приготовленную на случай еще матерью.

Сидел перед зеркалом, весь как новенький, в этой рубахе. Снимал со щек, держа дрожками пальцами бритву, жесткую, застарелую щетину, яти ее мать. Бурчал под нос мотивчик себе:

— Это нужно не мертвым, это нужно живым.

Тоська наблюдала за ним в узкую щелку, боясь встретиться взглядом. Не дай бог заговорит да еще что-либо спросит — чужой, старый мужичище, как вчера помер, а сегодня уже вернулся.

— Все, шабаш, батя! — просипел сожженной глоткой Егор отцу в переднюю, где тот сидел и обедал. — Завязал, как отрубил!

Егор держал путь на Житень — к Берегине, тетке Прасковье. Какой раз идет он этой дорогой и всякий раз удивляется, до чего она разная. Присметлив Егор, до чего все в нем,

аж звенит, обострилось. Золотая осень, на излете дерева. Ногам жестко — колчи да колчи. Нагрянул северо-восточный ветер и за ночь нагнал такого холода, что сковал поля и проселки, а лужи накрыл прозрачно стеклянной пленкой. “Однако свекла в земле, — по привычке оглядывал Тиганов Егор широкое поле. — Что — опять вырубать кайлом? Ничего себе перспектива”.

Ледок подхрустывал под сапогом. Смерзлась дорога, зелень на обочине лохмата, вся в белой изморози. Тревога входила в Егора с этих полей, низкого серого неба, в конце его возникла и быстро подвигалась сюда пухлая такая, чернявая тучка.

Егор перевел мысли на Житень, на тетку Прасковью, на русскую печку в ее чистой хате. Красноватые блики перебегают по стенкам, по потолку. Житень — это душа... А поля кругом тихи, устали, отдали урожай и уснули — святая, смиренная Русь...

А что за спиной? Эта дикая пьянка в Тигановке? Нелегкий год в Подшибякино, неудачное бригадирство? И эта больница. Правда, гипсовый корсет уже сняли, но приказали беречься. “Может, еще и не есть, чтобы тяжелого не подымать?” — пошутил он. — “За такой работой не измотаешься”, — не принял Егоровой шутки доктор.

В прошлый сентябрь, помнится, подбирали у Березини картошку. Со всего поселка набегали старушки, довольны, что еще могут работать, что вместе, помогают друг дружке. Сегодня — мой огород, завтра — твой...

“... А тучка-то пухнет, нарастает, черна тучка, жуть...”

Картошка — дело годовое, старушки ожили, помолодели. Сыпали шутками, историями всякими. “У нас тут все общее, община, — смеялись, — не как у Бодракова”. — “А меня-то в общину примете?” — хватал у них полные ведра Егор и тащил в кучу. — “Гляди, ботва на голове растет — молодой, значит, — шутили старушки. — А мы уже старые, кто же ведра в кучку нам будет таскать?” Егор водил под уздцы поселковую лошадь Вербу — Слугу Народа. И белые, синие, красноватые глудки картофеля выкатывались из-под сохи, ложились прямо по борозде на сухую, но темную, хорошо унавоженную землю...

А тучи уже до полнеба — стремительные, сизо-огненно-черные. От одного их зловещего вида Егору стало не по себе; мелкими, острыми иголками закололо тело, особенно те места, которые все эти недели прикрывал гипс. “Бежать, менять места, обстановку — берешь с собой, что любимо, пока вокруг тебя не стало пустыни. А она за тобой все гонится, гонится...”

Егор попытался переключиться снова на Житень, но этого

не получилось — туча наседала, давила, готова была чуть ли не вжать, вколотить его в этот промерзлый проселок. А проселок пошел под уклон, впереди Егор увидел краешек башни Рожновского, макушки двух берез — обозначение Житеня.

Прокатилась первая волна — в легкие плеснуло сырым, теплым воздухом, и Егор поперхнулся, закашлялся. Пока он протирал глаза, в лицо ударили первые капли дождя. Егор поднял голову — небо над ним, как провалилось, тучи доедали светлый, спокойный кусок, перекидываясь дальше за Егорову спину. Все в небе перестраивалось, тучи замещали друг друга, подстилались одна под одну, одна одну накрывала собой; бушевали, ходуном ходили целые полки, дивизии, армии. Егор удивился, до чего же тут наверху широко, высоко и вместительно небо, не то, что в Орле, в Подшибякино. Но и в таком необъятии едва оставался просвет, как на него со всех сторон тут же набрасывались тучи. Какая-то вакханалия, сатанинские бездны, как будто море перевернулось и стало небом. Конечно, он не Айвазовский, но, если бы мог, он, Егор, в два-три штриха создал бы картинку другого моря: моря на небе, корабль с людьми — так надобно высшему существу, Аполлону, но не дьяволу надобно, эфир вокруг, не на что опереться, и вот уже нечто вроде “девятого вала”, в космической, Марракотовой бездне, а на мачте от корабля мечется, падает в воду брэнное его тело, его живая душа. “Смири гордыню, смирись, — крутило, вертело, било всего его изнутри. — Посмотри на поля, — как они спокойны, смиренны и гармоничны, сам культ Аполлона. Изгони из себя Сатану”. — “Но Сатана не на небе, на небе всегда были ангелы”. — “Всегда были, да, но Берегиня-то здесь, на земле”. На момент Егору показалось, что под ураганом и в самом деле все поменялось местами, ураган рванул землю на небо, а небо перевернулось вниз. И тут ударила настоящая молния, даже жженным запахло. Как летом. Как в жаркую летнюю пору. И хлынул настоящий ливень. Серебряный, теплый, почти августовский. И некуда было укрыться. И раз он теплый такой, Егор поднял голову, воздел руки к небу, ловил воду ртом.

А сзади уже напирали ручьи. Подмерзшая, уснувшая было, смиренная земля не успела оттаять и влагу небесную не принимала, влага катила под Егора и сметала на пути все, что можно было смести: солому, сухой бурьян, всякие мелкие ветки. По мере то, как земля отходила, по дороге несло уже обрывки бумажных и полиэтиленовых мешков, даже, казалось, куски резины от колесного трактора, даже куски металла от сеялки, которая, помнится, валялась где-то в здешних местах.

Егор не смотрел на небо, его будто не существовало. Земля и небо сомкнулись в одно, и Егор потерялся в широкой степи. Огромное пространство под-мириадами заоблачных звезд, сотни сел, городов, они были над ним и вокруг него, Егор это знал, ручьи сливались в одну гремучую реку, указывали ему дорогу к долине, к речке Алешне, на Житень.

Прежде, чем войти в поселок, Егор помыл сапоги в луже. Присел на лист жести под парой сестренек-березок в конце житеневских огородов. Березы, обрубленные по бокам, мотали напоследок вершинами. Гром сошел, молнии ширяли где-то над головой, а тут было тихо, тепло, редко шлепало с веток. Похоже, весенний, небезнадежный кусочек жизни...

Егор провел ладонью по шершавому, белому, в черных пятнах, стволу. Поднял голову — дятел не падал. Но стук дятла все же раздался. И семиоборотное эхо прокатилось по нижним лесам. Егор расстегнул ворот синей, в горошек, рубашки, и от ствола к стволу впереди него уже неся по поселку, к тетке Прасковье, его Серый Дятел. Живи, стучи, Серый Дятел; шевели, родник, донный песок, пока какой-нибудь инсульт не сшибет тебя с ног, как и дятла с дерева, и ключевая вода не смое твоей этот единственный след на земле.

IX

Показался “козел” — новенький, песочного цвета. Не доезжая, в шагах двадцати, броневичок остановился, человек поднял капот, принялся копаться в моторе. Это же Бодраков — ярищенский председатель! Сжало грудь Егору. Боком-боком скользнул он мимо и уже на расстоянии оглянулся: Бодраков прямо-таки ел его в спину глазами.

И откуда было знать Егору, что Бодраков готовился к встрече — ждал у себя Старика. Из дальних ферм согнал Бодраков на центральную черно-пестрых коров, расставил по масти, по упитанности. Острые языки скажут после, будто бы Бодраков достал где-то целую цистерну “шампунского” — шампуня. “Хвосты у коров, гори оно синим огнем, должны быть, как только что из парикмахерской”. Однако в Ярище, как обычно, приедет не сам Старик, а его представитель — доверенное лицо, известный всем Матарас. И с той поры все равно, острят острословы, Бодраков вот уже две недели не моет себе правую руку...

Едкий бензиновый дымок за “козлом” разбросало, а осадок в душе от встречи с Бодраковым остался. “То ли еще будет, то ли еще будет, ой-ой-ой”.

С таким настроением и вторгся в Житень Егор. Обошел Березинин огород ободочком, кружно, где травянистей, поближе к рябинам. С их пунцовых кистей, горланя неистово, как будто их лишили избирательных прав или, хуже того, конституции, слетели и низом-низом по-над самой пахотой промахнули в поле черные дрозды.

Сердце есть сердце, это живое в груди. Егор оперся рукой о ствол наклоненной яблони. Сад огромен, запущен. Самосевом поднялся подрост — то черемушка, то крушина, а то дубок. Спокойно кругом, не шелохнется ветвь...

И вдруг в зарослях, за бузиной, он уловил движение. Егор пригляделся: тетка Прасковья, Березиня, Березинюшка. Тетка Прасковья боромотала что-то, разговаривала, между тем красила металлическую оградку. Могилка, но чья? Прежде могилки этой Егор не примечал. И тетка про нее отчего-то не сказывала.

— Здравствуй, мамаша, — вышел Егор к Березине.

— Здравствуй, сынок, — увидев его, ничуть не смутилась тетка Прасковья.

Стояла только — щека в краске, с кистью рука наотлет. Зорко следила за выражением лица Егора.

— Братская? — кивнул Егор на могилку.

— Мамина, — спокойно сказала тетка Прасковья. — Мать в войну похоронена. На кладбище ярищенское нельзя было, там они еще оборонялись, а тут уже наши... В саду мать свою и похоронила...

“Язычество какое-то”. Егор снял шапку, так с непокрытой головой и стоял. Думал о своей матери, об Устинье, о ее могилке, на которой давно уже не был, надо сходить и поправить. Горькая рябина давно сбросила листья, а красные гроздья висят. “А что же Стешка-то? — порывался спросить Березиню Егор. — Стешка-то что?” Может, хорошо, а может, и очень плохо, что жизнь научает нас сдержанности. Тут не распахнись, там, наоборот, застегнись. И улыбайся, когда скребет тебе душу. А здесь, в Житене, можно и не улыбаться излишне, не носить эту маску проклятую. Здесь нет ни стен — ни “стенок чудес”, ни колонн — ни колонок с зеленым, фосфорическим глазом кота Распутника, японского магнитофона. Здесь поле без стен, а небо без потолка...

— Стешка-то? — сказала вдруг тетка Прасковья. — Стешка бывает.

И откуда было знать им обоим, что и Стешка уже шла к ним сюда из своего Оболешево. Ускоряла шаг перед тучей, все быстрее, быстрее, вот уже бегом, уже и бежала, летела стремглав, напрямки, на Житень, только ей известной стеж-

кой, которую, как скосили рожь, так и видна стала каждому. Эта стежка ее, тайно пробитая от Оболезшево. В руках у Стешки была Полинка, она только что начала гулить. И Стешка несла дочку показать Берегине — освятить перед святым человеком ее, любовь свою, радость свою, это свое материнское счастье.

Молча подал Егор это письмо тетке Прасковье, — старое, пожелтевшее. Письмо оттуда, из тридцать седьмого года. Не прочитав еще ни единой строки, тетка вдруг опустилась на стул. Посидела, отыскала в кармане очки. Расправила на ушах непослушные дужки. “Какая же она старая! — подумал Егор. — Как в тягость ей годы”.

Каждая строка придавала сил тетке Прасковье. Она встала и, уже стоя, читала это письмо, — про любовь человека оттуда, из-за колючей проволоки, — это письмо сюда к ней... И молоде-ла тетка на глазах у Егора. И вот она приподнялась на цыпочки и уже отрывается — оторвалась от пола, от всей этой грешной земли, и во-он уже где идет по облакам, по облакам, — сияющая и бестелесная. “Она святая, она — Берегиня”, — глядит Егор на ее такие грубые, крупные, истресканные от черной работы руки.

И хоры ударили ему в грудь. Космическая, мощная музыка звезд захлестнула стуки Серого Дятла. Лишь где-то — где-то едва различима эта печаль, эта мелодия, Егор слышал ее недавно по радио:

— В темных аллеях стояла вода...
Боже, какими мы были счастливыми,
Как же мы молоды были тогда...

Они могли любить и были любимы. А те, кто не мог, кого разъедала ржа, те мстили.

— Да, я любила, — сказала Берегиня по-молодому, по-девичьи. — Но это была моя тайна... Попался в руки старинный журнал. Как же любила Петра Первого Кантемирова Марина, сестра известного писателя. Она пронесла любовь через всю свою жизнь. Вот и я, сынок, вековуха... Твой дед, Егор, был высок! За ним шли, и я верила в него, его слову, такие люди сделают Россию счастливее, чем она есть... Когда тебя увидела, все так и загорелось во мне: вылитый дед!

— А-а, — махнул Егор на себя.

— Молодой ты, — вздохнула тетка Прасковья. — Все еще впереди. Главное — верь. Вера спасает, без веры нельзя.

Когда ему в Кочетовку передали, что Берегини не стало, он не поверил. Не верилось, вот и все! Такие люди не умирают, не должны умирать, нельзя. И вот в Житене, в доме тетки Прасковьи, он увидел листок, ему адресованный, — завещание Берегини.

“... как же ты, Егор, похож на Решетовского, своего деда! Как идешь, как говоришь, как даже молчишь. Старалась укрыть тебя, защитить, как могла, но сколько зла в мире, боже. И оно все растет, множится. Хуже рака, атомной бомбы. Все наши беды от этого зла, людской черной зависти... А я умираю. Меня скоро не будет. Береги, Егор, себя, свою душу, бойся ее потерять. Береги в себе все, чем жив был твой дед — лучший для меня человек на земле. Егор! Побеспокойся о Стешке, Полинка — дочка твоя. Прощай”.

И вот они с отцом на своем Тигановском кладбище, под Сторожевым курганом. Где-то тут покоится его мать Устинья. А это могилка совсем свежая, это — тетка Прасковья. Дятел вырвался из Егоровой груди и бросился куда-то вниз по долине — к Оболезево, за Оболезево, к Стешке.

“В темных аллеях стояла вода...”

Егор поднял голову, чтобы лучше увидеть высокую музыку этих аллей, но вместо нее увидел тетку Прасковью там над собой, в облаках. Она сходила оттуда к нему — сияющая и бестелесная. И он опускался, опускался перед ней на колени, совсем опустился, уперся лбом в свежий дерновый холмик.

— Нет, я землю не брошу, не брошу! — обнимал холмик Егор, заглушая в себе этот стук — постук — перестук пестрого, серого, черного дятла — желна. Что важнее для него-эта земля или музыка этого стука, мученичество, несмирительность души, окаянность, бешенство жизни? Свобода — вот чего сейчас не хватало Егору, свободы от самого себя, от телесной своей оболочки, от притяженья земного, чего добилась, наконец, освободясь от всего, она — тетка его, Берегиня.

Сентябрь 1987 г. — декабрь 1991 г.
г. Малоархангельск — п. Синяевский — г. Орел.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	4
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	120
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	261

Золотарев Леонард Михайлович

БЕРЕГИНЯ

Редактор В. М. Катанов
Технический редактор Г. Н. Наumenко
Корректор Н. И. Неврова

Сдано в набор 15.11.92. Подписано в печать 2.02.93. Гарнитура "Таймс".

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Тираж 10000 экз.

Издательский № 9. Заказ № 408.

МП "Простор"

302030, Орел, ул. Московская, 17.

Типография "Труд"

302000, Орел, ул. Ленина, 1.

1000р

[1000 p.]

